This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

B 1,240,111

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
LIBRARIES
1817

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN · LIBRARIES · 1817

СБОРНИКЪ

ПОСМЕРТНЫХЪ СТАТЕЙ

А. И. ГЕРЦЕНА.

Hertzen, Aleksandr Ivanovich

ŒUVRES POSTHUMES D'ALEXANDRE HERZEN

СБОРНИКЪ

ПОСМЕРТНЫХЪ СТАТЕЙ

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

ГЕРЦЕНА

(СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА)

ИЗДАНІЕ

ДѢТЕЙ ПОКОЙНАГО

ЦѢНА 9 ФР.

ЖЕНЕВА

ВЪ ТИПОГРАФІИ Л. ЧЕРНЕЦКАГО

40, Pré-l'Evêque, 40.

1870.

TOUS DROITS RÉSERVÉS

711.78
5576
370

ОГЛАВЛЕНІЕ

	стр.
Къ читателямъ	VII
Былое и Думы—къ Второй части :	
Н. Х. К. (1842—1847)	3
Эпилогъ	39
Эпизодъ изъ 1844 года, Базиль и Армансъ	41
Отрывки изъ Былаго и Думъ—Нѣмцы въ эмиграціи	51
Прибавленіе къ Горнымъ Вершинамъ :	
I. Ледрю-Ролленъ и Кошутъ	81
II. Феликсъ Пья, В. Гюго и пр., Луи-Бланъ и француз. эмигранты.	93
Бартелеми	108
С. Ворцель	117
Апогей и Перигѣй (продолженіе)	131
За кулисами (1863—1864)	150
В. И. Кельсіевъ	151
Общій фондъ	165
М. Б. и Польское Дѣло (продолженіе Главы Перигѣй)	179
I. Пароходъ Ward Jackson, R. Weterli et C.	207
II. Lapinski-colonel—Polles-aide de camp	214
Докторъ, Умирающій и Мертвые (Повѣсть) :	
I. Докторъ	223
II. Умирающій	232
III. Мертвые	252
IV. Эпилогъ	260
Thiers-Daniel	265
Письма къ старому товарищу :	
Письмо Первое	269
— Второе	277
— Третье	283
— Четвертое	290

1254190-231

КЪ ЧИТАТЕЛЯМЪ

Рано умеръ Герценъ для русскаго дѣла и не дождавшись европейскаго переворота.

Его дѣти рѣшились печатать все послѣ него оставшееся и начали съ выпуска "Былаго и Думы".

Искренность и мощь его слова не могутъ пройти незамѣтно и должны отозваться въ средѣ русскихъ читателей.

Память о его вліяніи пройдти не можетъ.

Н. Огаревъ.

Женева, Сентябрь 1870 года.

БЫЛОЕ И ДУМЫ

БЫЛОЕ И ДУМЫ

КЪ ВТОРОЙ ЧАСТИ

I.

Н. Х. К.

(1842—1847).

Мнѣ приходится говорить о К. опять, и на этотъ разъ гораздо подробнѣе. Возвратившись изъ ссылки, я засталъ его по прежнему въ Москвѣ. Онъ впрочемъ до того сросся и сжился съ Москвой, что я не могу себѣ представить Москву безъ него, или его въ какомъ нибудь другомъ городѣ. Какъ то онъ попробовалъ перебраться въ Петербургъ, но не выдержалъ шести мѣсяцевъ, бросилъ свое мѣсто и снова явился на берега Неглинной, въ кафейной Бажанова, проповѣдывать вольный образъ мыслей офицерамъ, играющимъ на бильярдѣ, поучать актеровъ драматическому искусству, переводить Шекспира, и любить до притѣсненія прежнихъ друзей своихъ. Правда, теперь у него былъ и новый кругъ, т. е. кругъ Бѣлинскаго, Бакунина; но хотя онъ ихъ и поучалъ денно и нощно, однако душею и сердцемъ все-же держался насъ.

Ему было тогда лѣтъ подъ сорокъ, но онъ рѣшительно остался старымъ студентомъ. Какъ это случилось? Это-то и надобно прослѣдить.

К. по всему принадлежитъ къ тѣмъ страннымъ личностямъ, которыя развились на закраинѣ Петровской Россіи, особенно послѣ 1812 г., какъ ея послѣдствіе, какъ ея жертвы и косвенно какъ ея выходъ. Люди эти сорвались съ общаго пути, тяжелаго и безобразнаго, и никогда не попадали на свой собственный, искали его и на этомъ исканіи останавливались. Въ этой пожертвованной шеренгѣ черты очень разны; не всѣ похожи на Онѣгина или на Печорина, не всѣ лишніе и праздные люди; а есть люди трудившіеся и ни въ чемъ неуспѣвшіе, люди неудавшіеся. Мнѣ тысячу разъ хотѣлось передать рядъ своеобразныхъ фигуръ, рѣзкихъ портретовъ снятыхъ съ натуры, и я невольно останавливался, подавленный матеріаломъ. Въ нихъ ничего нѣтъ стаднаго, рядскаго; чеканъ розный, одна общая связь связуетъ ихъ, или лучше, одно общее несчастіе; вглядываясь въ темно-сѣрый фонъ, видны солдаты подъ палками, крѣпостные подъ розгами, подавленный стонъ выразившійся въ лицахъ, кибитки несущіяся въ Сибирь, колодники плетущіеся туда-же, бритые лбы, клейменныя лица, каски, эполеты, султаны,... словомъ, петербургская Россія. Ею они несчастны, и нѣтъ силъ ни переварить ее, ни вырваться, ни помочь дѣлу. Они хотятъ бѣжать съ полотна и не могутъ: земли нѣтъ подъ ногами; хотятъ кричать — языка нѣтъ, да нѣтъ и уха, которое бы слышало.

Дивиться нечему, что при этомъ потерянномъ равновѣсіи больше развивалось оригиналовъ и чудаковъ, чѣмъ практически-полезныхъ людей, чѣмъ неутомимыхъ работниковъ, что въ ихъ жизни было столько-же неустроеннаго и безумнаго, какъ хорошаго и чисто человѣческаго.

Отецъ К. былъ инструментальный мастеръ. Онъ славился своими хирургическими инструментами и высокой честностью. Онъ умеръ рано, оставивъ большую семью на рукахъ вдовы и очень разстроенныя дѣла. Происхожденіемъ онъ былъ, кажется, Шведъ. Стало объ истинной связи, о той непосредственной связи съ народомъ, которая всасывается съ молокомъ,

съ первыми играми, даже въ господскомъ домѣ, не можетъ быть и рѣчи. Общество иностранныхъ производителей, индустріаловъ, ремесленниковъ и ихъ хозяевъ, составляетъ замкнутый кругъ жизни, — привычками, интересами, всѣмъ на свѣтѣ отдѣленный и отъ верхняго, и отъ низшаго русскаго слоя. Часто эта среда внутри своей семейной жизни гораздо нравственнѣе и чище, чѣмъ дикая тиранія и затворническій развратъ нашего купечества, чѣмъ печальное и тяжелое пьянство мѣщанъ, чѣмъ узкая, грязная и основанная на воровствѣ жизнь чиновниковъ, но тѣмъ не меньше она совершенно чуждая окружающему міру, иностранная, дающая съ самаго начала другой pli и другія основы.

Мать К. была русская, вѣроятно отъ того К. и не сдѣлался иностранцемъ. Въ воспитаніе дѣтей, я не думаю, чтобъ она входила, но чрезвычайно важно было то, что дѣти были крещены въ православной вѣрѣ, т. е. не имѣли никакой. Будь они лютеране или католики, они совсѣмъ бы отошли на нѣмецкую сторону, они ходили бы въ ту или другую кирку и вступили бы незамѣтно въ выдѣляющуюся, обособляющуюся Gemeinde, съ ея партіями, приходскими интересами. Въ русскую церковь конечно К. никто не посылалъ, сверхъ того, если онъ иногда и хаживалъ туда ребенкомъ, то она не имѣетъ того паутиннаго свойства какъ ея сестры, особенно на чужбинѣ.

Надобно вспомнить, что время, о которомъ идетъ рѣчь, вовсе не знало судорожнаго православія. Церковь, какъ и Государство, не защищались тогда чѣмъ попало, не ревновали о своихъ правахъ, можетъ потому, что никто не нападалъ. Всѣ знали какіе это два звѣря, и не клали имъ пальца въ ротъ. За то и они не хватали прохожихъ за воротъ, сомнѣваясь въ ихъ православіи или вѣрноподданничествѣ. Когда въ Московскомъ университетѣ учредили каѳедру богословія, старикъ профессоръ Геймъ, памятный лексиконами, съ ужасомъ говорилъ въ универси-

тетской "Аулѣ": Es ist ein Ende mit der grossen Hochschule Ruthenias. Даже свирѣпая холера изувѣрства, безумная, кричащая, доносящая, полицейская (какъ все у насъ) Магницкаго и Руинча, пронеслась зловредной тучей, побила народъ, попавшійся на дорогѣ, и исчезла, воплощаясь въ разныхъ Ѳотіевъ и Графинь. Въ гимназіяхъ и школахъ катехизисъ преподавался для формы и для экзамена, который постоянно начинался съ "закона Божья".

Когда пришло время, К. поступилъ въ медико-хирургическую Академію. Это было тоже чисто иностранное заведеніе, и тоже не особенно православное. Тамъ проповѣдывалъ Just Christian Loder, другъ Гете, учитель Гумбольдта, одинъ изъ той плеяды сильныхъ и свободныхъ мыслителей, которые подняли Германію на ту высоту, о которой она не мечтала. Для этихъ людей наука еще была религіей, пропагандой военной; имъ самимъ свобода отъ теологическихъ цѣпей была нова, они еще помнили борьбу, они вѣрили въ побѣду и гордились. Лодеръ никогда не согласился бы читать анатомію по Филаретову катехизису. Возлѣ него стояли Фишеръ Валдгеймскій и операторъ Гильдебрантъ, о которыхъ я говорилъ въ другомъ мѣстѣ. Ни слова русскаго, ни русскаго лица, а разные другіе нѣмецкіе адъюнкты, лаборанты, просекторы и фармацевты: все русское было отодвинуто на второй планъ. Одно исключеніе мы только и помнимъ, это Детковскій. К. чтилъ его память, и онъ вѣроятно имѣлъ хорошее вліяніе на студентовъ; впрочемъ медицинскіе факультеты и въ позднѣйшее время жили не общей жизнью университетовъ, составленные изъ двухъ націй: нѣмцевъ и семинаристовъ, а занимались своимъ дѣломъ.

Этого дѣла показалось мало К., и это лучшее доказательство тому, что онъ не былъ нѣмецъ и не искалъ прежде всего профессіи.

Особенной симпатіи къ своему домашнему кругу онъ не могъ имѣть, съ молодыхъ лѣтъ любилъ онъ жить особня-

комъ. Остальная окружающая среда могла только оскорблять и отталкивать его. Онъ принялся читать и читать Шиллера.

К. впослѣдствіи перевелъ всего Шекспира, но Шиллера съ себя стереть не могъ.

Шиллеръ былъ необыкновенно по плечу нашему студенту. Поза и Максъ, Карлъ Моръ и Фердинандъ студенты, разбойники-студенты : все это протестъ перваго разсвѣта, перваго негодованія. Больше дѣятельный сердцемъ чѣмъ умомъ, К. понялъ, овладѣлъ поэтической рефлекціей Шиллера, его революціонной философіей въ діалогахъ, и на нихъ остановился. Онъ былъ удовлетворенъ, критика и скептицизмъ были для него совершенно чужды.

Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ Шиллера онъ попалъ на другое чтеніе, и нравственная жизнь его была окончательно рѣшена. Все остальное проходило безслѣдно, мало занимало его. Девяностые годы, эта громадная, колосальная трагедія въ Шиллеровскомъ родѣ, съ рефлексіями и кровью, съ мрачными добродѣтелями и свѣтлыми идеалами, съ тѣмъ-же характеромъ разсвѣта и протеста, поглотили его. Отчета К. и тутъ себѣ не давалъ. Онъ бралъ французскую революцію какъ библейскую легенду, онъ вѣрилъ въ нее, онъ любилъ ея лица, имѣлъ личныя къ ней пристрастія и ненависти; за кулисы его ничто не звало.

Такимъ я его встрѣтилъ въ 1831 году у Пасека и такимъ оставилъ въ 1847 году на Черной Грязи.

Мечтатель, неромантическій, а такъ сказать этико-политическій, врядъ могъ-ли найдти въ тогдашней медико-хирургической Академіи ту среду, которую искалъ. Червь точилъ его сердце и врачебная наука не могла заморить его. Отходя отъ окружавшихъ людей, онъ больше и больше вживался въ одно изъ тѣхъ лицъ, которыми было полно его воображеніе. Наталкиваясь вездѣ на совсѣмъ другіе интересы, на мелкихъ людишекъ, онъ сталъ дичать, привыкъ хмурить

брови, говорить безъ нужды горькія истины и истины всѣмъ извѣстныя, старался жить какимъ-то лафонтеновскимъ "Зондерлингомъ", какимъ-то "Робинсономъ въ Сокольникахъ". Въ небольшомъ саду ихъ дома была бесѣдка, туда перебрался "лѣкарь К. и принялся переводить лѣкаря Шиллера", какъ въ тѣ времена острилъ Н. А. Полевой. Въ бесѣдкѣ дверь не имѣла замка... въ ней было трудно повернуться: это-то и было надобно. Утромъ копался онъ въ саду, сажалъ и пересаживалъ цвѣты и кусты, даромъ лечилъ бѣдныхъ людей въ околодкѣ, правилъ корректуру "Разбойниковъ" и "Фіески", и, вмѣсто молитвы на сонъ грядущій, читалъ рѣчи Марата и Робеспьера. Словомъ, еслибъ онъ меньше занимался книгами и больше заступомъ, онъ былъ-бы тѣмъ, чѣмъ желалъ Руссо, чтобы былъ каждый.

Съ нами К. сблизился черезъ Вадима въ 1831 году. Въ нашемъ кружкѣ, состоявшемъ тогда, сверхъ насъ двоихъ, изъ Сазонова, старшихъ Пассековъ и еще двухъ-трехъ студентовъ, онъ увидѣлъ какой-то зачатокъ исполненія своихъ завѣтныхъ мечтаній, новые всходы на плотно скошеной нивѣ въ 1826 году, и потому горячо къ намъ придвинулся. Постарше насъ, онъ вскорѣ овладѣлъ "цензурой нравовъ" и не давалъ намъ дѣлать шагу безъ замѣчаній, а иногда и выговора. Мы вѣрили, что онъ практическій человѣкъ и опытный больше насъ, сверхъ того мы любили его, и очень. Занемогъ-ли кто, К. являлся сестрой милосердія и не оставлялъ больнаго пока тотъ оправлялся. Когда взяли Кольрейфа, Антоновича и др., К. первый пробрался къ нимъ въ казармы, развлекалъ ихъ, дѣлалъ имъ поученія и дошелъ до того, что жандармскій генералъ Лисовскій его призывалъ и внушалъ ему быть осторожнѣе и вспомнить свое званіе (Штабъ-Лѣкарь!) Когда Надеждинъ, теоретически влюбленный, хотѣлъ тайно обвѣнчаться съ одной баришней, которой родители запретили думать о немъ, К. взялся ему помогать, устроилъ романтическій побѣгъ, и самъ, завер-

нутый въ знаменитомъ плащѣ чернаго цвѣта съ красной подкладкой, остался ждать завѣтнаго знака, сидя съ Надеждинымъ на лавочкѣ Рождественскаго бульвара. Знака долго не подавали. Надеждинъ унылъ и палъ духомъ. К. стоически утѣшалъ его; отчаяніе и утѣшенія подѣйствовали на Надеждина оригинально, онъ задремалъ. К. насупилъ брови и мрачно ходилъ по бульвару. "Она не прійдетъ, говорилъ Надеждинъ съ просонья, пойдемте спать". К. вдвое насупилъ брови, мрачно покачалъ головой и повелъ соннаго Надеждина домой. Вслѣдъ за ними вышла и дѣвушка въ сѣни своего дома, и условленный знакъ былъ повторенъ не одинъ, а десять разъ, и ждала она часъ-другой : все тихо, она сама еще тише возвратилась въ свою комнату, вѣроятно поплакала, но за то радикально вылечилась отъ любви къ Надеждину. К. долго не могъ простить Надеждину эту сонливость и, покачивая головой, съ дрожащей нижней губой говорилъ : "онъ ее не любилъ!"

Участіе К. во время нашего тюремнаго заключенія, во время моей женитьбы, разсказано въ другихъ мѣстахъ. Пять лѣтъ, которые онъ оставался почти одинъ, съ 1834 до 1840, изъ нашего круга въ Москвѣ, онъ съ гордостью и доблестью представлялъ его, храня нашу традицію и не измѣняя ни въ чемъ ни іоты. Такимъ мы его и застали, кто въ 1840, кто въ 1842 ; въ насъ ссылка, столкновеніе съ чужимъ міромъ, чтеніе и работа измѣнили многое. К. неподвижный представитель нашъ остался тотъ-же. Только вмѣсто Шиллера переводилъ Шекспира.

Одна изъ первыхъ вещей, которой занялся К., чрезвычайно довольный, что старые друзья съѣзжались снова въ Москву, состояло въ возобновленіи своей цензуры morum, — и тутъ оказались первыя шероховатости, которыхъ онъ долго не замѣчалъ. Его брань иногда сердила, чего прежде не бывало, иногда надоѣдала. Прежняя жизнь кипѣла такъ быстро и шла такъ обще, что никто не обращалъ вниманія

на маленькія камешки по дорогѣ. Время, какъ я сказалъ, измѣнило многое, личности развились рѣзче, развились розно — и роль добраго, но ворчащаго дяди, часто была хуже чѣмъ смѣшна, всѣ старались повернуть въ смѣшное — покрыть его дружбой, его чистыми намѣреніями, ненужную искренность и обличительную любовь, и дѣлали очень дурно. Да, дурно было и то, что была необходимость покрывать, объяснять, натягивать. Еслибъ его остановили съ самаго начала, не выросли бы тѣ несчастныя столкновенія, которыми заключилась наша московская жизнь въ началѣ 1847 г.

Впрочемъ новые друзья не совсѣмъ были такъ снисходительны, какъ мы, и самъ Бѣлинскій, очень любившій его, выбившись иной разъ изъ силъ и столько-же истерпѣвшій несправедливости, какъ самъ К., давалъ ему рѣзкіе уроки, на цѣлые мѣсяцы переставая съ нимъ спорить. Холоднымъ или равнодушнымъ К. никогда не бывалъ. Онъ былъ постоянно въ пароксизмѣ преслѣдованія, или въ припадкѣ любви, быстро переходя изъ самаго горячаго друга — въ уголовнаго судью; изъ этого ясно, что онъ всего менѣе выносилъ холодъ и молчаніе.

Тотчасъ послѣ ссоры или ряда крупныхъ обвиненій, К. развлекался, гнѣвъ проходилъ безслѣдно, вѣроятно внутренно бывалъ онъ недоволенъ собой, но никогда не сознавалъ; напротивъ, онъ старался всему придать видъ шутки и опять переходилъ за тѣ предѣлы, за которыми шутка не веселитъ. Это было вѣчное повтореніе знаменитаго "Гусака" въ примиреніи Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ. Кто не видалъ дѣтей, которыя, закусивъ удила, нервно не могутъ остановиться въ какой нибудь шалости; увѣренность въ томъ, что будетъ наказаніе, какъ будто усиливаетъ искушеніе. Чувствуя, что успѣлъ снова додразнить кого нибудь до холодныхъ и колкихъ отвѣтовъ, онъ окончательно возвращался въ мрачное расположеніе духа, поднималъ брови, ходилъ большими шагами по комнатѣ, стано-

вился трагическимъ лицемъ изъ Шиллеровскихъ драмъ, присяжнымъ изъ суда Фукье Тэнвиля, произносилъ свирѣпымъ голосомъ рядъ обвиненій на всѣхъ насъ, обвиненій неимѣвшихъ ни малѣйшаго основанія, самъ подъ конецъ убѣждался въ нихъ и, подавленный горемъ, что его друзья такіе мерзавцы, уходилъ угрюмо домой, — оставляя насъ ошеломленными, взбѣшенными до тѣхъ поръ, пока гнѣвъ ложился на милость и мы хохотали какъ сумашедшіе.

На другой день К., съ ранняго утра, тихій и печальный, ходилъ изъ угла въ уголъ; свирѣпо дымя трубкой и ожидая, чтобъ кто нибудь изъ насъ пріѣхалъ побранить его и помириться; мирился онъ разумѣется, сохраняя всегда все свое достоинство взыскательнаго, но стараго дяди. Если-же никто не являлся, то К. затая въ груди смертельный страхъ, шелъ печально въ кофейную на Неглинной или въ свѣтлую, покойную гавань, въ которой всегда встрѣчалъ его добродушный смѣхъ и дружескій пріемъ, т. е. отправлялся къ М. С. Щепкину, ожидая у него пока буря, поднятая имъ, уляжется; онъ разумѣется жаловался М. С. на насъ, добрый старикъ мылилъ ему голову, говорилъ, что онъ поретъ дичь, что мы совсѣмъ не такіе злодѣи, какъ онъ говоритъ, и что онъ его сейчасъ повезетъ къ намъ. Мы знали какъ К. мучился послѣ своихъ выходокъ, понимали, или лучше прощали то чувство, почему онъ не говорилъ прямо и просто, что виноватъ, и стирали по первому слову до чиста слѣды размолвки. Въ нашихъ уступкахъ на первомъ планѣ участвовали дамы, становившіяся почти всегда его заступницами. Имъ нравилась его открытая простота (онъ и ихъ не щадилъ), доходившая до грубости, какъ странность; видя ихъ потворство, К. убѣдился, что такъ и слѣдуетъ поступить, что это мило, и что сверхъ того, это его обязанность.

Наши споры и ссоры въ Покровскомъ иногда бывали полны комизма, а все-таки оставляли на цѣлые дни длинную, сѣрую тѣнь.

— Отчего кофе такъ дуренъ? спросилъ я у Матвѣя.

— Его не такъ варятъ — отвѣчалъ К. и предложилъ свою методу. Кофе вышелъ такой-же.

— Давайте сюда спиртъ и кофейникъ — я самъ сварю, замѣтилъ К. и принялся за дѣло. Кофе не понравился, — я замѣтилъ это К. — К. попробовалъ и, уже нѣсколько взволнованнымъ голосомъ и устремивъ на меня свой взглядъ изъ подъ очковъ, спросилъ: "Такъ по твоему этотъ кофе не лучше?"

— Нѣтъ.

— Однако-же это удивительно, что ты въ эдакой мелочи не хочешь отказаться отъ своего мнѣнія.

— Не я, а кофе.

— Это наконецъ изъ рукъ вонъ, что за несчастное самолюбіе.

— Помилуй, да вѣдь не я варилъ кофе и не я дѣлалъ кофейникъ...

— Знаю я тебя... лишь-бы поставить на своемъ. Какое ничтожество изъ за поганнаго кофе, — адское самолюбіе! — Больше онъ не могъ, удрученный моимъ деспотизмомъ, и самолюбіемъ во вкусѣ, — онъ нахлобучилъ свой картузъ, схватилъ лукошко и ушелъ въ лѣсъ. Онъ воротился къ вечеру, исходивши верстъ двадцать; счастливая охота по бѣлымъ грибамъ, березовикамъ и масленкамъ разогнала его мрачное расположеніе, я разумѣется не поминалъ о кофе и дѣлалъ разныя вѣжливости грибамъ.

На слѣдующее утро онъ попытался-было снова поставить кофейный вопросъ, но я уклонился.

Одинъ изъ главныхъ источниковъ нашихъ препинаній, было воспитаніе моего сына. Воспитаніе дѣлитъ судьбу медицины и философіи: всѣ на свѣтѣ имѣютъ объ нихъ опредѣленныя и рѣзкія мнѣнія, кромѣ тѣхъ, которые серьезно и долго ими занимались. Спросите о постройкѣ моста, объ осушеніи болота, человѣкъ откровенно скажетъ, что онъ не

инженеръ, не агрономъ. Заговорите о водяной или чахоткѣ, онъ предложитъ лѣкарство, по памяти, по наслышкѣ, по опыту своего дяди, но въ воспитаніи онъ идетъ далѣе. "У меня, говоритъ, такое правило, и я отъ него никогда не отступаю; что касается до воспитанія, я шутить не люблю, это предметъ слишкомъ близкій къ сердцу".

Какія понятія о воспитаніи долженъ былъ имѣть К. можно вывести до послѣдней крайности изъ того очерка его характера, который мы сдѣлали. Тутъ онъ былъ послѣдователенъ себѣ, обыкновенно толкующіе о воспитаніи и этого не имѣютъ. К. имѣлъ Эмилевскія понятія и твердо вѣровалъ, что ниспроверженіе всего, что теперь дѣлается съ дѣтьми, было бы само по себѣ отличное воспитаніе. Ему хотѣлось исторгнуть ребенка изъ искусственной жизни и сознательно возвратить его въ дикое состояніе, въ ту первобытную независимость, въ которой равенство простирается такъ далеко, что различіе между людьми и обезьянами снова стерлось бы.

Мы сами были не очень далеки отъ этого взгляда, но у него онъ дѣлался, какъ все однажды усвоенное имъ, фанатизмомъ, нетерпящимъ ни сомнѣній, ни возраженій. Въ противодѣйствіи старинному, богословскому, схоластическому, аристократическому воспитанію, съ его догматизмомъ, доктринаризмомъ, натянутымъ педантскимъ классицизмомъ и наружной выправкой, поставленной выше нравственной, выразилась дѣйствительная и справедливая потребность. По несчастію въ дѣлѣ воспитанія, какъ во всемъ, крупный и революціонный путь, зря ломая старое, ничего не давалъ въ замѣну. Дикій предразсудокъ нормальнаго человѣка, къ которому стремились послѣдователи Жанъ-Жака, отрѣшалъ ребенка отъ исторической среды, дѣлалъ его въ ней иностранцемъ, какъ-будто воспитаніе не есть привитіе родовой жизни лицу.

Споры о воспитаніи рѣдко велись на теоретическомъ полѣ,

прикладное было слишкомъ близко. Мой сынъ, тогда ему было лѣтъ семь-восемь, былъ слабаго здоровья, очень подверженъ лихорадкамъ и кровавымъ поносамъ. Это продолжалось до нашей поѣздки въ Неаполь, или до встрѣчи въ Сорренто съ однимъ неизвѣстнымъ докторомъ, который измѣнилъ всю систему леченія и гигіены. К. хотѣлъ его закалить съ разу, какъ желѣзо, я не позволялъ и онъ выходилъ изъ себя : “ ты консерваторъ”, кричалъ онъ съ неистовствомъ, “ ты погубишь несчастнаго ребенка, ты сдѣлаешь изъ него изнѣженнаго барича и вмѣстѣ съ тѣмъ раба”.

Ребенокъ шалилъ и кричалъ во время болѣзни матери, я останавливалъ его; сверхъ простой необходимости мнѣ казалось совершенно справедливымъ заставлять его стѣснять себя для другаго, для матери, которая его такъ безконечно любила; но К. мрачно говорилъ мнѣ, затягиваясь до глубины сердечной Жуковымъ : “ гдѣ твое право останавливать его крикъ, онъ долженъ кричать, это его жизнь. Проклятая власть родителей!”

Размолвки эти, какъ я ни бралъ ихъ легко, дѣлали тяжелыми нашія отношенія и грозили серьезнымъ отдаленіемъ между К. и его друзьями. Еслибъ это было, онъ больше всѣхъ былъ-бы наказанъ и потому, что онъ все-же былъ очень привязанъ ко всѣмъ, и потому, что онъ мало умѣлъ жить одинъ. Его нравъ былъ по преимуществу экспансивный и вовсе не сосредоточенный. Кто нибудь ему былъ необходимъ. Самый трудъ его былъ постоянной бесѣдой съ другимъ, этотъ другой былъ Шекспиръ. Проработавши цѣлое утро, ему становилось скучно. Лѣтомъ онъ еще могъ бродить по полямъ, работать въ саду; но зимой оставалось надѣть знаменитый плащъ, или верблюжьяго цвѣта шероховатое пальто, и идти изъ подъ Сокольниковъ къ намъ, на Арбатъ или на Никитскую.

Доля его строптивой нетерпимости происходила отъ этого отсутствія внутренней работы, повѣрки, разбора, приведенія

въ ясность вопросовъ; для него вопросовъ не было : дѣло рѣшенное, и онъ шелъ впередъ не оглядываясь. Можетъ, еслибъ онъ былъ призванъ на практическое дѣло, это и было-бы хорошо, но его не было. Живое вмѣшательство въ общественныя дѣла было невозможно, у насъ въ нихъ мѣшаютъ только первые три класса, и онъ свою жажду дѣла перенесъ на частную жизнь друзей. Мы избавлялись отъ пустоты, которая сосала его сердце, теоретической работой. К. рѣшалъ всѣ вопросы sommairement, съ плеча, такъ или иначе — все равно; а рѣшивши, продолжалъ, не запинаясь ни за что и оставаясь упрямо вѣрнымъ своему рѣшенію.

При всемъ томъ, серьезнаго отдаленія до 1846 между нами не было. Natalie очень любила К., съ нимъ неразрывна была память 9 Мая 1838 года, она знала, что подъ его ежевыми колючками хранилась нѣжная дружба, и не хотѣла знать, что колючки росли и пускали дальше и дальше свои корни.

Ссора съ К. представлялась ей чѣмъ-то зловѣщимъ, ей казалось, если время можетъ подпилить, и притомъ такой маленькой пилкой, одно изъ колецъ такъ крѣпко державшихся во всю юность, то оно примется за другое, и вся цѣпь разсыпется. Середь суровыхъ словъ и жесткихъ отвѣтовъ, я видѣлъ какъ она блѣднѣла и просила взглядомъ остановиться, стряхивала минутную досаду и протягивала руку. Иногда это трогало К., но онъ употреблялъ гигантскія усилія, чтобъ показать, что ему въ сущности все равно, что онъ готовъ примириться, но пожалуй будетъ продолжать ссору.

На этомъ можно было-бы годы продлить страшное, колебавшееся отношеніе карающей дружбы и дружбы уступающей. Но новыя обстоятельства, усложнившія жизнь К., повели дѣла круче.

У него былъ свой романъ, странный какъ все въ его жизни и заставившій его быстро осѣсть въ довольно топкой

семейной сферѣ. Жизнь К., сведенная на величайшую простоту, на элементарныя потребности студентскаго бездомовья и кочевья по товарищамъ, вдругъ измѣнилась. У него въ домѣ явилась женщина, или вѣрнѣе, у него явился домъ, потому, что въ немъ была женщина. До тѣхъ поръ никто не предполагалъ К. семейнымъ человѣкомъ, въ своемъ chez soi его, любившаго до того все дѣлать безпорядочно, ходя закусывать, курить между супомъ и говядиной, спать не на своей кровати, что Константинъ Аксаковъ замѣчалъ шутя: "что К. отличается отъ людей тѣмъ, что люди обѣдаютъ, а К, ѣстъ", у него вдругъ ложе, свой очагъ, своя крыша!

Случилось это вотъ какъ.

За нѣсколько лѣтъ до того К., ходя всякій день по пустыннымъ улицамъ между Сокольниками и Басманной, сталъ встрѣчать бѣдную, почти нищую дѣвочку; утомленная, печальная возвращалась она этой дорогой изъ какой-то мастерской. Она была некрасива, запугана, застѣнчива и жалка, ея существованіе никѣмъ не было замѣчено..... ее никто не жалѣлъ. Круглая сирота, она была принята ради имени Христова въ какой-то раскольническій скитъ, тамъ выросла и оттуда вышла на тяжелую работу, безъ защиты, безъ опоры, одна на свѣтѣ. К. сталъ съ ней разговаривать, пріучилъ ее не бояться себя, распрашивая ее о ея печальномъ ребячествѣ, о ея горемычномъ существованіи. Въ немъ первомъ она нашла участіе и теплоту, и привязалась къ нему душей и тѣломъ. Его жизнь была одинока и сурова, за всѣми шумами пріятельскихъ пировъ, московскихъ первыхъ спектаклей и Бажановской кофейни, была пустота въ его сердцѣ, въ которой онъ конечно не признался бы даже себѣ самому, но которая сказывалась. Бѣдный, невзрачный цвѣтокъ самъ собою падалъ на его грудь,— и онъ принялъ его, не очень думая о послѣдствіяхъ и, вѣроятно, не приписывая этому случаю особенной важности.

Въ лучшихъ и развитыхъ людяхъ для женщинъ все еще существуетъ что-то въ родѣ электоральнаго ценса, и есть классы ниже его, которые считаются естественно обреченными на жертвы. Съ ними не женировались мы всѣ, и потому бросить камень врядъ-ли посмѣетъ кто нибудь.

Сирота безумно отдалась К. Не даромъ воспиталась она въ раскольническомъ скиту: она изъ него вынесла способность изувѣрства, идолопоклонства; способность упорнаго, сосредоточеннаго фанатизма и безграничной преданности. Все, что она любила и чтила, чего боялась, чему повиновалась, Христосъ и Бого-матерь, святые угодники и чудотворныя иконы: все это теперь было въ К., въ человѣкѣ, который первый пожалѣлъ, первый приласкалъ ее. И все это было въ половину скрыто, погребено, не смѣло обнаружиться.

..... У ней родился ребенокъ; она была очень больна, ребенокъ умеръ... Связь, которая должна была скрѣпить ихъ отношенія, лопнула. К. сталъ холоднѣе къ С., видался рѣже и наконецъ совсѣмъ оставилъ ее. Что это дикое дитя "не разлюбитъ его даромъ" — можно было смѣло предсказать. Что-же у ней оставалось на всемъ бѣломъ свѣтѣ, кромѣ этой любви? Развѣ броситься въ Москву рѣку. Бѣдная дѣвушка, оканчивая дневную работу, едва прикрытая скуднымъ платьемъ, выходила, не смотря ни на ненастье, ни на холодъ, на дорогу, ведущую къ Басманной, и ждала часы цѣлые, чтобъ встрѣтить его, проводить глазами, и потомъ плакать, плакать цѣлую ночь; большею частью она пряталась, но иногда кланялась ему и заговаривала. Если онъ ласково отвѣчалъ, С. была счастлива и весело бѣжала домой. О своемъ-же "несчастіи", о своей любви, она говорить стыдилась и не смѣла. Такъ прошли года два или больше. Молча и безропотно выносила она судьбу свою. Въ 1845 К. переселился въ Петербургъ. Это было свыше силъ. Не видать его даже на улицѣ, не встрѣчать издали и не проводить глазами, знать что онъ за семсотъ верстъ, между чужими

людьми, и не знать здоровъ-ли онъ и не случилось-ли съ нимъ какой бѣды. Этого вынести она не могла. Безъ всякихъ пособій и помощи, С. начала копить копѣйками деньги, сосредоточила всѣ усилія къ одной цѣли, работала мѣсяцы, исчезла и добралась таки до Петербурга. Тамъ, усталая, голодная, исхудалая, она явилась къ К., умоляя его, чтобъ онъ не оттолкнулъ ее, чтобъ онъ ее принялъ, что дальше ей ничего не нужно, она найдетъ себѣ уголъ, найдетъ черную работу, будетъ жить на хлѣбѣ и водѣ, — лишь бы остаться въ томъ городѣ гдѣ онъ, и иногда видѣть его. Тогда только К. вполнѣ понялъ, что за сердце билось въ ея груди. Онъ былъ подавленъ, потрясенъ. Жалость, раскаяніе, сознаніе, что онъ такъ любимъ, измѣнили роли : теперь она останется здѣсь у него, это будетъ ея домъ, онъ будетъ ея мужемъ, другомъ, покровителемъ. Ея мечтанія сбылись, забыты холодныя осеннія ночи, забытъ страшный путь, и слезы ревности, и горькія рыданья : она съ нимъ, и уже навѣрное не разстанется больше — живая. До пріѣзда К. въ Москву никто не зналъ всей этой исторіи, развѣ одинъ Михаилъ Семеновичъ — теперь скрыть ее было невозможно и не нужно : — мы двое и весь нашъ кругъ приняли съ распростертыми объятіями этого дичка, сдѣлавшаго геройскій подвигъ. И эта то дѣвушка, полная любви, со своей безусловной преданностью, покорностью, надѣлала К. бездну вреда. На ней было все благословеніе и все проклятіе, лежащее на пролетаріатѣ — да еще особенно на нашемъ.

Въ свою очередь и мы нанесли ей чуть-ли не столько-же зла, сколько она К.

И то и другое въ совершенномъ невѣденіи и съ безусловной чистотой намѣреній! Она окончательно испортила жизнь К., какъ ребенокъ портитъ кистью хорошую гравюру, воображая, что онъ ее раскрашиваетъ. Между К. и С., между С. и нашимъ кругомъ, лежалъ огромный, страшный обрывъ, во всей рѣзкости своей крутизны, безъ мостовъ,

безъ брода. Мы и она принадлежали къ разнымъ возрастамъ человѣчества, къ разнымъ формаціямъ его, къ разнымъ томамъ всемірной исторіи. Мы—дѣти новой Россіи, вышедшіе изъ Университета и Академіи, мы, увлеченные тогда политическимъ блескомъ Запада, мы религіозно хранившіе свое невѣріе, открыто отрицавшіе церковь; и она, воспитавшаяся въ раскольническомъ скитѣ, въ до-петровской Россіи, во всемъ фанатизмѣ сектаторства, со всѣми предразсудками прячущейся религіи, со всѣми причудами стариннаго русскаго быта. Связывая вновь, необыкновенной силой воли, порванные концы, она крѣпко держалась за узелъ. Ускользнуть К. уже не могъ. Но онъ и не хотѣлъ этого. Упрекая себя въ прошедшемъ, К. искренно стремился загладить его; подвигъ С. увлекъ его. Склоняясь передъ нимъ, онъ зналъ, что въ свою очередь и онъ дѣлаетъ жертву, но, натура въ высшей степени чистая и благородная, онъ былъ радъ ей какъ искупленію. Только зналъ онъ одну матеріальную сторону ея: фактическое стѣсненіе жизни;— противурѣчіе сожитія стараго студента съ Шиллеровскими мечтами, съ женщиной, для которой не только міръ Шиллера не существовалъ, но и міръ грамотности, міръ всего свѣтскаго образованія,—ему и въ голову не приходило.

Что ни говори и ни толкуй, но пословица inter pares amicitia совершенно вѣрна, и всякій mésaillance—впередъ посѣянное несчастіе. Много глупаго, надменнаго, буржуазнаго разумѣлось подъ этимъ словомъ, но сущность его истинна. Въ худшемъ изъ всѣхъ неравенствъ—въ неравенствѣ развитія, одно спасеніе и есть: воспитаніе одного лица другимъ, но для этого надобно два рѣдкіе дара; надобно, чтобъ одинъ умѣлъ воспитывать, а другой умѣлъ воспитываться, чтобъ одинъ велъ, другой шелъ. Гораздо чаще неразвитая личность, сведенная на мелочь частной жизни, безъ другихъ захватывающихъ душу интересовъ, одолѣваетъ, человѣка возьметъ одурь, усталь; онъ незамѣтно мельчаетъ, съуживается

и, чувствуя неловкость, все-же успокоивается, запутанный нитками и тесемками. Бываетъ и то, что ни та, ни другая личность не сдаются, и тогда сожитіе превращается въ консолидированную войну, въ вѣчное единоборство, въ которомъ лица крѣпнутъ и остаются на вѣки вѣковъ въ безплодныхъ усиліяхъ съ одной стороны поднять и съ другой стянуть, т. е. отстоять свое мѣсто. При равныхъ силахъ этотъ бой поглащаетъ жизнь, и самыя крѣпкія натуры истощаются и падаютъ обезсиленными середь дороги. Падаетъ всего прежде натура развитая, ея эстетическое чувство глубоко оскорблено двойнымъ строемъ, лучшія минуты, въ которыя все звонко и ярко, ей — отравлены: экспансивные люди страстно требуютъ, чтобъ все близкое имъ, было близко ихъ мысли, ихъ религіи; — это принимаютъ за нетерпимость. Для нихъ прозелитизмъ дома, продолженіе апостольства, пропаганды; ихъ счастіе оканчивается тамъ, гдѣ ихъ не понимаютъ... а чаще всего ихъ не хотятъ понять.

Позднее воспитаніе сложившейся женщины дѣло очень трудное; особенно трудное въ тѣхъ сожитіяхъ, которыми оканчиваются, а не начинаются близкія отношенія. Связи легко, вѣтренно начатыя, рѣдко подымаются выше спальной и кухни. Общая крыша слишкомъ поздно покрываетъ ихъ, чтобъ подъ ней можно было учиться, развѣ какое нибудь странное несчастіе разбудитъ душу спящую, но способную проснуться. По большей части la petite femme никогда не дѣлается большой, никогда не дѣлается женой и сестрой вмѣстѣ. Она остается или любовницей и лореткой, или дѣлается кухаркой и любовницей.

Сожитіе подъ одной крышей само по себѣ вещь страшная, на которой рушилась половина браковъ. Живя тѣсно вмѣстѣ, люди слишкомъ близко подходятъ другъ къ другу, видятъ другъ друга слишкомъ подробно, слишкомъ на распашку, и незамѣтно срываютъ по лепестку всѣ цвѣты вѣнка, окружающаго поэзіей и граціей личность. Но одинаковость

развитія сглаживаетъ многое. А когда ея нѣтъ, а есть праздный досугъ, нельзя вѣчно пороть вздоръ, говорить о хозяйствѣ или любезничать; а что-же дѣлать съ женщиной, когда она что-то промежуточное между одалиской и служанкой, существо тѣлесно близкое и умственно далекое. Ее ненужно днемъ, а она безпрестанно тутъ; мужчина не можетъ дѣлить съ ней своихъ интересовъ, она не можетъ не дѣлить съ нимъ своихъ сплетень.

Каждая неразвитая женщина, живущая съ развитымъ мужемъ, напоминаетъ мнѣ Далилу и Самсона : она отрѣзываетъ его силу, и отъ нея никакъ не остережешься. Между обѣдомъ, даже и очень позднимъ, и постелью даже тогда, когда ложимся въ десять часовъ, есть еще бездна времени, въ которое не хочется больше заниматься и еще не хочется спать, въ которое бѣлье сочтено и расходъ провѣренъ. Вотъ въ эти то часы жена стягиваетъ мужа въ тѣсноту своихъ дрязгъ, въ міръ раздражительной обидчивости, пересудовъ и злыхъ намековъ. Безслѣднымъ это не остается. Бываютъ прочныя отношенія сожитія мужчины съ женщиной безъ особеннаго равенства развитія, основанныя на удобствѣ, на хозяйствѣ, я почти скажу на гигіенѣ. Иногда это рабочія ассоціаціи, взаимная помощь соединенная съ взаимнымъ удовольствіемъ; большей частію жена берется какъ сидѣлка, какъ добрая хозяйка, pour avoir un bon pot au feu, какъ говорилъ мнѣ Прудонъ. Формула старой юриспруденціи очень умна, a mensa et toro, уничтожь общій столъ и общую кровать, они и разойдутся съ покойной совѣстью.

Эти дѣловые браки, чуть-ли не лучшіе. Мужъ постоянно въ своихъ занятіяхъ, ученыхъ, торговыхъ, въ своей канцеляріи, конторѣ, лавкѣ. Жена постоянно въ бѣльѣ и припасахъ. Мужъ возвращается усталый : все готово у него, и все идетъ шагомъ и маленькой рысцой къ тѣмъ-же воротамъ кладбища, къ которымъ доѣхали родители. Это явленіе чисто городское, въ Англіи оно является чаще чѣмъ гдѣ либо;

это та средá мѣщанскаго счастья, о которомъ проповѣдывали моралисты французской сцены, о которой мечтаютъ Нѣмцы(*); въ ней легче уживаются разныя степени развитія черезъ годъ послѣ окончанія курса въ университетѣ; тутъ есть раздѣленіе труда и чинопочитаніе. Мужъ, особенно при капиталѣ, дѣлается тѣмъ, чѣмъ его назвалъ смыслъ народный—хозяинъ, "mon bourgeois" своей жены. Этимъ путемъ, и благодаря законамъ о наслѣдствѣ, онъ не зарастетъ травой, всякая женщина постоянно остается женщиной на содержаніи, если не у посторонняго, то у своего мужа. Она это знаетъ.

"Dessen Brod man ist
Dessen Lied man singt".

Но въ этихъ бракахъ есть свое нравственное единство, есть свое одинакое воззрѣніе, свои одинакія цѣли. К. самъ цѣли не имѣлъ и не могъ быть ни "хозяиномъ", ни воспитателемъ. Онъ не могъ съ С. даже бороться, она всегда уступала. Своимъ крикомъ, своимъ строптивымъ характеромъ онъ запугалъ ее. При ея развитомъ сердцѣ, у нея было тяжелое, упирающееся пониманіе, та неповоротливость мозга, которую мы часто встрѣчаемъ въ людяхъ, совершенно непривычныхъ къ отвлеченной работѣ, и которая составляетъ одну изъ отличительныхъ чертъ до-петровскихъ временъ. Соединенная съ своимъ кровнымъ, болѣзнымъ, она ничего не желала и ничего не боялась. Да и чего-же было бояться? Бѣдности? да развѣ она всю жизнь не была бѣдна, развѣ она не вынесла нищету, эту бѣдность съ униженіемъ. Работы? развѣ она не работала съ утра до ночи въ мастерской за нѣсколько грошей. Ссоры, разлуки? Да, послѣднее было страшно, и очень; но она до такой степени отказалась отъ всякой воли, что трудно было съ ней въ

(*) Ни у пролетарія, ни у крестьянъ нѣтъ между мужемъ и женой двухъ разныхъ образованій, а есть тяжелое равенство передъ работой и тяжелое неравенство власти мужа и жены.

самомъ дѣлѣ поссориться, а капризъ она вынесла бы, пожалуй вынесла бы и побои, лишь бы быть увѣренной, что онъ ее хоть немного любитъ и не хочетъ съ ней разстаться. И онъ этого не хотѣлъ, и на это сверхъ всего росла новая причина. Ее очень хорошо поняла чутьемъ любви С. Темно сознавая, что она не можетъ вполнѣ удовлетворить К., она стала замѣнять чего въ ней не было постоянными уходомъ и заботливостью.

К. было за сорокъ лѣтъ. Въ отношеніи къ домашнему комфорту онъ не былъ избалованъ. Онъ почти всю жизнь прожилъ дома, такъ какъ киргизъ въ кибиткѣ, безъ собственности и безъ желанія ее имѣть, безъ всякихъ удобствъ и безъ потребности на нихъ. Исподоволь все мѣняется; онъ окруженъ сѣтью вниманья и услугъ, онъ видитъ дѣтскую радость, когда онъ чѣмъ нибудь доволенъ; ужасъ и слезы, когда онъ поднимаетъ брови; и это всякій день, съ утра до ночи. К. сталъ чаще оставаться дома: жаль-же было и ее оставлять постоянно одну. Къ тому-же трудно было, чтобъ К. не бросалось въ глаза различіе между ея совершенной покорностью и возраставшимъ отпоромъ нашимъ. С. переносила самые несправедливые взрывы его съ кротостью дочери, которая улыбается отцу, скрывая слезы, и ожидаетъ, безъ rancune, чтобъ туча прошла. Покорная, безотвѣтная до рабства, С. трепещущая, готовая плакать и цѣловать руку, имѣла огромное вліяніе на К. Нетерпимость воспитывается уступками.

Тереза, бѣдная, глупая Тереза Руссо, развѣ не сдѣлала изъ пророка равенства щепетильнаго разночинца, постоянно занятаго сохраненіемъ своего достоинства?

Вліяніе С. на К. приняло ту самую складку, о которой говоритъ Дидро, жалуясь на Терезу. Руссо былъ подозрителенъ; Тереза развила подозрительность его въ мелкую обидчивость и, нехотя, безъ умысла, разссорила его съ лучшими друзьями. Вспомните, что Тереза никогда не умѣла порядкомъ читать и никогда не могла выучиться

узнавать который часъ,—что ей не помѣшало довести ипохондрію Руссо до мрачнаго помѣшательства.

Утромъ Руссо заходитъ къ Ольбаху; человѣкъ приноситъ завтракъ и три куверта: Ольбаху, его женѣ и Гриму; въ разговорѣ никто не замѣчаетъ этого, кромѣ Жанъ-Жака. Онъ беретъ шляпу. "Да останьтесь-же завтракать", говоритъ г-жа Ольбахъ и велитъ подать приборъ; но уже поправить поздно: Руссо, желтый отъ досады, бѣжитъ, мрачно проклиная родъ человѣческій, къ Терезѣ и разсказываетъ, что ему не поставили тарелки, намекая, чтобъ онъ ушелъ. Ей такіе разсказы по душѣ; въ нихъ она могла принять горячее участіе: они ставили ее на одну доску съ нимъ, и даже немного повыше его, и она сама начинала сплетничать, то на Mme Удсто, то на Давида Юма, то на Дидро. Руссо грубо перерываетъ связи, пишетъ безумныя и оскорбительныя письма, вызываетъ иногда страшные отвѣты, (напр. отъ Юма) и удаляется, оставленный всѣми, въ Монморанси, проклиная, за недостаткомъ людей, воробьевъ и ласточекъ, которымъ бросалъ зерна.

Еще разъ: —безъ равенства, нѣтъ брака въ самомъ дѣлѣ. Жена, исключенная изъ всѣхъ интересовъ, занимающихъ ея мужа, чуждая имъ, не дѣлящая ихъ,—наложница, экономка, нянька, но не жена въ полномъ, въ благородномъ значеніи слова. Гейне говорилъ о своей "Терезѣ", что она "не знаетъ, и никогда не узнаетъ о томъ, что онъ писалъ". Это находили милымъ, смѣшнымъ, и никому не приходило въ голову спросить: "Зачѣмъ-же она была его жена?" Мольеръ, читавшій своей кухаркѣ свои комедіи, былъ во сто разъ человѣчественнѣе. За то Mme Айнъ и заплатила вовсе не хотя своему мужу. Въ послѣдніе годы его страдальческой жизни, она окружила его своими пріятельницами и пріятелями, увядшими камеліями прошлаго сезона, сдѣлавшимися нравственными дамами отъ морщинъ, и полинялыми, посѣдѣвшими, падшими на ноги друзьями ихъ.

Я нисколько не хочу сказать, чтобъ жена непремѣнно должна и дѣлать и любить то, что дѣлаетъ и любитъ мужъ. Жена можетъ предпочитать музыку, а мужъ живопись: — это не разрушитъ равенства. Для меня всегда были ужасны, смѣшны и безсмысленны оффиціяльныя таскания мужа и жены, и чѣмъ выше, тѣмъ смѣшнѣе; зачѣмъ какой нибудь императрицѣ Евгеніи являться на кавалерійское ученіе и зачѣмъ Викторіи возить своего мужчину, le Prince Consort, на открытіе парламента, до котораго ему дѣла нѣтъ. Гейне прекрасно дѣлалъ, что не возилъ свою дородную половину на веймарскіе куртаги. Проза ихъ брака была не въ этомъ, а въ отсутствіи всякаго общаго поля, всякаго общаго интереса, который бы связывалъ ихъ помимо половаго влеченія...

Перехожу ко вреду, который мы сдѣлали бѣдной С. Ошибка, сдѣланная нами, опять таки родовая ошибка всѣхъ утопій и идеализмовъ. Вѣрно схватывая одну сторону вопроса, обыкновенно не обращается никакого вниманья къ чему эта сторона приросла и можно-ли ее отдѣлить,—никакого вниманья на глубокое сплетеніе жилъ, связывающихъ дикое мясо со всѣмъ организмомъ. Мы все еще по христіански думаемъ, что стоитъ сказать хромому "возьми одръ твой и ступай", онъ и пойдетъ.

Мы разомъ перебросили затворницу С., — С. полудикую, невидавшую людей, изъ ея одиночества въ нашъ кругъ. Ея оригинальность нравилась, мы хотѣли ее сберечь и обломили послѣднюю возможность развитія, отняли у нея охоту къ нему, увѣривъ ее, что и такъ хорошо. Но оставаться просто по прежнему ей самой не хотѣлось. Что-же вышло? Мы, революціонеры, соціалисты, защитники женскаго освобожденія, сдѣлали изъ наивнаго, преданнаго, простодушнаго существа, московскую мѣщанку!

Не такъ-ли Конвентъ, Якобинцы и сама Комуна сдѣлали изъ Франціи—мѣщанина, изъ Парижа—épicier?

Первый домъ, открывшійся С. съ любовью, съ теплотой

сердца, былъ нашъ домъ. Natalie поѣхала къ ней и силой привезла къ намъ. Съ годъ времени С. держалась тихо и дичилась чужихъ; пугливая и застѣнчивая, какъ прежде, она была полна тогда своего рода народной поэзіи. Ни малѣйшаго желанія обращать на себя вниманіе своей странностью; напротивъ, желаніе, чтобъ ее не замѣтили. Какъ дитя, какъ слабый звѣрекъ, она прибѣгала подъ крыло Natalie; ея преданности тогда не было границъ. Часы цѣлые любила она играть съ Сашей и разсказывала ему и намъ подробности своего ребячества, своей жизни у раскольниковъ, своихъ горестей въ ученьи, т. е. въ мастерской.

Она сдѣлалась игрушкой нашего круга; это наконе́цъ ей понравилось; она поняла, что ея положеніе, что она сама — оригинальны, и съ этой минуты она пошла ко дну; — никто не удерживалъ ее. Одна Natalie серьезно думала о томъ, чтобъ развить ее. С. не принадлежала къ гуртовымъ натурамъ; ее миновали множество дрянныхъ недостатковъ; она не любила рядиться, была равнодушна къ роскоши, къ дорогимъ вещамъ, къ деньгамъ,—лишь бы К. не чувствовалъ нужды, былъ бы доволенъ, до остальнаго ей не было дѣла. Сначала С. любила долго — долго говорить съ Natalie и вѣрила ей, кротко слушала ея совѣты и старалась имъ слѣдовать....., но оглядѣвшись, обжившись въ нашемъ кругу и, можетъ подстрѣкаемая другими, тѣшившимися ея странностями, она начала показывать страдательную оппозицію и на всякое замѣчаніе далеко не наивно отвѣчала : “Ужъ я такая несчастная, гдѣ мнѣ мѣняться, да передѣлываться; видно ужъ такая глупая и безталанная и въ могилу сойду”. Въ этихъ словахъ, свѣдома или безъ вѣдома, звучало задѣтое самолюбіе. Она перестала себя чувствовать свободной у насъ, рѣже и рѣже ходила она къ намъ. “Богъ съ ней, съ Н. А.”, говорила она, “разлюбила она меня бѣдную”. Панибратство, пансіонская фамиліярность, были чужды Natalie; въ ней во всемъ преобладалъ элементъ покойной глубины и великаго

эстетическаго чувства. С. не поняла смысла разницы въ обхожденіи съ нею Natalie и другихъ, и забыла кто первый протянулъ ей руку и прижалъ къ сердцу; вмѣстѣ съ ней отдалился и К., все больше и больше угрюмый и раздражительный.

Подозрительность К. удвоилась. Въ каждомъ неосторожномъ словѣ онъ видѣлъ преднамѣренность, злой умыселъ, желаніе обидѣть, и не его одного, а и С. Она со своей стороны плакала, жаловалась на судьбу, обижалась за К. и, по закону нравственной реверберації, собственныя подозрѣнія его возвращались къ нему удесятеренными. Его обличительная дружба стала превращаться въ желаніе найти въ насъ вины, въ надзоръ, въ постоянное полицейское слѣдствіе, и мелкіе недостатки его друзей, покрывали для него гуще и гуще всѣ остальныя стороны ихъ.

Въ нашъ чистый, свѣтлый, совершеннолѣтній кругъ стали врываться пересуды дѣвичьей и пикировка провинціональныхъ чиновниковъ.

Раздражительность К. становилась заразительной; постоянныя обвиненія, объясненія, примиренія, отравляли наши сходки.

Вся эта ѣдкая пыль насѣдала во всѣ щели, и мало по малу разлагала цементъ, соединявшій такъ прочно наши отношенія къ друзьямъ. Мы всѣ подверглись вліянію сплетень. Самъ Грановскій сталъ угрюмъ и раздражителенъ, несправедливо защищалъ К. и сердился. Къ Грановскому приходилъ К. съ своими обвиненіями противъ меня и Огарева. Грановскій не вѣрилъ имъ, но, жалѣя "больнаго, огорченнаго и все таки любящаго" К., запальчиво бралъ его сторону и сердился на меня за недостатокъ терпимости. "Вѣдь ты знаешь, что у него нравъ такой; это болѣзнь, вліяніе доброй С., но неразвитой и тяжелой, дальше и дальше толкаетъ его на этотъ несчастный путь, а ты споришь съ нимъ, какъ будто онъ былъ въ нормальномъ положеніи".

Чтобъ кончить этотъ грустный разсказъ, приведу два

примѣра... Въ нихъ ярко выразилось какъ далеко мы ушли отъ теоріи варенія кофея въ Покровскомъ.

Какъ-то вечеромъ, весной 1846 года, у насъ было человѣкъ пять близкихъ знакомыхъ, и въ томъ числѣ Михаилъ Семеновичъ. — "Нанялъ ты нынѣшній годъ домъ въ Соколовѣ?"—Нѣтъ еще: денегъ нѣтъ, а тамъ надобно платить впередъ.— "Неужели-же все лѣто останешся въ Москвѣ?"— Подожду немного, потомъ увидимъ.—Вотъ и все. Никто не обратилъ на этотъ разговоръ никакого вниманія и, черезъ секунду, шла покойно другая рѣчь. Мы собирались на другой день послѣ обѣда съѣздить въ Кунцово, которое любили съ дѣтства. К., Коршъ и Грановскій хотѣли ѣхать съ нами. Поѣздка состоялась, и все шло своимъ порядкомъ, кромѣ К., мрачно подымавшаго брови; но наконецъ всѣ были обстрѣлены.

Вечеръ былъ весенній, безъ палящаго жара, но теплый; листъ только что развернулся; мы сидѣли въ саду, шутя и разговаривая. Вдругъ К., молчавшій съ полъ часа, всталъ и остановился передо мной; съ лицомъ прокурора вемическаго суда и съ дрожащей отъ негодованія губой, онъ сказалъ мнѣ:

"А надобно тебѣ честь отдать: ловко ты вчера Михаилу Семеновичу напомнилъ, что онъ еще не заплатилъ тебѣ девятсотъ рублей, которые бралъ у тебя".

Я истинно ничего не понялъ; тѣмъ больше, что навѣрное годъ не думалъ о долгѣ Щепкина.

— Деликатно, нечего сказать: старикъ теперь безъ денегъ, со своей огромной семьей, собирается въ Крымъ, а тутъ ему въ присутствіи пяти человѣкъ: "нѣтъ денегъ на наемъ дачи!" Фу, какая гадость.

Огаревъ вступился за меня. К. накинулся на него, нелѣпымъ обвиненіямъ не было конца; Грановскій попробовалъ его унять, не смогъ и уѣхалъ съ Коршемъ прежде насъ. Я былъ разсерженъ, униженъ и отвѣчалъ очень жестко. К. посмотрѣлъ изъ подлобья и, не говоря ни слова, пошелъ пѣшкомъ въ

Москву. Мы остались одни и въ какомъ-то жалкомъ раздраженіи поѣхали домой. Я хотѣлъ на этотъ разъ дать сильный урокъ и, если не вовсе прервать, то пріостановить сношенія съ К. Онъ раскаявался, плакалъ; Грановскій требовалъ мира, говорилъ съ Natalie былъ глубоко огорченъ. Я помирился, но не весело и говоря Грановскому: "вѣдь это на три дня".—Вотъ прогулка, а вотъ и другая.

Мѣсяца черезъ два мы были въ Соколовѣ. К. и С. отправились вечеромъ въ Москву. Огаревъ поѣхалъ ихъ провожать верхомъ на своей черкеской лошади; не было ни тѣни ссоры, размолвки.

..... Огаревъ возвратился черезъ два - три часа; мы посмѣялись, что день прошелъ такъ мирно, — и розошлись.

На другой день, Грановскій, который наканунѣ былъ въ Москвѣ, встрѣтилъ меня у насъ въ паркѣ; онъ былъ задумчивъ, грустнѣе обыкновеннаго, и наконецъ сказалъ мнѣ, что у него есть что-то на душѣ и что онъ хочетъ поговорить со мной. Мы пошли длинной аллеей и сѣли на лавочкѣ, видъ съ которой знаютъ всѣ, бывшіе въ Соколовѣ. "Герценъ,—сказалъ мнѣ Грановскій,—еслибъ ты зналъ, какъ мнѣ тяжело, какъ больно,... какъ я, не смотря ни на что, всѣхъ люблю, ты знаешь... и съ ужасомъ вижу, что все разваливается. И тутъ, какъ на смѣхъ, мелкія ошибки, проклятое невниманіе, неделикатность..."

— Да что случилось, скажи пожалуйста? спросилъ я, дѣйствительно испуганный.

— То, что К. взбѣшенъ противъ Огарева, да и по правдѣ сказать, трудно не быть взбѣшеннымъ; я стараюсь, дѣлаю что могу, но силъ моихъ нѣтъ, особливо когда люди не хотятъ ничего сами сдѣлать.

— Да дѣло то въ чемъ?

— А вотъ въ чемъ: вчера Огаревъ поѣхалъ К. и С. провожать верхомъ.

— При мнѣ было, да я и Огарева видѣлъ вечеромъ, онъ ни слова не говорилъ.

— На мосту "Кортикъ" зашалилъ, сталъ на дыбы, Огаревъ, усмиряя его, съ досады выругался при С., и она слышала... да и К. слышалъ. Положимъ, что онъ не подумалъ, но К. спрашиваетъ: "отчего на него не находятъ разсѣянности въ присутствіи твоей жены или моей". Что на это сказать?... и притомъ, при всей простотѣ своей, С. очень сентиментальна, что при ея положеніи очень понятно.

Я молчалъ. Это перешло всѣ границы.

— Что-же тутъ дѣлать?

— Очень просто: съ негодяями, которые въ состояніи намѣренно забываться при женщинѣ, надобно раззнакомиться. Съ такими людьми быть близкимъ другомъ—презрительно.....

— Да онъ не говоритъ, что Огаревъ это сдѣлалъ намѣренно.

— Такъ о чемъ-же рѣчь? И ты, Грановскій, другъ Огарева, ты, который такъ знаешь его безграничную деликатность, повторяешь бредъ безумнаго, котораго пора посадить въ желтый домъ. Стыдно тебѣ.

Грановскій смутился.

— Боже мой, — сказалъ онъ, — неужели и наша кучка людей, единственное мѣсто гдѣ я отдыхалъ, надѣялся, любилъ, куда спасался отъ гнетущей среды,—неужели и она разойдется въ ненависти и злобѣ?

Онъ покрылъ глаза рукой.

Я взялъ другую; мнѣ было очень тяжело.

— Грановскій, сказалъ я ему,—К. правъ: мы всѣ слишкомъ близко подошли другъ къ другу, слишкомъ стиснулись и заступили другъ другу въ постромки... Gemach! другъ мой, Gemach! намъ надобно провѣтриться, освѣжиться. Огаревъ осенью ѣдетъ въ деревню, я скоро уѣду въ чужіе края,— мы разойдемся безъ ненависти и злобы; что было истиннаго въ нашей дружбѣ, то поправится, очистится разлукой.

Грановскій плакалъ. Съ К. по этому дѣлу никакихъ объясненій не было.

Огаревъ дѣйствительно осенью уѣхалъ, а вслѣдъ за нимъ и мы.

Laurelhouse, Putney, 1857.

Пересмот. въ Буассьерѣ и на дорогѣ, въ Сентябрѣ 1865.

... Рѣже и рѣже доходили до насъ вѣсти о московскихъ друзьяхъ. Запуганные терроромъ послѣ 1848 г., они ждали вѣрной оказіи. Оказіи эти были рѣдки, паспортовъ почти не выдавали. Отъ К. годы цѣлые ни слова; впрочемъ онъ никогда не любилъ писать.

Первую живую вѣсть послѣ моего переселенія въ Лондонъ привезъ въ 1855 году докторъ П.—К. былъ въ своей стихіи, шумѣлъ на банкетахъ въ честь севастопольцевъ, обнимался съ Погодинымъ и Кокоревымъ, обнимался съ черноморскими моряками, шумѣлъ, бранился, поучалъ. Огаревъ, пріѣхавшій прямо со свѣжей могилы Грановскаго, разсказывалъ мало; его разсказы были печальны.

Прошло еще года полтора. Въ это время была окончена мною эта глава и кому первому изъ постороннихъ прочтена?

Да,—habeunt sua fata libeli.

Осенью 1857 года пріѣхалъ въ Лондонъ Чичеринъ. Мы его ждали съ нетерпѣніемъ; нѣкогда одинъ изъ любимыхъ учениковъ Грановскаго, другъ Корша и К., онъ для насъ представлялъ близкаго человѣка. Слышали мы о его жесткости, о консерваторскихъ веллеитетахъ, о безмѣрномъ самолюбіи и доктринаризмѣ, но онъ еще былъ молодъ... Много угловатаго обтачивается теченьемъ времени.

— Я долго думалъ, ѣхать мнѣ къ вамъ, или нѣтъ? къ вамъ теперь такъ много ѣздятъ русскихъ, что, право, надобно имѣть больше храбрости не быть у васъ, чѣмъ быть; я-же,— какъ вы знаете,— вполнѣ уважая васъ, далеко не во всемъ согласенъ съ вами.

Вотъ съ чего началъ Чичеринъ.

Онъ подходилъ непросто, неюно, у него были камни за пазухой; свѣтъ его глазъ былъ холоденъ, въ тэмбрѣ голоса былъ вызовъ и страшная, отталкивающая самоувѣренность. Съ первыхъ словъ я понялъ, что это не противникъ, а врагъ; но подавилъ физіологическій сторожевой окрикъ, и мы разговорились.

Разговоръ тотчасъ перешелъ къ воспоминаніямъ и къ разспросамъ съ моей стороны. Онъ разсказывалъ о послѣднихъ мѣсяцахъ жизни Грановскаго, и, когда онъ ушелъ, я былъ довольнѣе имъ, чѣмъ сначала.

На другой день, послѣ обѣда, рѣчь зашла о К. Чичеринъ говорилъ о немъ, какъ о человѣкѣ, котораго онъ любитъ, беззлобно смѣясь надъ его выходками; изъ подробностей, сообщенныхъ имъ, я узналъ, что обличительная любовь къ друзьямъ продолжается, что вліяніе С. дошло до того, что многіе изъ друзей ополчились противъ нея, исключили изъ своего общества и пр. Увлеченный разсказами и воспоминаніями, я предложилъ Чичерину прочесть ненапечатанную тетрадь о К. и прочелъ ее всю. Я много разъ раскаявался въ этомъ, не потому, чтобъ онъ во зло употребилъ читанное мною, а потому, что мнѣ было больно и досадно, что я въ сорокъ пять лѣтъ, могъ разоблачать наше прошедшее передъ черствымъ человѣкомъ, насмѣявшимся потомъ съ такой безпощадной дерзостью надъ тѣмъ, что онъ называлъ моимъ "темпераментомъ".

Разстоянія, дѣлившія наши воззрѣнія и наши темпераменты, обозначились скоро. Съ первыхъ дней начался споръ, по которому ясно было, что мы расходимся во всемъ. Онъ былъ почитатель французскаго демократическаго строя и имѣлъ нелюбовь къ англійской, неприведенной въ порядокъ, свободѣ. Онъ въ императорствѣ видѣлъ воспитаніе народа, и проповѣдывалъ сильное государство и ничтожность лица передъ нимъ. Можно понять, что были эти мысли въ прило-

женіи къ русскому вопросу. Онъ былъ гувернементалистъ, считалъ правительство гораздо выше общества и его стремленій, и принималъ императрицу Екатерину II почти за идеалъ того, что надобно Россіи. Все это ученіе шло у него изъ цѣлаго догматическаго построенія, изъ котораго онъ могъ всегда и тотчасъ выводить свою философію бюрократіи.

— Зачѣмъ вы хотите быть профессоромъ?—спрашивалъ я его, и ищете каѳедру? — Вы должны быть министромъ и искать портфель.

Споря съ нимъ, проводили мы его на желѣзную дорогу и разстались несогласные ни въ чемъ, кромѣ взаимнаго уваженія.

Изъ Франціи онъ написалъ мнѣ недѣли черезъ двѣ письмо, съ восхищеніемъ говорилъ о работникахъ, объ учрежденіяхъ. "Вы нашли то, что искали, отвѣчалъ я ему, и очень скоро. Вотъ что значитъ ѣхать съ готовой доктриной". Потомъ я предложилъ ему начать печатную переписку и написалъ начало длиннаго письма.

Онъ не хотѣлъ, говорилъ что ему нѣкогда, что такая полемика будетъ вредна...

Замѣчаніе сдѣланное въ Колоколѣ о доктринерахъ вообще онъ принялъ на свой счетъ; самолюбіе было задѣто и онъ мнѣ прислалъ свой "обвинительный актъ", надѣлавшій въ то время большой шумъ.

Чичеринъ кампанію потерялъ, въ этомъ для меня нѣтъ сомнѣнія. Взрывъ негодованія, вызванный его письмомъ, напечатаннымъ въ Колоколѣ, былъ общимъ въ молодомъ обществѣ, въ литературныхъ кругахъ. Я получилъ десятки статей и писемъ, одно было напечатано. Мы еще шли тогда въ восходящемъ пути, и Катковскіе бревна трудно было класть подъ ноги. Сухо-оскорбительный, дерзко-гладкій тонъ возмутилъ, можетъ больше содержанія, и меня и публику одинакимъ образомъ: онъ былъ еще новъ тогда. За то со стороны Чичерина стали: Елена Павловна, Ифигенія

Зимняго дворца; Тимашевъ, начальникъ III отдѣленія и Н. Х. К.

К. остался вѣренъ реакціи, не потому чтобъ "Грандисона Ловласу предпочла", а потому—что, носимый безъ собственнаго компаса à la remorque кружка, онъ остался вѣренъ ему, не замѣчая, что тотъ плыветъ въ противную, ложную сторону. Человѣкъ котеріи, для него вопросы шли подъ знаменемъ лицъ, а не наоборотъ.

Никогда не доработавшись ни до одного яснаго понятія, ни до одного твердаго убѣжденія, онъ шелъ съ благородными стремленіями и завязанными глазами, и постоянно билъ враговъ, не замѣчая, что позиціи мѣнялись, и въ этихъ-то жмуркахъ билъ насъ, билъ другихъ, бьетъ кого нибудь и теперь, воображая, что дѣлаетъ дѣло.

Прилагаю письмо, писанное мною къ Чичерину для начала пріятельской полемики, которой помѣшалъ его прокурорскій обвинительный актъ.

My learned friend,

Спорить съ вами мнѣ невозможно. Вы знаете много, знаете хорошо, все въ вашей головѣ свѣжо и ново, а главное, вы увѣрены въ томъ что знаете, и потому покойны; вы съ твердостью ждете раціональнаго развитія событій въ подтвержденіе программы, раскрытой наукой. Съ настоящимъ вы не можете быть въ разладѣ, вы знаете, что если прошедшее было такъ и такъ, настоящее должно быть такъ и такъ и привести къ такому-то будущему; вы примиряетесь съ нимъ вашимъ пониманіемъ, вашимъ объясненіемъ. Вамъ досталась завидная доля священниковъ: утѣшеніе скорбящихъ вѣчными истинами вашей науки и вѣрой въ нихъ. Всѣ эти выгоды вамъ даетъ доктрина потому, что доктрина исключаетъ сомнѣніе. Сомнѣніе открытый вопросъ, доктрина—вопросъ закрытый, рѣшенный. Оттого всякая доктрина исключительна и неуступчива, а сомнѣніе

никогда не достигаетъ такой рѣзкой законченности; оно потому и сомнѣніе, что готово согласиться съ говорящимъ, или добросовѣстно искать смыслъ въ его словахъ, теряя драгоцѣнное время, необходимое на пріискиваніе возраженій. Доктрина видитъ истину подъ опредѣленнымъ угломъ и принимаетъ его за едино-спасающій уголъ, а сомнѣніе ищетъ отдѣлаться отъ всѣхъ угловъ, осматривается, возвращается назадъ, и часто парализуетъ всякую дѣятельность своимъ смиреніемъ передъ истиной. Вы, ученый другъ, опредѣленно знаете куда идти, какъ вести;—я не знаю. И оттого я думаю, что намъ надобно наблюдать и учиться; а вамъ учить другихъ. Правда, мы можемъ сказать какъ ненадобно, можемъ возбудить дѣятельность, привести въ беспокойство мысль, освободить ее отъ цѣпей, улетучить призраки церкви и съѣзжей, академіи и уголовныя палаты, вотъ и все; но вы можете сказать какъ надобно.

Отношеніе доктрины къ предмету есть религіозное отношеніе, то есть отношеніе съ точки зрѣнія вѣчности; временное, проходящее, лица, событія, поколѣнія едва входятъ въ Campo Santo науки, или входятъ, уже очищенные отъ живой жизни, въ родѣ гербарія логическихъ тѣней. Доктрина въ своей всеобщности живетъ дѣйствительно во всѣ времена, она и въ своемъ времени живетъ какъ въ исторіи, не портя страстнымъ участіемъ теоритическое отношеніе. Зная необходимость страданія, доктрина держитъ себя какъ Симеонъ-Столпникъ, на пьедесталѣ, жертвуя всѣмъ временнымъ—вѣчному, общимъ идеямъ—живыми частностями. Словомъ, доктринеры больше всего историки; а мы, вмѣстѣ съ толпой, вашъ субстратъ; вы исторія für sich, мы исторія an sich. Вы намъ объясняете чѣмъ мы больны, но больны-ли мы? Вы насъ хороните, послѣ смерти награждаете или наказываете, вы доктора и попы наши; но больные-ли мы и умирающіе?

Этотъ антагонизмъ не новость, и онъ очень полезенъ для

движенія, для развитія. Еслибъ родъ людской могъ весь повѣрить вамъ, онъ можетъ сдѣлался-бы благоразумнымъ, но умеръ-бы отъ всемірной скуки. Покойный Филимоновъ поставилъ эпиграфомъ къ своему "дурацкому колпаку": Si la raison dominait le monde, il ne s'y passerait rien.

Геометрическая сухость доктрины, алгебраическая безличность ея, даютъ ей обширную возможность обобщеній; она должна бояться впечатлѣній и, какъ Августъ, приказывать, чтобъ Клеопатра опустила покрывало. Но для дѣятельнаго вмѣшательства надобно больше страсти, нежели доктрины, а алгебраически страстенъ человѣкъ не бываетъ. Всеобщее онъ понимаетъ, а частное любитъ или ненавидитъ. Спиноза со всею мощью своего откровеннаго генія проповѣдывалъ необходимость считать существеннымъ одно неточимое молью, вѣчное, неизмѣнное, субстанцію, и не полагать своихъ надеждъ на случайное, частное, личное. Кто этого не пойметъ въ теоріи? Но только привязывается человѣкъ къ одному частному, личному, совершенному; въ уравновѣшиваніи этихъ крайностей, въ ихъ согласномъ сочетаніи, высшая мудрость жизни.

Если мы отъ этого общаго опредѣленія нашихъ противоположныхъ точекъ зрѣнія перейдемъ къ частнымъ, мы, при одинаковости стремленій, найдемъ не меньше антагонизма, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда мы согласны въ началѣ. Примѣромъ это легче объяснить. Мы совершенно согласны въ отношеніи къ религіи; но согласіе это идетъ только на отрицаніе надзвѣздной религіи, и, какъ только мы являемся лицомъ къ лицу съ подлунной религіей, разстояніе между нами неизмѣримо. Изъ мрачныхъ стѣнъ собора, пропитанныхъ ладономъ, вы переѣхали въ свѣтлое присутственное мѣсто, изъ Гвельфовъ вы сдѣлались Гибеллиномъ, чины небесные замѣнились для васъ—государственнымъ чиномъ, поглащеніе лица въ богѣ—поглощеніемъ его въ государствѣ, богъ замѣненъ централизаціей и попъ квартальнымъ надзирателемъ.

Вы въ этой перемѣнѣ видите переходъ, успѣхъ; — мы — новыя цѣпи. Мы не хотимъ быть ни Гвельфами, ни Гибеллинами. Ваша свѣтская, гражданская и уголовная религія тѣмъ страшнѣе, что она лишена всего поэтическаго, фантастическаго, всего дѣтскаго характера, который замѣнится у васъ канцелярскимъ порядкомъ, идоломъ государства, съ царемъ на верху и палачемъ внизу. Вы хотите чтобъ человѣчество, освободившееся отъ церкви, ждало столѣтія два въ передней присутственнаго мѣста, пока каста жрецовъ-чиновниковъ и монаховъ-доктринеровъ рѣшитъ какъ ему быть вольнымъ и на сколько, въ родѣ нашихъ комитетовъ объ освобожденіи крестьянъ. А намъ все это противно; мы можемъ многое допустить, сдѣлать уступку, принести жертву обстоятельствамъ; но для васъ это не жертвы. Разумѣется и тутъ вы счастливѣе насъ. Утративъ религіозную вѣру, вы не остались ни причемъ и, найдя, что гражданскія вѣрованія человѣку замѣняютъ христіанство, вы ихъ приняли, и хорошо сдѣлали для нравственной гигіены, для покоя. Но лѣкарство это намъ першитъ въ горлѣ, и мы ваше присутственное мѣсто, вашу централизацію, ненавидимъ совсѣмъ не меньше инквизиціи, консисторіи, кормчей книги.

Понимаете-ли вы разницу: — вы, какъ учитель, хотите учить, управлять, пасти стадо.

Мы, какъ стадо, приходящее къ сознанію, не хотимъ, чтобъ насъ пасли, а хотимъ имѣть свои земскія избы, своихъ повѣренныхъ, своихъ подъячихъ, которымъ поручатъ хожденіе по дѣламъ. Оттого насъ правительство оскорбляетъ на всякомъ шагу своей властью, а вы ему рукоплещете, такъ какъ ваши предшественники, попы, рукоплескали свѣтской власти. Вы можете и расходиться съ нимъ, такъ какъ духовенство расходилось, или какъ люди, ссорящіеся на кораблѣ: какъ бы они ни удалились другъ отъ друга, за бортъ вы не уйдете, и для насъ, мірянъ, вы все таки будете со стороны его.

Гражданская религія, апотеоза государства—идея чисто романская, а въ новомъ мірѣ, преимущественно французская. Съ нею можно быть сильнымъ государствомъ, но нельзя быть свободнымъ народомъ; можно имѣть славныхъ солдатъ... но нельзя имѣть независимыхъ гражданъ. Сѣверо Американскіе Штаты, совсѣмъ напротивъ, отняли религіозный характеръ полиціи и администраціи, до той степени до которой это возможно.

ЭПИЛОГЪ

Перечитывая главу о К., невольно призадумываешся о томъ, что за чудаки, что за оригинальныя личности живутъ и жили на Руси! Какими капризными развитіями сочилась и просочилась исторія нашего образованія. Гдѣ, въ какихъ краяхъ, подъ какимъ градусомъ широты, долготы, возможна угловатая, шероховатая, взбалмошная, безалаберная, добрая, недобрая, шумная, неукладистая фигура К., кромѣ Москвы?

А сколько я ихъ наглядѣлся, этихъ оригинальныхъ фигуръ "во всѣхъ родахъ различныхъ", начиная съ моего отца и оканчивая Дѣтьми Тургенева.

"Такъ русская печь печетъ!" говорилъ мнѣ Погодинъ. И въ самомъ дѣлѣ, какихъ чудесъ она не печетъ, особенно когда хлѣбъ сажаютъ на нѣмецкій ладъ... отъ саекъ и калачей до православныхъ булокъ съ Гегелемъ и французскихъ хлѣбовъ à la quatre vingt treize! Досадно, если всѣ эти своеобычныя печенья пропадутъ безслѣдно. Мы останавливаемся обыкновенно только на сильныхъ дѣятеляхъ.

... Но въ нихъ меньше видна русская печь, въ нихъ ея особенности поправлены, выкуплены; въ нихъ больше русскаго склада ума, чѣмъ печи. Возлѣ нихъ пробиваются, за ними плетутся разные партикулярные люди, сбившіеся съ дороги: вотъ въ ихъ-то числѣ не оберешься чудаковъ. Волостные проводники историческихъ теченій, капли дрожжей, потерявшихся въ опарѣ, но поднявшихъ ее не для себя.—Люди,

рано проснувшіеся темной ночью и ощупью отправившіеся на работу, толкаясь обо все, что ни попадалось на дорогѣ, они разбудили другихъ на совсѣмъ другой трудъ.

... Попробую когда нибудь спасти еще два три профиля отъ полнаго забвенія. Ихъ ужъ теперь едва видно изъ за сѣраго тумана, изъ за котораго только и вырѣзываются вершины горъ и утесовъ.

БАЗИЛЬ И АРМАНСЪ

(Эпизодъ изъ 1844 года)

Къ нашей второй виллежіатурѣ относится очень характеристическій эпизодъ; его не помѣтить просто жаль, несмотря на то, что я и Natalie участвовали въ немъ очень мало. Эпизодъ этотъ можно бы назвать: Армансъ и Базиль — философъ изъ учтивости, христіанинъ изъ вѣжливости и Жакъ Ж. Санда, дѣлающійся Жакомъ фаталистомъ. Начался онъ на французской томболѣ.

Зимой 1843 г. я поѣхалъ на томболу. Публики была бездна, помнится тысячь пять человѣкъ;—знакомыхъ почти никого. Базиль шмыгнулъ съ какой-то маской, ему было не до меня. Онъ слегка покачалъ головой и прищурилъ рѣсницы такъ, какъ дѣлаютъ знатоки, находя вино превосходнымъ и бекаса удивительнымъ.

Балъ былъ въ залѣ благороднаго собранія. Я походилъ, посидѣлъ, глядя какъ русскіе аристократы, переодѣтые въ разныхъ пьеро, ото всей души усердствовали представить изъ себя парижскихъ сидѣльцевъ и отчаянныхъ канканеровъ, — и пошелъ ужинать на верхъ. Тамъ то меня отыскалъ Базиль. Онъ былъ совершенно не въ нормальномъ положеніи, а въ первомъ разгарѣ остраго періода любви; онъ у него былъ тѣмъ острѣе, что Базилю тогда было около сорока лѣтъ, и волосъ началъ падать съ его возвышеннаго чела. Безсвязно толковалъ онъ мнѣ о какой-то французской "Миньонѣ, со всей простотой "Клерхенъ" и со всей игривой прелестью парижской гризетки".

Сначала я думалъ, что это одинъ изъ тѣхъ романовъ въ одну главу, въ которыхъ побѣда на первой страницѣ, а на послѣдней — вмѣсто оглавленія — счетъ. Но убѣдился, что это не такъ. Базиль видѣлъ свою парижанку во второй или третій разъ и велъ циркумволюціонныя линіи, не бросаясь на приступъ. Онъ меня познакомилъ съ ней. Армансъ была дѣйствительно живое, милое дитя Парижа, совершенно уродившееся въ отца. Отъ ея языка до манеръ и извѣстной самостоятельности, отваги,—все въ ней принадлежало благородному плебейству великаго города. Она еще была работница, а не мѣщанка. У насъ этотъ типъ никогда не существовалъ. Беззаботная веселость, развязность, свобода, шалость и, середь всего, чутье самосохраненія, чутье опасности и чести. Дѣти, брошенныя иногда съ десяти лѣтъ на борьбу съ бѣдностью и искушеніями, беззащитныя, окруженныя заразой Парижа и всевозможными сѣтями, онѣ сами становятся своимъ провидѣніемъ и охраной. Такія дѣвушки могутъ легко отдаться, но взять ихъ невзначай, врасплохъ, трудно. Тѣ изъ нихъ, которыхъ можно бы было купить,— до этого круга работницъ не доходятъ: онѣ уже куплены прежде, завертѣлись, унеслись и исчезли въ омутѣ другой жизни, иногда на всегда, иногда для того, чтобъ черезъ пять-шесть лѣтъ явиться въ своей коляскѣ по Longchamp, или въ первомъ ярусѣ оперы въ своей ложѣ—mit Perlen und Diamanten.—Базиль былъ влюбленъ по уши. Резонеръ въ музыкѣ и философъ въ живописи, онъ былъ одинъ изъ самыхъ полныхъ представителей ультра-гегельянцевъ. Онъ всю жизнь носился въ эстетическомъ небѣ, въ философскихъ и критическихъ подробностяхъ. На жизнь онъ смотрѣлъ такъ, какъ Регеръ на Шекспира, возводя все въ жизни къ философскому значенію, дѣлая скучнымъ все живое, пережеванным все свѣжее; словомъ, не оставляя въ своей непосредственности ни одного движенья души. Взглядъ этотъ впрочемъ въ разныхъ степеняхъ принадлежалъ тогда почти

всему кружку; иные срывались талантомъ, другіе живостью; но у всѣхъ еще долго оставался—у кого жаргонъ, у кого и самое дѣло. "Пойдемъ,—говорилъ Бакунинъ Т..... въ Берлинѣ, въ началѣ сороковыхъ годовъ,—окунуться въ пучину дѣйствительной жизни, бросимся въ ея волны";—и они шли просить Фарнгагена фонъ Энзе, чтобъ онъ ихъ ввелъ ловкимъ купальщикомъ въ практическія пучины и представилъ бы ихъ одной хорошенькой актрисѣ. Понятно, что съ этими приготовленіями, нетолько ни до какого купанья въ страстяхъ, "разъѣдающихъ тайники духа нашего", но вообще ни до какого поступка дойти нельзя. Не доходятъ до нихъ и нѣмцы; но за то нѣмцы и не ищутъ поступковъ, а какъ бы поспокойнѣе. Наша натура, напротивъ, не выноситъ этого нашего отношенія — des theoretischen Schwelgens — запутывается, спотыкается и падаетъ больше смѣшно, чѣмъ опасно. Итакъ, влюбленный и сорокалѣтній философъ, щуря глазки, сталъ сводить всѣ спекулятивные вопросы на "демоническую силу любви, равно влекущую Геркулеса и слабаго отрока къ ногамъ Омфалы, началъ уяснять себѣ и другимъ нравственную идею семьи, почву брака (Гегелевой философіи права, глава Sittlichkeit). Препятствій не было со стороны Гегеля. Но призрачный міръ случайности и кажущагося,—міръ духа, неосвободившагося отъ преданій, не былъ такъ сговорчивъ. У Базиля былъ отецъ, Петръ Конычъ, богачъ, который самъ былъ женатъ послѣдовательно на трехъ, и отъ каждой имѣлъ человѣка по три дѣтей. Узнавъ, что его сынъ, и притомъ старшій, хотѣлъ жениться на католичкѣ, на нищей, на француженкѣ, да еще съ Кузнецкаго моста, онъ рѣшительно отказалъ въ своемъ благословеніи. Безъ родительскаго благословенія, можетъ, Базиль, принявшій шикъ и манеры скептицизма, какъ нибудь и обошелся бы; но старикъ связывалъ съ благословеніемъ нетолько послѣдствіе jenseits (на томъ свѣтѣ), но и diseits (на этомъ свѣтѣ) а именно наслѣдство.

Препятствіе старика, какъ всегда, двинуло дѣло впередъ, и Базиль сталъ подумывать о скорѣйшей развязкѣ. Оставалось жениться, не говоря худаго слова, и впослѣдствіи заставить старика принять un fait accompli, или скрыть отъ него бракъ, въ ожиданіи, что онъ скоро не будетъ ни благословлять, ни клясть, ни распоряжаться наслѣдствомъ.

Но непросвѣтленный міръ преданій и тутъ подставлялъ свою ногу. Обвѣнчаться подъ сурдинку въ Москвѣ было не легко, чрезвычайно дорого и тотчасъ бы дошло до отца черезъ діаконовъ, архидіаконовъ, діячковъ, просвирень, свахъ, прикащиковъ, сидѣльцевъ и разныхъ потаскушекъ. Положено было посондировать нашего отца Іоанна, въ с. Покровскомъ, извѣстнаго читателямъ по мнѣ, своей исторіей о похищеніи въ нетрезвомъ видѣ серебряныхъ "часовъ и шкатулки" у діячка.

Отецъ Іоаннъ, узнавъ, что непокорному сыну около сорока лѣтъ, что невѣста не русская и что родителей ея здѣсь нѣтъ — что, сверхъ меня, подпишется свидѣтелемъ университетскій профессоръ, сталъ меня благодарить за такую милость, полагая вѣроятно, что я старался женить Базиля для доставленія ему двухсотенной бумажки. Онъ былъ до того тронутъ, что закричалъ въ другую комнату: — "Попадья, попадья, выпусти два три яичка", и досталъ изъ шкапа полуштофъ, заткнутый бумажкой, для того чтобъ меня попоить.

Все шло прекрасно.

Дня свадьбы и прочее не назначали. Армансъ должна была пріѣхать къ намъ, въ Покровское, погостить; Базиль (хотѣвшій ее сопровождать) возвратиться въ Москву и, окончательно устроившись, идти отъ отцовскаго проклятія — подъ благословеніе пьяненькаго отца Іоанна.

... Ожидая i promessi sposi, мы велѣли приготовить ужинъ и сѣли ждать. Ждемъ — ждемъ; бьетъ двѣнадцать ночи. Никого нѣтъ... Часъ, — никого нѣтъ. Дамы пошли уснуть;

я съ Г. и К. принялся за ужинъ. Le ore suonan al quadriano, e una, e due, e tre;

Ма... ихъ нѣтъ какъ нѣтъ.

... Наконецъ колокольчикъ ближе и ближе; повозка простучала по мосту. Мы бросились въ сѣни. Тарантасъ, заложенный тройкою, быстро въѣзжалъ на дворъ — и остановился. Вышелъ Базиль. Я подошелъ дать руку Арманс; она вдругъ меня схватила за руку, да съ такой силой, что я чуть не вскрикнулъ, — и потомъ разомъ бросилась мнѣ на шею, съ хохотомъ повторяя, Monsieur Herstin... Это былъ никто иной какъ Висаріонъ Григорьевичъ Бѣлинскій in propria persona.

Въ тарантасѣ не было больше никого, кромѣ Бѣлинскаго, который хохоталъ до кашля, и Базиля, который до насморка чуть не плакалъ. Мы смотрѣли другъ на друга съ удивленіемъ. Для дополненія эфекта надобно замѣтить, что два дня тому назадъ въ Москвѣ о Бѣлинскомъ и слуху не было.

"Давайте мнѣ ѣсть"—сказалъ наконецъ Бѣлинскій, "я вамъ разскажу тамъ какія у насъ были чудеса; надобно-же выручить несчастнаго Базиля, который васъ боится больше Арманс".

Вотъ что случилось. Видя, что дѣло быстро приближается къ развязкѣ, Базиль испугался; началъ рефлектировать и совершенно сконфузился, обдумывая неумолимый фатализмъ брака, неразрушимость его по коричей книгѣ и по книгѣ Гегеля. Онъ заперся отданный на жертву духу мучительнаго изслѣдованія и безпощаднаго анализа. Страхъ возрасталъ съ часу на часъ, и тѣмъ больше, что дорога къ отступленію была тоже не легка и, чтобы рѣшиться на нее, почти надобно было имѣть столько-же характера, какъ и на самый бракъ. Страхъ этотъ росъ до тѣхъ поръ, пока въ дверь постучался Бѣлинскій, пріѣхавшій изъ Петербурга прямо къ нему въ домъ. Базиль разсказалъ ему весь ужасъ, съ которымъ онъ идетъ на срѣтеніе своего счастія, и все

отвращеніе, съ которымъ онъ вступаетъ въ бракосочетаніе по любви, — и требовалъ его совѣта и помощи.

Бѣлинскій отвѣчалъ ему, что надобно быть сумашедшимъ, чтобъ послѣ этого — сознательно и зная впередъ что будетъ, — положить на себѣ такую цѣпь. "Вотъ Герценъ", говорилъ онъ, "и женился, и жену свою увезъ, и за ней пріѣзжалъ изъ ссылки; а спроси его: онъ ни разу ни задумывался слѣдуетъ ему такъ дѣлать, или нѣтъ, и какія будутъ послѣдствія. Я увѣренъ, что ему казалось, что онъ не можетъ иначе поступить. Ну, ему и вытанцовалось. А ты тоже хочешь сдѣлать, любомудрствуя и рефлектируя".

Только этого и надобно было Базилю. Онъ въ туже ночь написалъ Армансъ диссертацію о бракѣ, о своей несчастной рефлексіи, о невозможности простаго счастія для пытливаго духа; излагалъ всѣ невыгоды и опасности ихъ соединенія, и спрашивалъ у Армансъ совѣта: что имъ теперь дѣлать?

Отвѣтъ Армансъ онъ привезъ съ собой.

Въ разсказѣ Бѣлинскаго и въ письмѣ Армансъ обѣ натуры: — ея и Базиля, — вполнѣ вышли какъ на ладонѣ. Дѣйствительно, брачный союзъ такихъ противоположныхъ людей былъ бы страненъ. Армансъ писала ему грустно; она была удивлена, оскорблена, рефлексіи его не понимала, а видѣла въ нихъ предлогъ, охлажденіе; говорила, что, въ такомъ случаѣ, не должно быть и рѣчи о свадьбѣ, развязывала его отъ даннаго слова и заключила тѣмъ, что, послѣ случившагося, имъ не слѣдуетъ видѣться. "Я васъ буду помнить", — писала она: "съ благодарностью, и нисколько не виню васъ: я знаю, вы чрезвычайно добры, но еще больше слабы! Прощайте-же и будьте счастливы!"

Такое письмо должно быть не совсѣмъ пріятно получить. Въ каждомъ словѣ сила, энергія и не много свысока. Дитя славнаго плебейскаго кряжа, Армансъ поддержала свое происхожденіе. Будь это англичанка, какъ-бы крѣпко она ухватилась за письмо Базиля, какъ, ртомъ-бы своего добродѣтель-

наго соллиситора разсказала съ негодованіемъ, со стыдомъ, о первомъ пожатіи руки, о первомъ поцѣлуѣ, и какъ бы ея адвокатъ, со слезами на глазахъ и мѣломъ въ парикѣ, потребовалъ у присяжныхъ вознаградить обиженную невинность тысячею или двумя фунтовъ.

Француженкѣ, бѣдной швеѣ, это и въ голову не пришло.

Два или три дня, которые они провели въ Покровскомъ, были печальны для эксъ-жениха. Точно ученикъ, сильно напакостившій въ классѣ—и который боится и учителя, и товарищей.

Вскорѣ мы услышали, что Б. ѣдетъ въ чужіе краи. Онъ писалъ ко мнѣ письмо смутное, недовольное собой, звалъ проститься. Въ первыхъ числахъ Августа, я поѣхалъ изъ Покровскаго въ Москву: новая диссертація поѣхала въ тоже время изъ Москвы въ Покровское къ Natalie. Я отправился къ Б. и прямо попалъ на прощальный пиръ. Пили шампанское, и въ тостахъ, въ желаніяхъ, были какіе-то странные намеки. "Вѣдь ты не знаешь",— сказалъ мнѣ Базиль на ухо: "вѣдь я... того... и онъ прибавилъ шопотомъ: вѣдь Арманс ѣдетъ со мной. Вотъ дѣвушка! Я теперь только ее узналъ", и онъ качалъ головой.

Это стоило появленія Бѣлинскаго.

Въ эпистолѣ къ Natalie онъ пространно объяснялъ ей, что мысль и рефлекція о женитьбѣ, повергли его въ раздумье и отчаяніе: онъ усомнился и въ своей любви къ Армансъ, и въ своей способности къ семейной жизни; что такимъ образомъ онъ дошелъ до мучительнаго сознанія, что онъ долженъ все разорвать и бѣжать въ Парижъ, что въ этомъ расположеніи онъ явился смѣшнымъ и жалкимъ въ Покровское. Рѣшившись такимъ образомъ, онъ, перечитывая письмо Армансъ, сдѣлалъ новое открытіе; именно, что онъ Армансъ любитъ очень много, и потому потребовалъ у нея свиданія и снова предложилъ ей руку. Онъ думалъ опять о Покровскомъ попѣ, но близость Мамоновской фабрики пу-

гала его. Вѣнчаться онъ собирался въ Петербургѣ, и тотчасъ ѣхалъ во Францію. "Арманс рада какъ ребенокъ".

Въ Петербургѣ Базиль придумалъ вѣнчаться въ Казанскомъ соборѣ. Чтобъ при этомъ философія и наука не были забыты, онъ пригласилъ для совершенія обряда протоіерея Сидонскаго, ученаго автора "Введенія въ науку философіи". Сидонскій давно зналъ Б. по его статьямъ, какъ свободнаго, свѣтскаго мыслителя и нѣмецкаго любомудра. Послѣ всѣхъ чудесъ, бывшихъ съ Арманс, ей досталась честь, рѣдко достающаяся, послужить поводомъ одной изъ самыхъ комическихъ встрѣчь двухъ заклятыхъ враговъ: — религіи и науки.

Сидонскій, чтобъ блеснуть своимъ мірскимъ образованіемъ, передъ вѣнчаніемъ сталъ говорить о новыхъ философскихъ брошюрахъ и, когда все было готово и дьячекъ подалъ ему эпитрахиль, къ которой онъ приложился и сталъ надѣвать, онъ, потупя взоры, сказалъ Б.: "Вы извините: обряды-съ; я весьма хорошо знаю, что христіанскій ритуалъ сдѣлалъ свое время, что..."

— О нѣтъ, нѣтъ,—прервалъ его Базиль голосомъ полнымъ участія и состраданія: — Христіанство вѣчно; его сущность, его субстанція не можетъ пройдти.

Сидонскій поблагодарилъ цѣломудреннымъ взглядомъ "рыцарственнаго" антагониста, обратился къ клиру и запѣлъ: "благословенъ богъ нашъ — и нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ" — "Аминь!" — грянулъ клиръ, и дѣло пошло своимъ порядкомъ, и Б. въ вѣнцѣ, и Арманс въ вѣнцѣ повелъ Сидонскій вокругъ аналоя ..... заставляя ликовать Исаію.

Изъ Собора Базиль отправился съ Арманс домой, и, оставивъ ее тамъ, явился на литературный вечеръ Краевскаго. Черезъ два дня Бѣлинскій посадилъ молодыхъ на пароходъ. Теперь-то, подумаютъ, исторія навѣрное окончена.

Нисколько.

До Категата дѣло шло очень хорошо; но тутъ попался проклятый Жакъ Ж. Санда.

— Какъ ты думаешъ о Жакѣ?—спросилъ Б. Армансъ, когда она кончила романъ.

Армансъ сказала свое мнѣніе.

Базиль объявилъ ей, что оно совершенно ложно, что она оскорбляетъ своимъ сужденіемъ глубочайшія стороны его духа и что его міросозерцаніе не имѣетъ ничего общаго съ ея.

Сангвиническая Армансъ не хотѣла мѣнять міросозерцаніе; такъ прошли оба Бельта.

Вышедши въ Нѣмецкое море, Б. почувствовалъ себя больше дома и сдѣлалъ еще разъ опытъ перемѣнить міросозерцаніе и убѣдить Армансъ иначе взглянуть на Жака.

Умирающая отъ морской болѣзни, Армансъ собрала послѣднія силы и объявила, что мнѣнія своего о Жакѣ она не перемѣнитъ.

— Что-же насъ связываетъ послѣ этого? — замѣтилъ сильно расходившійся Б.

— Ничто, — отвѣчала Армансъ, et si vous me cherchez querelle, такъ лучше просто разстаться, какъ только коснемся земли.

— Вы рѣшились,—говорилъ Б. пѣтушась.— Вы предпочитаете?....

— Все на свѣтѣ, чѣмъ жить съ вами; вы несносный человѣкъ, слабый и тиранъ.

— Madame!

— Monsieur!

Она пошла въ каюту; онъ остался на палубѣ. Армансъ сдержала слово. Изъ Гавра она уѣхала къ отцу и, черезъ годъ, возвратилась въ Россію одна, и притомъ въ Сибирь.

На этотъ разъ кажется исторія этого перемежающагося брака кончилась.

А впрочемъ Барреръ говорилъ-же : “ только мертвые не возвращаются ”.

(Писано 1857, Putney, Laurelhouse).

ОТРЫВКИ

ИЗЪ

БЫЛАГО И ДУМЪ

НѢМЦЫ ВЪ ЭМИГРАЦІИ

Руге, Кинкель, Schwefelbande.—Американскій Обѣдъ.—The Leader. —Народный сходъ въ St. Martin's Hall.

Нѣмецкая эмиграція отличалась отъ другихъ своимъ тяжелымъ, скучнымъ и сварливымъ характеромъ. Въ ней не было энтузіастовъ, какъ въ итальянской; не было ни горячихъ головъ, ни горячихъ языковъ, какъ между французами.

Другія эмиграціи мало сближались съ нею. Разница въ манерѣ, въ habitus'ѣ, удерживала ихъ на нѣкоторомъ разстояніи; французская дерзость не имѣетъ ничего общаго съ нѣмецкой грубостью. Отсутствіе общепринятой свѣтскости, тяжелый школьный доктринаризмъ, излишняя фамильярность, излишнее простодушіе нѣмцевъ, затрудняли съ ними сношенія непривычныхъ людей. Они и сами не очень сближались, считая себя съ одной стороны гораздо выше прочихъ по научному развитію, а съ другой—чувствуя передъ другими непріятную неловкость провинціала въ столичномъ салонѣ, или чиновника въ аристократическомъ кругу.

Внутри нѣмецкая эмиграція представляла такую-же разсыпчатость, какъ и ея родина. Общаго плана у нѣмцевъ не было : единство ихъ поддерживалось взаимной ненавистью и злымъ преслѣдованіемъ другъ друга. Лучшіе изъ нѣмецкихъ изгнанниковъ чувствовали это. Люди энергическіе, люди чистые, люди умные, какъ К. Шурцъ, какъ А. Виллихъ, какъ Рейхенбахъ, уѣзжали въ Америку. Люди кроткіе по нраву прятались за дѣлами, за Лондонской далью, какъ Фрейлигратъ. Остальные, не исключая двухъ-трехъ вожаковъ, раздирали другъ друга на части съ неутолимымъ остервѣненіемъ, не щадя ни семейныхъ тайнъ, ни самыхъ уголовныхъ обвиненій.

Вскорѣ послѣ моего пріѣзда въ Лондонъ, поѣхалъ я въ Брэйтонъ къ Арнольду Руге. Руге былъ коротко знакомъ Московскому университетскому кругу сороковыхъ годовъ : онъ издавалъ знаменитые Hallische Jahrbücher; мы въ нихъ черпали философскій радикализмъ. Встрѣтился я съ нимъ въ 1849, въ Парижѣ, на неостывшей еще вулканической почвѣ. Въ тѣ времена было не до изученія личностей. Онъ пріѣзжалъ однимъ изъ повѣренныхъ Баденскаго инсуррекціоннаго правительства звать Мѣрославскаго, неумѣвшаго по нѣмецки, начальствовать арміей фрейшерлеровъ и переговаривать съ французскимъ правительствомъ, которое вовсе не хотѣло признавать революціонный Баденъ. Съ нимъ былъ и К. Блиндъ. Послѣ 13 Іюня ему и мнѣ пришлось бѣжать изъ Франціи. К. Блиндъ опоздалъ нѣсколькими часами и былъ посаженъ въ консьержери. Съ тѣхъ поръ я не видалъ Руге до осени 1852. Въ Брэйтонѣ я нашелъ его брюзгливымъ старикомъ, озлобленнымъ и злорѣчивымъ. Оставленный прежними друзьями, забытый въ Германіи, безъ вліянія на дѣла, и перессорившись съ эмиграціей, — Руге былъ поглащенъ сплетнями и пересудами. Въ постоянной связи съ нимъ были два - три бездарнѣйшихъ газетныхъ корреспондента, грошевыхъ фельетонистовъ, мелкихъ паро-

деровъ гласности, которыхъ никогда не видятъ во время сраженія и всегда послѣ, майскихъ жуковъ политическаго и литературнаго міра, каждый вечеръ съ наслажденіемъ и усердіемъ копающихся въ выброшенныхъ остаткахъ дня. Съ ними Руге составлялъ статейки, подзадоривалъ ихъ, давалъ имъ матеріалы и сплетничалъ на нѣсколько журналовъ въ Германіи и Америкѣ.

Я обѣдалъ у него и провелъ весь вечеръ. Въ продолженіи всего времени онъ жаловался на эмигрантовъ и сплетничалъ на нихъ. "Вы не слыхали, — говорилъ онъ, — какъ идутъ дѣла нашего сорока-пяти-лѣтняго Вертера съ баронессой? Говорятъ, что, открываясь ей въ любви, онъ хотѣлъ ее увлечь химической перспективой геніальнаго ребенка, который долженъ родиться отъ аристократки и комуниста? Баронъ не охотникъ до физіологическихъ опытовъ; говорятъ, прогналъ его въ три шеи. Правда-ли это?

— Какъ-же вы можете вѣрить такимъ нслѣпостямъ?

— Да я и въ самомъ дѣлѣ не очень вѣрю. Живу здѣсь въ захолустьи и слышу только о томъ, что дѣлается въ Лондонѣ, отъ нѣмцевъ; всѣ они, а особенно эмигранты, врутъ богъ знаетъ что, всѣ между собой въ ссорѣ, клевещутъ другъ на друга. Я думаю, это К. распустилъ такой слухъ въ знакъ благодарности за то, что баронесса его выпустила изъ тюрьмы. Вѣдь онъ бы и самъ за ней поволочился, да воли-то нѣтъ. Жена не даетъ ему баловаться: "Ты, говоритъ, меня отъ перваго мужа отбилъ, такъ ужъ теперь довольно....."

Вотъ образчикъ философской бесѣды Арнольда Руге.

Одинъ разъ онъ измѣнилъ своему діапазону и сталъ съ дружескимъ участіемъ говорить о Бакунинѣ; но на полдорогѣ спохватился и добавилъ: "А впрочемъ въ послѣднее время онъ какъ-то сталъ опускаться, бредилъ какимъ-то революціоннымъ царизмомъ, панславизмомъ".

Я уѣхалъ отъ него съ тяжелымъ сердцемъ и съ твердымъ намѣреніемъ никогда не возвращаться.

Черезъ годъ онъ читалъ въ Лондонѣ нѣсколько лекцій о философскомъ движеніи въ Германіи. Лекціи были плохи, берлински-англійскій акцентъ непріятно поражалъ ухо; ктому-же онъ всѣ греческія и римскія имена произносилъ на нѣмецкій манеръ, такъ что англичане не могли догадаться кто это Іофисъ, Юно, и проч.

На вторую лекцію пришли десять человѣкъ; на третью человѣкъ пять, да я съ Ворцелемъ. Руге, проходя по пустой залѣ мимо насъ, сильно сжалъ мнѣ руку и прибавилъ: "Польша и Россія пришли, а Италіи нѣтъ; этого я ни Маццини, ни Саффи не забуду при новомъ возстаніи народовъ". Когда онъ ушелъ разгнѣванный и грозящій, я посмотрѣлъ на сардоническую улыбку Ворцеля и сказалъ ему: "Россія зоветъ Польшу къ себѣ отобѣдать". — "S'en est fait de l'Italie", замѣтилъ Ворцель, качая головой, и мы пошли.

К. былъ одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ нѣмецкихъ эмигрантовъ въ Лондонѣ. Человѣкъ безукоризненнаго поведенія, работавшій въ потѣ лица своего, что, какъ ни странно можетъ это показаться, почти вовсе не встрѣчалось въ эмиграціи. К. былъ заклятый врагъ Руге; — почему? это также трудно объяснить, какъ то, что проповѣдникъ атеизма, Руге, былъ другомъ нео-католика Ронге.

Готфридъ К. былъ одинъ изъ главъ сорока сороковъ лондонскихъ нѣмецкихъ расколовъ. Глядя на него, я всегда дивился, какъ величественная Зевсовская голова попала на плечи нѣмецкаго профессора, и какъ нѣмецкій профессоръ попалъ сначала на полѣ сраженія, потомъ, раненый, въ прусскую тюрьму; — а можетъ мудреннѣе всего этого то, что все это, плюсъ Лондонъ, его нисколько не измѣнило,

и онъ остался нѣмецкимъ профессоромъ. Высокій ростомъ, съ сѣдыми волосами и бородой съ просѣдью, онъ самъ по себѣ имѣлъ величавый и внушающій уваженіе видъ, — но онъ къ нему прибавлялъ какое-то оффиціальное помазаніе. Salbung, что-то судейское и архіерейское, торжественное, натянутое и скромно-самодовольное. Оттѣнокъ этотъ въ разныхъ варіаціяхъ встрѣчается у модныхъ пасторовъ, у данскихъ врачей; особенно у магнетизеровъ, адвокатовъ, спеціально защищающихъ нравственность, у главныхъ waiter'овъ аристократическихъ отелей въ Англіи. К. въ молодости много занимался богословіемъ; освободившись отъ него, онъ остался священникомъ въ пріемахъ. Это не удивительно: самъ Ламене, подрубая такъ глубоко корни католицизма, сохранилъ до старости видъ аббата. Обдуманная и плавная рѣчь К., правильная и избѣгающая крайностей, — шла какой-то назидательной бесѣдой; онъ съ изученнымъ снисхожденіемъ выслушивалъ другаго, и съ искреннимъ удовольствіемъ самаго себя.

Онъ былъ профессоромъ въ Сомерсетъ-гаузѣ и въ нѣсколькихъ высшихъ заведеніяхъ, читалъ публичныя лекціи объ эстетикѣ въ Лондонѣ и Манчестерѣ: — этого ему не могли простить голодные и праздношатающіеся въ Лондонѣ освободители тридцати четырехъ нѣмецкихъ отечествъ. К. былъ постоянно обругиваемъ въ американскихъ газетахъ, сдѣлавшихся главнымъ стокомъ нѣмецкихъ сплетень, и на тощихъ митингахъ, ежегодно даваемыхъ въ память Роберта Блюма, перваго баденскаго Schilderhebung'a и пр., перваго австрійскаго Schwertfart'a. Ругали его всѣ его соотечественники, — неимѣвшіе никогда уроковъ, всегда просящіе денегъ въ займы, никогда неотдающіе занятаго, и постоянно готовые выдать человѣка за шпіона и вора въ случаѣ отказа. К. не отвѣчалъ; — писаки лаяли, лаяли, и стали, по Крыловски, отставать; только еще изрѣдка какая-нибудь нечесанная и шаршавая шавка выбѣжитъ изъ нижняго

этажа германской демократіи куда-нибудь въ фельетонъ никѣмъ нечитаемаго журнала, — и зальется злѣйшимъ лаемъ, который такъ и напомнитъ счастливыя времена братскихъ возстаній въ разныхъ Тюбингахъ, Дарштатахъ и Брауншвейгъ-Волфенбютеляхъ.

Въ домѣ К., на его лекціяхъ, въ его разговорѣ, все было хорошо и умно, — но не доставало какого-то масла въ колесахъ, и отъ того все вертѣлось туго, безъ скрыпа, —но тяжело. Онъ говорилъ всегда интересныя вещи; жена его, извѣстная пьянистка, играла прекрасныя вещи; а скука была смертная. Одни дѣти, пригая, вносили какой-то больше свѣтлый элементъ; ихъ свѣтлинькіе глазенки и звонкіе голоса обѣщали меньше достоинства, но больше масла въ колесахъ (*).

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

(*) Здѣсь пропускъ въ рукописи, которая снова начинается слѣдующими словами : ... "отвращенія, является горькое чувство зависти. Источникъ этихъ ненавистей долею лежитъ въ сознаніи политической второстепенности германскаго отечества и въ притязаніи играть первую роль".

Прим. Издателей.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

... Смѣшно національное фанфаронство и у французовъ; но все-же они могутъ сказать : " что, нѣкоторымъ образомъ, за человѣчество кровь проливали"; въ то время какъ ученые германцы проливали однѣ чернила. Притязанія на какое-то огромное національное значеніе, идущее рядомъ съ доктринерскимъ космополитизмомъ, тѣмъ смѣшнѣе, что оно не предъявляетъ другаго права, кромѣ неувѣренности въ уваженіи другихъ, желанія sich geltend machen. " За что насъ поляки не любятъ?" — говорилъ серьезно въ обществѣ гелертовъ одинъ нѣмецъ. Тутъ случился журналистъ, умный человѣкъ, давно поселившійся въ Англіи.

— Ну это еще не такъ мудрено понять,—отвѣчалъ онъ: вы лучше скажите, кто насъ любитъ? Или за что насъ всѣ ненавидятъ?

— Какъ всѣ ненавидятъ? — спросилъ удивленный профессоръ.

— По крайней мѣрѣ всѣ пограничные: итальянцы, датчане, шведы, русскіе, славяне.

— Позвольте, Herr Doctor, есть-же исключенія, — возразилъ обезпокоенный и нѣсколько сконфуженный гелертеръ.

— Безъ малѣйшаго сомнѣнія, и какое исключеніе: Франція и Англія.

Ученый началъ разцвѣтать.

— И знаете отчего?—Франція насъ не боится, а Англія презираетъ.

Положеніе нѣмца дѣйствительно печальное, — но печаль его неинтересна. Всѣ знаютъ, что они справиться могутъ съ внутреннимъ и внѣшнимъ врагомъ, но не умѣютъ. Отчего, напримѣръ, единоплеменные ей народы: Англія, Голландія, Швеція, свободны, а нѣмцы нѣтъ? Неспособность тоже обязываетъ, какъ дворянство, кой къ чему, и всего больше къ скромности. Нѣмцы чувствуютъ это и прибѣгаютъ къ отчаяннымъ средствамъ, чтобъ имѣть верхъ; они выдаютъ Англію и Сѣверо-Американскіе Штаты за представителей Германизма въ сферѣ государственной praxis. Руге, разгнѣвавшись на Эдгарда Бауера за его пустую брошюру о Россіи (кажется подъ заглавіемъ Kirche und Staat), и подозрѣвая, что я Э. Бауера ввелъ въ искушеніе, писалъ мнѣ, (а потомъ тоже самое напечаталъ въ Жерсейскомъ Альманахѣ), что Россія одинъ грубый матеріалъ, дикій и неустроенный, котораго сила, слава и красота только отъ того и происходятъ, что Германскій геній ей придалъ свой образъ и подобіе.

Каждый русскій, являющійся на сцену, встрѣчаетъ то озлобленное удивленіе нѣмцевъ, которое не такъ давно находили отъ нихъ-же наши ученые, желавшіе сдѣлаться

профессорами русскихъ университетовъ и русской академіи. Выписнымъ "коллегамъ" казалось это какой-то дерзостью, неблагодарностью и захватомъ чужаго мѣста.

Марксъ, очень хорошо знавшій Бакунина, который чуть не сложилъ голову за нѣмцевъ подъ топоромъ саксонскаго палача, выдалъ его за русскаго шпіона. Онъ разсказалъ въ своей газетѣ цѣлую исторію, какъ Ж. Сандъ слышала отъ Ледрю-Роллена, что, когда онъ былъ министромъ внутреннихъ дѣлъ, то видѣлъ какую-то компрометирующую Бакунина переписку. Бакунинъ тогда сидѣлъ, ожидая приговора, въ тюрьмѣ — и ничего не подозрѣвалъ. Клевета толкала его на эшафотъ и порывала послѣднее общеніе любви между мученникомъ и сочувствующей ему массой.— Другъ Бакунина, А. Рейхель, написалъ въ Nohant къ Ж. Сандъ, и спросилъ ее въ чемъ дѣло? Она тотчасъ отвѣчала Рейхелю и прислала письмо въ редакцію Марксова журнала, отзываясь съ величайшей дружбой о Бакунинѣ; она прибавляла, что вообще никогда не говорила съ Ледрю-Ролленомъ о Бакунинѣ, въ силу чего не могла сказать и сказаннаго въ газетѣ. Марксъ нашелся ловко и помѣстилъ письмо Ж. Сандъ съ примѣчаніемъ, что статейка о Бакунинѣ была помѣщена во время его отсутствія.

Финалъ совершенно нѣмецкій: онъ невозможенъ не только во Франціи, гдѣ point d'honneur такъ щепетиленъ и гдѣ издатель зарылъ бы всю нечистоту дѣла подъ кучей фразъ, словъ, околичнословій, нравственныхъ сентенцій, покрылъ бы ее отчаяніемъ qu'on avait surpris sa religion; но даже англійскій издатель, несравненно менѣе церемонный, не смѣлъ бы свалить дѣла на сотрудниковъ (*).

(*) Не смотря на то, что они позволяютъ себѣ ужасно много. Для ихъ характеристики разскажу одинъ случай, бывшій съ Луи-Бланомъ. "Теймсъ" напечаталъ, что Луи-Бланъ, бывши членомъ временнаго правительства, истратилъ "милльона полтора франковъ казенныхъ денегъ" на составленіе себѣ партіи между работниками. Луи-Бланъ отвѣчалъ редакціи, что она

Черезъ годъ послѣ моего пріѣзда въ Лондонъ, Марксова шайка еще разъ возвратилась на гнусную клевету противъ Бакунина, тогда погребеннаго въ Алексѣевскомъ равелинѣ.

Въ Англіи, въ этомъ стародавнемъ отечествѣ поврежденныхъ, одно изъ самыхъ оригинальныхъ мѣстъ между ними занимаетъ Давидъ Уркуардъ: —человѣкъ съ талантомъ и энергіей, эксцентрическій радикалъ изъ консерватизма. Онъ помѣшался на двухъ идеяхъ: во-первыхъ,—что Турція превосходная страна, имѣющая большую будущность, въ силу чего онъ завелъ себѣ турецкую кухню, турецкую баню, турецкіе диваны; — во-вторыхъ, что русская дипломація, самая хитрая и ловкая во всей Европѣ, подкупаетъ и надуваетъ всѣхъ государственныхъ людей во всѣхъ государствахъ міра сего, и преимущественно въ Англіи. Уркуардъ работалъ годы, чтобъ отыскать доказательства того — что Пальмерстонъ на откупу у Петербургскаго кабинета. Онъ объ этомъ печаталъ статьи и брошюры, дѣлалъ предложенія въ парламентѣ, проповѣдывалъ на митингахъ. Сначала на него сердились, отвѣчали ему, бранили его; потомъ привыкли.

имѣетъ невѣрныя свѣденія о немъ, что, при пущемъ желаніи, онъ не могъ ни украсть, ни истратить полтора милльона франковъ; потому что во все время его завѣдыванія Люксембургской Комиссіей у него не было въ распоряженіи болѣе 30,000 франковъ. "Теймсъ" не помѣстилъ его отвѣта. Луи-Бланъ отправился въ редакцію самъ и потребовалъ свиданья съ главнымъ издателемъ. Ему отвѣчали, что главнаго издателя вовсе нѣтъ, что "Теймсъ" издается какъ-то артелью. Луи-Бланъ требовалъ отвѣтственнаго артельщика; — ему отвѣчали, что никто лично ни за что не отвѣчаетъ.

"Къ кому-же наконецъ я долженъ обратиться, у кого требовать отчетъ въ томъ, что мое письмо въ дѣлѣ, касающемся до моего добраго имени, не было помѣщено?" —Здѣсь, —сказалъ ему одинъ изъ чиновниковъ при "Теймсѣ": "не такъ какъ во Франціи; у насъ нѣтъ ни Gérant responsable, ни законнаго обязательства помѣщать отвѣты".

— Рѣшительно нѣтъ отвѣтственнаго редактора? — спросилъ Луи-Бланъ.

— Нѣту.

— Очень, очень жаль, — замѣтилъ Луи-Бланъ, зло улыбаясь: "что нѣтъ главнаго редактора; а то я непремѣнно надавалъ-бы ему пощечинъ. Прощайте Господа."

— Good day Sir, good day. God bless you! — повторилъ чиновникъ при "Теймсѣ", учтиво и спокойно отворяя двери.

Обвиняемые и слушавшіе стали улыбаться, не обращали вниманія; наконецъ разразились общимъ хохотомъ.

На одномъ митингѣ, въ одномъ изъ большихъ центровъ, Уркуардъ до того увлекся своей idée fixe, что, представляя Кошута человѣкомъ невѣрнымъ, онъ прибавилъ, что, если Кошутъ и не подкупленъ Россіей, то находится подъ вліяніемъ человѣка, явнымъ образомъ работающаго въ пользу Россіи, и этотъ человѣкъ Маццини! Уркуардъ, какъ Дантовская Франческа, не продолжалъ больше своего чтенія въ этотъ день. При имени Маццини поднялся такой гомерическій смѣхъ, что самъ Давидъ замѣтилъ, что итальянскаго Голіаѳа онъ не сбилъ своей пращею, а себѣ свихнулъ руку.

Человѣкъ, думавшій и открыто говорившій, что, отъ Гизо и Дерби, до Эспартеро, Кобдена и Маццини, все русскіе агенты, былъ кладъ для шайки непризнанныхъ нѣмецкихъ государственныхъ людей, окружавшихъ неузнаннаго генія первой величины, Маркса. Они изъ своего неудачнаго патріотизма и страшныхъ притязаній сдѣлали какую-то Hochschule клеветы и заподозрѣванія всѣхъ людей, выступавшихъ на сцену съ большимъ успѣхомъ чѣмъ они сами. Имъ недоставало честнаго имени. Уркуардъ его далъ. Съ Уркуардомъ и публикой питейныхъ домовъ вошли въ Morning Advertiser Марксиды и ихъ друзья. Гдѣ пиво — тамъ и нѣмцы.

Однимъ добрымъ утромъ, Morning Advertiser вдругъ поднялъ вопросъ: "Былъ-ли Бакунинъ русскій агентъ или нѣтъ?" Само собою разумѣется, отвѣчалъ на него положительно (*). Поступокъ этотъ былъ до того гнусенъ, что возмутилъ даже такихъ людей, которые не принимали особеннаго участія въ Бакунинѣ.

(*) Уркуардъ имѣлъ тогда большое вліяніе на Morning Advertiser, — одинъ изъ журналовъ, самымъ страннымъ образомъ поставленныхъ. Журнала этого нѣтъ ни въ клубахъ, ни у большихъ стеціонеровъ, ни на столѣ

Оставить это дѣло такъ было невозможно. Какъ ни досадно было, что приходилось подписать коллективную протестацію съ Головинымъ (объ этомъ субъектѣ будетъ особая глава), но выбора не было. Я пригласилъ Ворцеля и Маццини присоединиться къ нашему протесту : они тотчасъ согласились. Казалось бы, что, послѣ свидѣтельства предсѣдателя польской демократической централизаціи и такого человѣка какъ Маццини, все кончено.

Но нѣмцы не остановились на этомъ.

Они затянули скучнѣйшую полемику съ Головинымъ, который, съ своей стороны, поддерживалъ ее для того, чтобъ собою занимать публику Лондонскихъ кабаковъ...

Мой протестъ и то что я писалъ къ Маццини и Ворцелю, должно было обратить на меня гнѣвъ Маркса. Вообще, то было время, въ которое нѣмцы спохватились и стали меня окружать такою-же грубою непріязнью, какъ прежде окружали грубымъ ухаживаніемъ; они уже не писали мнѣ панегериковъ, какъ во время выхода Vom Andern Ufer и Писемъ изъ Италіи, а отзывались обо мнѣ, "какъ о дерзкомъ варварѣ, осмѣливающемся смотрѣть на Германію сверху внизъ" (*). Одинъ изъ Марксовскихъ гезеллей написалъ цѣлую книжку противъ меня и отослалъ Гоффману и Кампе, которые отказались ее печатать. Тогда онъ напечаталъ (что я узналъ гораздо позже) ту статейку въ Лидерѣ, о которой шла рѣчь. Имя его я не припомню.

у порядочныхъ людей; однакоже онъ имѣетъ б льшую циркуляцію, чѣмъ Daily News, и только въ послѣднее время дешевые листы, въ родѣ Daily Telegraph, Morning Star и Evening Star, отодвинули Morning Advertiser на второй планъ. Явленіе чисто англійское, Morning Advertiser журналъ питейныхъ домовъ, и нѣтъ кабака, въ которомъ бы его не было.

(*) Это печаталъ нѣкто Колачекъ въ одномъ американскомъ журналѣ, по поводу втораго французскаго изданія : Du développement des idées révolutionnaires en Russie. Пикантное этого состоитъ въ томъ, что весь текстъ этой книги былъ прежде напечатанъ по нѣмецки въ Deutsche Jahrbücher, издаваемыхъ тѣмъ-же самымъ Колачекомъ!

Къ Марксидамъ присоединился вскорѣ и рыцарь съ опущеннымъ забраломъ, Карлъ Блиндъ, тогда famulus Маркса, теперь его врагъ. Въ его корреспонденціи въ Нью-Іоркскіе журналы было сказано по поводу обѣда, который давалъ намъ американскій консулъ въ Лондонѣ: "на этомъ обѣдѣ былъ русскій, именно А. Герценъ, выдающій себя за соціалиста и республиканца. Герценъ живетъ въ близкихъ сношеніяхъ съ Маццини, Кошутомъ и Саффи. Со стороны людей, стоящихъ во главѣ движенія, чрезвычайно неосторожно допускать Русскаго въ свою близость. Желаемъ, чтобы имъ не пришлось слишкомъ поздно раскаяться въ этомъ".

Самъ-ли Блиндъ это писалъ, или кто изъ его помощниковъ, — я не знаю; текста у меня передъ глазами нѣтъ, но за смыслъ я отвѣчаю.

При этомъ надобно замѣтить, что, какъ со стороны К. Блинда, такъ и со стороны Маркса, котораго я совсѣмъ не зналъ, вся эта ненависть была чисто платоническая, такъ-сказать безличная: меня приносили на жертву фатерланду изъ патріотизма. Въ Американскомъ обѣдѣ, между прочимъ, ихъ бѣсило отсутствіе нѣмца, — за это они наказали русскаго (*).

Обѣдъ этотъ, надѣлавшій много шуму по ту и другую сторону Атлантики, случился такимъ образомъ. Президентъ Пирсъ будировалъ старыя Европейскія правительства, — долею для того, чтобъ пріобрѣсти больше популярности дома; долею, чтобъ отвести глаза всѣхъ радикальныхъ партій въ Европѣ отъ главнаго алмаза, на которомъ ходила

(*) Отсутствіе нѣмца на обѣдѣ напоминаетъ мнѣ похороны матери Гарибальди. Она умерла въ Ниццѣ, въ 1851 году. Друзья ея сына пригласили изгнанниковъ разныхъ странъ нести покойницу; въ томъ числѣ былъ приглашенъ и я. Когда мы собрались у сѣней дома, оказалось, что приглашенные были два римлянина, (одинъ изъ нихъ былъ Орсини), два ломбардца, два неаполитанца, два француза, Хоецкій — полякъ и я — русскій. "Господа", — сказалъ Хоецкій: L'Europe entière est représentée; même il y manque un allemand!

вся его политика : отъ незамѣтнаго упроченія и распространенія невольничества.

Это было время посольства Суле въ Испанію и сына Р. Оуэна въ Неаполь, вскорѣ послѣ дуэли Суле съ Тюрго и его настоятельнаго требованія проѣхать, вопреки приказу Наполеона, черезъ Францію въ Брюссель; въ проѣздѣ этомъ императоръ французовъ отказать не рѣшился. "Мы посылаемъ пословъ", — говорили американцы — "не къ царямъ, а къ народамъ". Отсюда идея дать дипломатическій обѣдъ врагамъ всѣхъ существующихъ правительствъ.

Я не имѣлъ понятія о готовящемся обѣдѣ; получаю вдругъ приглашеніе отъ Саундерса, Американскаго консула. Въ приглашеніи лежала небольшая записочка отъ Маццини : онъ просилъ меня, чтобъ я не отказывался, что обѣдъ этотъ дѣлается съ цѣлью кой-кого подразнить и показать симпатію кой-кому другому.

На обѣдѣ были Маццини, Кошутъ, Ледрю-Ролленъ, Гарибальди, Орсини, Ворцель, Пульскій и я. Изъ англичанъ одинъ радикальный членъ парламента, Жозуа Вомсей; затѣмъ посолъ Бухананъ и всѣ посольскіе чиновники.

Надобно замѣтить, что одна изъ цѣлей *краснаго* обѣда, даннаго защитникомъ *чернаго* рабства, состояла въ сближеніи Кошута съ Ледрю-Ролленомъ. Дѣло было не въ томъ, чтобы ихъ примирить : они никогда не ссорились, а чтобы ихъ оффиціально познакомить. Ихъ незнакомство случилось такъ : Ледрю-Ролленъ былъ уже въ Лондонѣ, когда Кошутъ пріѣхалъ изъ Турціи. Возникъ вопросъ кому первому ѣхать съ визитомъ : Ледрю-Роллену къ Кошуту, или Кошуту къ Ледрю-Роллену. Вопросъ этотъ сильно занималъ ихъ друзей, сподвижниковъ, ихъ дворъ, гвардію и чернь. Pro и contra были значительные. Одинъ былъ диктаторомъ Венгріи; другой не былъ диктаторомъ, но за то *французъ*. Одинъ былъ почетный гость Англіи, левъ первой величины, на вершинѣ своей славы; другой былъ въ Англіи какъ дома,

а визиты дѣлаются вновь пріѣзжающими. Словомъ, вопросъ этотъ, какъ квадратура круга или perpetuum mobile, былъ найденъ обоими дворами неразрѣшимымъ... а потому и рѣшили тѣмъ, чтобы не ѣздить ни тому, ни другому, предоставляя дѣло встрѣчи волѣ божіей и случаю. Года три или четыре Ледрю-Роллень и Кошутъ, живя въ одномъ городѣ, имѣя общихъ друзей, общіе интересы и одно дѣло, должны были игнорировать другъ друга, а случая никакого не было. Маццини рѣшился помочь судьбѣ.

Передъ обѣдомъ, послѣ того какъ Бюханань уже пережалъ намъ всѣмъ руки и изъявилъ каждому свое полное удовольствіе, что познакомился лично, — Маццини взялъ Ледрю-Роллена подъ руку; въ тоже самое время Бюханань сдѣлалъ такой-же маневръ съ Кошутомъ, и, кротко подвигая виновниковъ, привели ихъ почти къ столкновенію и назвали ихъ другъ другу. Новые знакомые не остались въ долгу и осыпали другъ друга комплиментами—съ восточнымъ, цвѣтистымъ оттѣнкомъ со стороны великаго Мадьяра, и съ сильнымъ колоритомъ рѣчей Конвента со стороны великаго Галла.....

Я стоялъ во время всей этой сцены у окна съ Орсини; взглянувъ на него, я былъ до смерти радъ видя легкую улыбку больше въ его глазахъ, чѣмъ на губахъ. — "Послушайте, сказалъ я ему,—какой мнѣ вздоръ пришелъ въ голову: въ 1847 году я видѣлъ въ Парижѣ въ историческомъ театрѣ какую-то глупѣйшую военную пьесу, въ которой главную роль игралъ дымъ и стрѣльба, вторую лошади, пушки и барабаны. Въ одномъ изъ дѣйствій полководцы обѣихъ армій выходятъ для переговоровъ съ противуположныхъ сторонъ сцены, храбро идутъ на встрѣчу другъ другу, и, подойдя, одинъ снимаетъ шляпу и говоритъ:

Souvaroff—Massena!

На что другой ему отвѣчаетъ тоже безъ шляпы:

Massena—Souvaroff!

— Я самъ едва удержался отъ смѣха, — сказалъ мнѣ Орсини съ совершенно серьезнымъ лицомъ.

Хитрый старикъ Бюхананъ, мечтавшій тогда уже, не смотря на семидесятилѣтній возрастъ, о президентствѣ, и потому говорившій постоянно о счастіи покоя, объ идиллической жизни и о своей дряхлости, любезничалъ съ нами такъ, какъ любезничалъ въ Зимнемъ дворцѣ съ Орловымъ и Бенкендорфомъ, когда былъ посломъ при Николаѣ. Съ Кошутомъ и Маццини онъ былъ прежде знакомъ; другимъ онъ говорилъ очень хорошо отдѣланные комплименты — напоминавшіе гораздо больше тертаго дипломата, чѣмъ суроваго гражданина демократической республики. Мнѣ онъ ничего не сказалъ, кромѣ того, что онъ долго былъ въ Россіи и вывезъ убѣжденіе, что она имѣетъ великую будущность. Я ему на это, разумѣется, ничего не сказалъ, а замѣтилъ, что помню его со временъ коронаціи Николая. "Я былъ мальчикомъ, но вы были такъ замѣтны въ вашемъ простомъ черномъ фракѣ и въ круглой шляпѣ среди толпы раззолоченой ливрейной знати" (*).

Гарибальди онъ замѣтилъ: "У васъ такая-же слава въ Америкѣ, какъ въ Европѣ; только въ Америкѣ еще прибавляется новый титулъ: тамъ васъ знаютъ за отличнаго моряка".

За десертомъ, когда Mme Sanders уже вышла и подали сигары съ еще большимъ количествомъ вина, Бюхананъ, сидѣвшій противъ Ледрю-Роллена, сказалъ ему, "что у него былъ знакомый въ Нью-Іоркѣ, говорившій, будто онъ готовъ бы былъ съѣздить изъ Америки во Францію — только для того, чтобъ познакомиться съ нимъ".

По несчастію Бюхананъ какъ-то шамшилъ, а Ледрю-Ролленъ плохо понималъ по англійски; въ силу чего вышло

(*) Я ни слова тогда не говорилъ по англійски. Бюхананъ плохо понималъ по французски. Ворцель ему переводилъ мои слова.

презабавное qui pro quo. Ледрю-Ролленъ думалъ, что Бюхананъ говоритъ это отъ себя и, съ французскимъ effusion de reconnaissance, сталъ его благодарить — и протянулъ ему черезъ столъ свою огромную руку. Бюхананъ принялъ благодарность и руку и, съ тѣмъ невозмущаемымъ спокойствіемъ въ трудныхъ обстоятельствахъ, съ которымъ англичане и американцы тонутъ съ кораблемъ или теряютъ половину состоянія, — замѣтилъ ему: "I think — it is a mistake, — это не я такъ думалъ, это одинъ изъ моихъ хорошихъ пріятелей въ New-York'ѣ".

Праздникъ кончился тѣмъ, что вечеромъ поздно, когда Бюхананъ уѣхалъ, а въ слѣдъ за нимъ не счелъ болѣе возможнымъ остаться и Кошутъ, и отправился съ своимъ министромъ безъ портфеля, — Сандерсъ сталъ умолять насъ снова сойдти въ столовую, гдѣ онъ хотѣлъ самъ приготовить какой-то американскій пуншъ изъ стараго кентукійскаго виски. Къ тому-же Сандерсу тамъ хотѣлось вознаградить себя за отсутствіе тостовъ за будущую всемірную (бѣлую) республику и т. д., которыхъ должно быть осторожный Бюхананъ не допускалъ. За обѣдомъ пили тосты двухъ-трехъ гостей и его — безъ рѣчей.

Пока онъ жегъ какой-то алкоголь и приправлялъ его всякой всячиной, — онъ предложилъ хоромъ о т с л у ж и т ь Марсельезу. Оказалось, что музыку ея порядкомъ зналъ одинъ Ворцель: — за то у него было extinction голоса, — да кое-какъ Маццини, и пришлось звать американку Сандерсъ, которая съиграла Марсельезу на гитарѣ.

Между тѣмъ ея супругъ, окончивъ свою стряпню, попробовалъ ее, остался доволенъ и розлилъ намъ въ большія чайныя чашки. Не опасаясь ничего, — я сильно хлебнулъ — и въ первую минуту не могъ перевести духа. Когда я пришелъ въ себя и увидѣлъ, что Ледрю-Ролленъ собирался также усердно хлебнуть, — я остановилъ его словами: "Если вамъ дорога жизнь, — то вы осторожнѣе обращайтесь съ

кентукійскимъ прохладительнымъ; я русскій — да и то опалилъ себѣ небо, горло и весь пищепріемный каналъ,—что-же будетъ съ вами? Должно быть у нихъ въ Кентуки пуншъ дѣлается изъ краснаго перца, настояннаго на купоросномъ маслѣ".

Американецъ радовался, иронически улыбаясь, слабости европейцевъ. Подражатель Митридата съ молодыхъ лѣтъ, я одинъ подалъ пустую чашку и попросилъ еще. — Это химическое сродство съ алкоголемъ ужасно подняло меня въ глазахъ консула. — "Да, да — говорилъ онъ — только въ Америкѣ и въ Россіи люди и умѣютъ пить".

— Да есть и еще больше лестное сходство, подумалъ я,—только въ Америкѣ и въ Россіи умѣютъ крѣпостныхъ засѣкать до смерти.

Пуншемъ въ 70% окончился этотъ обѣдъ, испортившій больше крови нѣмецкимъ фолликуляріямъ, чѣмъ желудокъ обѣдавшимъ.

За трансатлантическимъ обѣдомъ слѣдовала попытка международнаго комитета: — послѣднее усиліе чартистовъ и изгнанниковъ соединенными силами заявить свою жизнь и свой союзъ. Мысль этого комитета принадлежала Эрнесту Джонсу. Онъ хотѣлъ оживить дряхлѣвшій не по лѣтамъ чартизмъ,— сближать англійскихъ работниковъ съ французскими соціалистами. Общественнымъ актомъ этой entente cordiale назначенъ былъ митингъ—въ воспоминаніе 24 Февраля 1848.

—Международный комитетъ избралъ между десятками другихъ и меня своимъ членомъ. Меня просили сказать рѣчь о Россіи; я поблагодарилъ ихъ письмомъ, рѣчи говорить не хотѣлъ;—тѣмъ бы и заключилъ, еслибъ Марксъ и Головинъ не вынудили меня явиться на зло имъ на трибунѣ St.-Martin's Hall. Сначала Джонсъ получилъ письмо отъ какого-то нѣмца, протестовавшаго противъ моего избранія. Онъ писалъ, что я извѣстный панславистъ, что я писалъ

о необходимости завоеванія Вѣны, — которую назвалъ славянской столицей, что я проповѣдую русское крѣпостное состояніе — какъ идеалъ для земледѣльческаго населенія. Во всемъ этомъ онъ ссылался на мои письма къ Линтону. (La Russie et le vieux monde). Джонсъ бросилъ безъ вниманія патріотическую клевету.

Но это письмо было только авангардною рекогносцировкою. Въ слѣдующее засѣданіе комитета Марксъ объявилъ, что онъ считаетъ мой выборъ несовмѣстнымъ съ цѣлью комитета и предлагалъ выборъ уничтожить. Джонсъ замѣтилъ, что это не такъ легко, какъ онъ думаетъ, что комитетъ,— избравши лицо, — которое вовсе не заявляло желанія быть членомъ, и сообщивши ему оффиціяльно избраніе, не можетъ измѣнить рѣшеній по желанію одного члена, — что пусть Марксъ формулируетъ свои обвиненія, и онъ ихъ предложитъ теперь-же на обсужденіе комитета.

На это Марксъ сказалъ,—что онъ меня лично не знаетъ, что онъ не имѣетъ никакого частнаго обвиненія,—но находитъ достаточнымъ и того, что я русскій, и притомъ русскій,—который во всемъ, что писалъ, поддерживаетъ Россію, что наконецъ, если комитетъ не исключитъ меня, то онъ, Марксъ, со всѣми своими, будетъ принужденъ выйти.

Французы, поляки, итальянцы, человѣка два-три нѣмцевъ и англичане вотировали за меня. Марксъ остался въ страшномъ меньшинствѣ. Онъ всталъ и, со своими пріятелями, оставилъ комитетъ, куда болѣе не возвращался.

Побитые въ комитетѣ, Марксиды отретировались въ свою твердыню — въ Morning Advertiser. Герстъ и Блакетъ издали англійскій переводъ одного тома "Былаго и Думъ", включивъ въ него "Тюрьму и Ссылку"; чтобъ товаръ продать лицемъ, — они не обинуясь поставили "My Exil in Siberia" на главномъ листѣ. Express первый замѣтилъ это фанфаронство. Я написалъ къ издателямъ письмо, и другое

въ Express. — Герстъ и Блакетъ объявили, что заглавіе было сдѣлано ими, что въ оригиналѣ его нѣтъ, но что Гоффманъ и Кампе поставили въ нѣмецкомъ переводѣ тоже "въ Сибири". — Express все это напечаталъ. Казалось, дѣло было кончено. — Но Morning Advertiser началъ меня шпиговать въ недѣлю раза два-три. Онъ говорилъ, что я слово Сибирь употребилъ для лучшаго сбыта книги, — что я протестовалъ черезъ пять дней послѣ выхода книги, т. е. давши время сбыть изданіе. — Я отвѣчалъ, они сдѣлали рубрику: "Case of M. Herzen", какъ помѣщаютъ дополненіе къ убійствамъ или уголовнымъ процессамъ. Адвертейзеровскіе нѣмцы не только сомнѣвались въ Сибири, приписанной книгопродавцемъ, но и въ самой ссылкѣ. "Въ Вяткѣ и Новгородѣ г. Герценъ былъ на императорской службѣ; — гдѣ-же и когда онъ былъ въ ссылкѣ?"

Наконецъ интересъ изсякъ, и Morning Advertiser забылъ меня.

Прошло четыре года. — Началась итальянская война. — Красный Марксъ избралъ самый черно-желтый журналъ въ Германіи, "Аугсбургскую газету", и въ ней сталъ выдавать (анонимно) Карла Фогта за агента принца Наполеона; Кошута съ Телеки, Пульскаго и пр., какъ продавшихся Бонапарту. Вслѣдъ за тѣмъ, онъ напечаталъ: "Герценъ, по самымъ вѣрнымъ источникамъ, получаетъ большія деньги отъ Наполеона. Его близкія сношенія съ Palais-Royal'емъ были и прежде не тайной". Я не отвѣчалъ; — но за то былъ почти обрадованъ, когда одинъ тощій Лондонскій журналъ помѣстилъ статейку, въ которой говорилъ, (несмотря на то, что я десять разъ отрицалъ это), будто я "рекомендую Россіи завоевать Вѣну и считаю ее столицей Славянскаго міра".

Мы сидѣли за обѣдомъ — человѣкъ десять; кто-то разсказывалъ изъ газетъ о злодѣйствахъ, сдѣланныхъ Урбаномъ

со своими пандурами возлѣ Комо. Кавуръ обнародовалъ ихъ. Что касается до Урбана, въ немъ сомнѣваться было грѣшно. Кондотьеръ безъ роду и племени, онъ гдѣ-то родился на бивакахъ и выросъ въ какихъ-то казармахъ: — пандуръ и грабитель par droit de conquête et par droit de naissance, fille du régiment мужскаго пола, и по всему свирѣпый солдатъ. Дѣло было какъ-то около Мадженты и Сольферино. Нѣмецкій патріотизмъ былъ тогда въ періодѣ злѣйшей ярости; классическая любовь къ Италіи, патріотическая ненависть къ Австріи: — все исчезло передъ патосомъ національной гордости, хотѣвшей во чтобы то ни стало удержать чужой "квадрилатеръ". Баварцы собирались идти, несмотря на то, что ихъ никто не посылалъ, никто не звалъ, никто не пускалъ. Гремя ржавыми саблями бефреюнгсъ-крига, они запаивали пивомъ и засыпали цвѣтами всякихъ кроатовъ и далматовъ, шедшихъ бить итальянцевъ за Австрію и за свое собственное рабство. Либеральный изгнанникъ Бухеръ и какой-то, должно быть побочный, потомокъ Барбароссы—Ротбартусъ—протестовали противъ всякаго притязанія иностранцевъ (т. е. итальянцевъ) на Венецію.

При этихъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ и былъ, между супомъ и рыбой, поднятъ несчастный вопросъ о злодѣйствахъ Урбана.

— Ну, а если это не правда? — замѣтилъ нѣсколько поблѣднѣвшій докторъ М.-С. изъ Мекленбурга по тѣлесному —и Берлина по духовному—рожденію.

— Однако-же нота Кавура...

— Ничего не доказываетъ.

— Въ такомъ случаѣ,—замѣтилъ я, можетъ подъ Маджентой австрійцы разбили на голову французовъ: — вѣдь никто изъ насъ не былъ тамъ.

— Это другое дѣло: тамъ тысячи свидѣтелей, а тутъ какіе-то итальянскіе мужики.

— Да что за охота защищать австрійскихъ генераловъ?... развѣ мы ихъ и прусскихъ офицеровъ не знаемъ по 1848 г.: эти проклятые юнкеры, съ дерзкимъ лицемъ, надменнымъ видомъ...

— Господа — замѣтилъ М.-С. — прусскихъ офицеровъ не слѣдуетъ оскорблять и ставить на ряду съ австрійскими.

— Такихъ тонкостей мы не знаемъ; всѣ они несносны, противны. Мнѣ кажется, что всѣ они,—да и наши лейбъ-гвардейцы вдобавокъ,—такіе-же...

— Кто обижаетъ прусскихъ офицеровъ,—обижаетъ прусскій народъ: они съ нимъ неразрывны, и М.-С., совсѣмъ блѣдный, отставилъ въ первый разъ отроду дрожащей рукой стаканъ налитаго пива.

— Нашъ другъ М.-С. величайшій патріотъ Германіи,— сказалъ я, все еще полушутя — онъ на алтарь отечества приноситъ больше чѣмъ жизнь, больше чѣмъ обожженную руку; онъ жертвуетъ здравымъ смысломъ.

— И нога его не будетъ въ домѣ, гдѣ обижаютъ германскій народъ!

Съ этими словами мой докторъ философіи всталъ, бросилъ на столъ салфетку, какъ матеріальный знакъ разрыва, и мрачно вышелъ... Съ тѣхъ поръ мы не видѣлись.

А вѣдь мы съ нимъ пили на "Du" у Стеели Gendarmen-Platz, въ Берлинѣ, въ 1847 году, и онъ былъ самый лучшій и самый счастливый Bummler изъ всѣхъ, видѣнныхъ мною. Не въѣзжая въ Россію, онъ какъ-то всю жизнь прожилъ съ русскими, и біографія его не лишена для насъ интереса.

Какъ всѣ нѣмцы, не работающіе руками, М.-С. учился древнимъ языкамъ очень долго и подробно; зналъ ихъ очень хорошо и много. Его образованіе было до того упорно классическое, что онъ не имѣлъ времени никогда заглянуть ни въ какую книгу объ естествовѣдѣніи; хотя естественныя науки уважалъ, зная что Гумбольдтъ ими занимался всю жизнь. М.-С., какъ всѣ филологи, умеръ бы отъ стыда, еслибъ онъ

не зналъ какой-нибудь книжонки средневѣковой, или классическую дрянь, и не обинуясь признавался на пр. въ совершенномъ невѣдѣніи физики, химіи и пр. Страстный музыкантъ безъ Anschlaga и голоса, платоническій эстетикъ, неумѣвшій карандашъ въ руки взять и изучáвшій картины и статуи. Въ Берлинѣ М.-С. началъ свою карьеру глубокомысленными статьями объ игрѣ талантливыхъ, но все неизвѣстныхъ, берлинскихъ актеровъ въ Шпенеровой газетѣ, и былъ страстнымъ любителемъ спектакля. Театръ впрочемъ не мѣшалъ ему любить вообще всѣ зрѣлища, отъ звѣринцевъ съ пожилыми львами и умывающимся бѣлымъ медвѣдемъ, и фокусниковъ, до панорамъ, телятъ съ двумя головами, восковыхъ фигуръ, ученыхъ собакъ и пр.

Въ жизнь мою я не видывалъ такого дѣятельнаго лѣнтія, такого вѣчно занятаго праздношатающагося. Утомленный, въ поту, въ пыли, измятый, затасканый, приходилъ онъ въ одинадцатомъ часу вечера—и бросался на диванъ... вы думаете, у себя въ комнатѣ? совсѣмъ нѣтъ,—въ ученолитературной биръ-кнейпѣ, у Стеели,—и принимался за пиво. Выпивалъ онъ его нечеловѣческое количество, безпрестанно стучалъ крышкой кружки, и Jungfer уже знала безъ словъ и просьбы, что слѣдуетъ нести другую. Здѣсь, окруженный отставными актерами и еще непринятыми въ литературу писателями, проповѣдывалъ М.-С. часы о Каульбахѣ и Корнеліусѣ,—о томъ какъ пѣлъ въ этотъ вечеръ Лаблашъ въ королевской оперѣ, о томъ какъ мысль губитъ стихотвореніе и портитъ картину, убивая ея непосредственность..... Вдругъ онъ вскакивалъ, вспомнивъ, что долженъ завтра въ восемъ часовъ утра бѣжать къ Пассаланьи, въ египетскій музей смотрѣть новую мумію; и непремѣнно въ восемъ часовъ, потому-что въ половинѣ десятаго одинъ пріятель обѣщалъ сводить его въ конюшню англійскаго посланника, показать какъ англичане отлично содержатъ лошадей. Схваченный такимъ воспоминаніемъ, М.-С., извинясь, наскоро выпивалъ

кружку, забывая то очки, то платокъ, то крошечную табакерку, бѣжалъ въ какой-то переулокъ за Шпре, поднимался на четвертый этажъ и торопился выспаться, чтобъ не заставить дожидаться мумію, три-четыре тысячи лѣтъ покоившуюся, не нуждаясь ни въ Пассаланьи, ни въ докторѣ М.-С.

Безъ гроша денегъ и тратя послѣднія на Cerevisia и Circenses, М.-С. жилъ на антоніевой пищѣ, храня внутри сердца непреодолимую любовь къ кухоннымъ рѣдкостямъ и столовымъ лакомствамъ. За то, когда фортуна ему улыбалась и когда его несчастная любовь могла перейти въ реальную,—онъ торжественно доказывалъ, что онъ не только уважалъ категорію качества, но столько-же отдавалъ справедливости категоріи количества.

Судьба, рѣдко балующая нѣмцевъ, особенно идущихъ по филологической части, сильно баловала М.-С. Онъ случайно попалъ въ пассатное русское общество, и при томъ молодыхъ и образованныхъ русскихъ. Оно завертѣло его, закормило, запоило. Это было лучшее, поэтическое время его жизни, Genussjahre! Лица мѣнялись, пиръ продолжался. Безсмѣннымъ былъ одинъ М.-С. Кого и кого, съ 1848 года, не водилъ онъ по музеямъ, кому не объяснялъ Каульбаха, кого не водилъ въ университетъ? Тогда была эпоха Германопоклоненія въ пущемъ разгарѣ; русскій останавливался съ почтеніемъ въ Берлинѣ, тронутый тѣмъ, что попираетъ философскую землю, которую Гегель попиралъ, поминалъ его и учениковъ его съ М.-С. языческими возліяніями и страсбургскими пирогами. Эти событія могли разстроить все міросозерцаніе какого угодно нѣмца. Нѣмецъ не можетъ однимъ синтезисомъ обнять страсбургскіе пироги и шампанское съ изученіемъ Гегеля, идущимъ даже до брошюръ Маргейнеке, Бадера, Вердера, Шиллера, Розенкранца и всѣхъ въ жизни усопшихъ знаменитостей сороковыхъ годовъ. У нихъ все еще,—если страсбургскій пирогъ—то банкиръ,—если Champagner—то юнкеръ.

М.-С., довольный, что нашелъ такое вкусное сочетаніе науки съ жизнью, сбился съ ногъ; покоя ему не было ни одного дня. Русская семья, усаживаясь въ почтовую карету (или, потомъ, въ вагонъ), чтобъ ѣхать въ Парижъ, перебрасывала его, какъ ракету или воланъ, къ русской семьѣ, подъѣзжавшей изъ Кенигсберга или Штетина. Съ проводовъ онъ торопился на встрѣчу, — и горькое пиво разлуки было нагоняемо сладкимъ пивомъ новаго знакомства. Виргилій философскаго чистилища—онъ вводилъ сѣверныхъ неофитовъ въ берлинскую жизнь и разомъ открывалъ имъ двери въ святилище des reinen Denkens und des deutschen Kneipens. Чистые душею соотечественники наши оставляли съ увлеченіемъ и порядочное вино, и прибранныя комнаты отелей, чтобы бѣжать съ М.-С. въ душную полпивную. Они всѣ были внѣ себя отъ буршикозной жизни, и скверный табачный дымъ Германіи имъ сладокъ и пріятенъ былъ.

Въ 1847 году и я дѣлилъ эти увлеченія; и мнѣ казалось, что я какъ-то выше становлюсь въ общественномъ значеніи, оттого что по вечерамъ встрѣчалъ въ полпивной Ауербаха, читавшаго каррикатурно Шиллерову Bürgschaft и разсказывавшаго смѣшные анекдоты, въ родѣ того какъ русскій генералъ покупалъ для двора какія-то картины въ Дюссельдорфѣ. Генералъ былъ несовсѣмъ доволенъ величиной картины и думалъ, что живописецъ хочетъ его обмѣрить.

"Гутъ, — говоритъ онъ, — аберъ клейнъ. Кейзеръ liebt grosse Bilder, Кейзеръ sehr Klug; Gott klüger, aber Кейзеръ noch jung" и т. п. Сверхъ Ауербаха, тамъ бывали два-три берлинскихъ (что было въ этомъ звукѣ для русскаго уха сороковыхъ годовъ!) профессора; одинъ изъ нихъ, въ какомъ-то сюртукѣ на военный манеръ, и какой-то спившійся актеръ, который былъ недоволенъ современнымъ сценическимъ искусствомъ и считалъ себя неузнаннымъ геніемъ. Этого неоцѣненнаго Талму заставляли всякій вечеръ пѣть куплеты "о покушеніи Фіэски на Людвига Фи

липпа" и, немного потише, о выстрѣлѣ чеха въ Прусскаго короля.

Hatte Keiner je so Pech
Wie der Bürgemeister Tschech,
Denn er schoss der Landesmutter
Durch den Rock ins Unterfutter.

— Вотъ она свободная-то Европа!... вотъ опѣ—Аѳины на Шпре! И какъ мнѣ было жаль друзей, оставшихся на Тверскомъ бульварѣ и на Невскомъ проспектѣ.

Зачѣмъ износились всѣ эти чувства непочатости сѣверной свѣжести и невѣдѣнія, удивленія, поклоненія. Все это оптическій обманъ. Что-же за бѣда? развѣ мы въ театръ ходимъ не изъ за оптическаго обмана; только тутъ мы сами въ заговорѣ съ обманщикомъ; а тамъ если и есть обманъ,— то нѣтъ обманщика. Потомъ всякій увидитъ свои ошибки, улыбнется, немного посовѣстится; солжетъ, что этого никогда не было. А веселыя-то минуты были таки.

Зачѣмъ видѣть сразу всю подноготную? Мнѣ просто хотѣлось-бы воротиться къ прежнимъ демокраціямъ и взглянуть на нихъ съ лицевой стороны: "Луиза, обмани меня... солги Луиза!"

Но Луиза (тоже М.-С.), отворачиваясь отъ старика, говоритъ надувши губки: "Ach, um Himmelsgnaden, lassen Sie doch ihre Thorheiten und gehen Sie nur ihren Weg!" и бреди себѣ по мостовой изъ булыжнику, въ пыли, шумѣ, трескѣ, въ безотрадныхъ, ненужныхъ, мелькающихъ встрѣчахъ, ничѣмъ не наслаждаясь, ничему не удивляясь и торопясь къ выходу—зачѣмъ? Затѣмъ, что его миновать нельзя.

Возвращаясь къ М.-С., я долженъ сказать, что не все же онъ жилъ бабочкой, перелетая отъ Кролгартена Подъ-Липы. Нѣтъ, и его молодость имѣла свою героическую главу. Онъ высидѣлъ цѣлыхъ пять лѣтъ въ тюрьмѣ и никогда порядкомъ не зналъ за что, также какъ и философское правительство, которое его засадило; тогда преслѣдовали

отголоски Гамбахскаго праздника, студентскихъ рѣчей, брудершафтскихъ тостовъ, буршентумскихъ идей и тугендбундскихъ воспоминаній. Вѣроятно и М.-С. что нибудь вспомнилъ : его и посадили. Конечно, во всѣхъ Пруссіяхъ, съ Вестфаліей и Рейнскими провинціями, не было субъекта меньше опаснаго для правительства, какъ М.-С. — М.-С. родился зрителемъ, шафером, публикой. Во время берлинской революціи 1848 г. онъ отнесся къ ней точно также; онъ бѣгалъ съ улицы на улицу, подвергаясь то пулѣ, то аресту, для того чтобы посмотрѣть что тамъ дѣлается и что тутъ.

Послѣ революціи, отеческое управленіе короля-богослова и философа стало тяжело, и М.-С., походивши еще съ полгода къ Стеели и Пассаланьи, началъ скучать. Звѣзда его стояла высоко : спасенье было возлѣ. Полина Гарсія Віардо пригласила его къ себѣ въ Парижъ. Она была такъ покрыта нашими подснѣжными вѣнками, такъ окружена сѣверной любовью нашей, что сама состояла на правахъ русской и имѣла, стало быть, въ свою очередь неотъемлемое право на чичеронство М.-С. въ Берлинѣ. Віардо звала его погостить у нихъ. Быть въ домѣ у умной, блестящей, образованной Віардо, значило разомъ перешагнуть пропасть, которая дѣлитъ всякаго туриста отъ Парижскаго и Лондонскаго общества; всякаго нѣмца безъ особенныхъ примѣтъ отъ французовъ. Быть у нея въ домѣ—значило быть въ кругу артистовъ и либераловъ Марастовскаго цвѣта, литераторовъ, Ж. Сандъ и проч. Кто не позавидовалъ бы М.-С. и его дебютамъ въ Парижѣ.

На другой день послѣ своего пріѣзда онъ прибѣжалъ ко мнѣ совершенно запаленный отъ устали и суеты и, не имѣя времени сказать двухъ словъ, выпилъ бутылку вина, разбилъ стаканъ, взялъ мою зрительную трубку и побѣжалъ въ театръ. Въ театрѣ онъ трубку потерялъ и, проведя цѣлую ночь по разнымъ полицейскимъ домамъ, явился ко мнѣ съ повинной головой. Я отпустилъ ему грѣхъ би-

нокля за удовольствіе, которое мнѣ онъ доставлялъ своимъ медовымъ мѣсяцемъ въ Парижѣ. Тутъ только онъ показалъ всю ширь своихъ способностей; онъ выросъ ненасытностью всего на свѣтѣ: картинъ, дворцовъ, звуковъ, видовъ, потрясеній, ѣды и питья. Проглотивъ три-четыре дюжины устрицъ, онъ принимался за три другихъ, потомъ за омара, потомъ за цѣлый обѣдъ; окончивъ бутылку шампанскаго, онъ наливалъ съ такимъ-же наслажденіемъ стаканъ пива; сходя съ лѣстницы вандомской колоны, онъ шелъ на куполъ Пантеона: и тамъ и тутъ удивлялся громкимъ и наивнымъ удивленіемъ нѣмца, этого провинціала по натурѣ. Между волкомъ и собакой забѣгалъ онъ ко мнѣ, выпивалъ галонъ пива, ѣлъ что попало и, когда волкъ бралъ верхъ надъ собакой, М.-С. въ райкѣ какого нибудъ театра заливался громкимъ гутуральнымъ хохотомъ и потомъ, струившимся со всего лица его.

Не успѣлъ еще М.-С. досмотрѣть Парижъ и догодаться, что онъ становится невыносимо противенъ, какъ Ж. Сандъ его увезла къ себѣ въ Nohant. Для элегантной Віардо М.-С. à la longue былъ слишкомъ грузенъ; съ нимъ случались въ ея гостинной разныя несчастья. Разъ какъ-то онъ съ неосторожной скоростью уничтожилъ цѣлую корзиночку какихъ то особенныхъ чудесъ, приготовленныхъ къ чаю для десяти человѣкъ, такъ-что, когда Віардо ихъ предложила, въ корзинкѣ были одни крошки, и не въ одной корзинкѣ, а и на усахъ М.-С. (*).

Віардо передала его Ж. Сандъ. Ж. Сандъ, наскучивъ Парижемъ, ѣхала на покойное помѣщичье житье. Ж. Сандъ сдѣлала съ М.-С. чудеса. Она какъ-то вычистила, прибрала, привела его въ порядокъ; исчезъ темный табакъ, покрывавшій верхнюю часть его бѣлокурыхъ усовъ, и доля

(*) И. Т. говорилъ о М.-С., что, садясь за закуску, онъ съ опытностью искуснаго полководца осматривалъ позицію и, если находилъ слабое мѣсто, т. е. вино или мясо, поданное въ недостаточномъ количествѣ,—онъ тотчасъ нападалъ на нихъ и бралъ двойную порцію.

Ж. Сандъ! Ноганскіе пресале и пулярдки—прощай; прощай русскіе завтраки, продолжающіеся до вечера, и русскіе обѣды, оканчивающіеся на другой день; да прощай и русскіе:— въ Лондонъ русскіе ѣздили на скорую руку, сконфуженные, потерянные; имъ было не до М.-С. Да кстати прощай и солнце, которое такъ хорошо грѣетъ и весело свѣтитъ, когда нѣтъ денегъ на внутренное топливо... Туманъ, дымъ и вѣчная борьба работы, бой изъ за работы! Года черезъ три М.-С. сталъ замѣтно старѣть; морщины прорѣзывались глубже и глубже,—онъ опускался. Уроки не шли (не смотря на то, что онъ на нѣмецкій ладъ былъ очень основательно ученъ). Зачѣмъ онъ не ѣхалъ въ Германію? но вообще у нѣмцевъ,—даже у такихъ неистовыхъ патріотовъ какъ М.-С.,—дѣлается, поживши нѣсколько лѣтъ внѣ Германіи, непреодолимое отвращеніе отъ родины, что-то въ родѣ обратнаго Heimrweh. Въ Лондонѣ онъ не могъ свести концовъ. Длинная масляница, длившаяся около десяти лѣтъ, кончилась, и суровый постъ захватилъ добродушнаго буммлера; потерянный, вѣчно ищущій захватить денегъ, кругомъ въ маленькихъ долгахъ и становясь лицомъ изъ Дикенсова романа, М.-С. все еще доканчивалъ "Эриха",—все еще мечталъ, что продастъ его и заслужитъ разомъ талеры и лавры,—но "Эрихъ" былъ упоренъ и не оканчивался, и М.-С. чтобъ освѣжиться, дозволялъ себѣ, сверхъ пива, одну роскошь—pleasure-train въ воскресеніе. Онъ платилъ очень дешево за большія пространства и ничего не видалъ.

"Я ѣду на Isle of Wight, взадъ и впередъ (помнится) 4 шил., и завтра утромъ рано буду опять въ Лондонѣ". Что-же ты увидишь тамъ? "Да, но за то четыре шиллинга!" Бѣдный М.-С., бѣдный буммлеръ!

А впрочемъ, пусть онъ съѣздитъ въ Рейдъ, не видавши его; лишь бы также не видалъ будущаго: въ его гороскопѣ не осталось ни одной свѣтлой точки, ни одного шанса. Онъ, бѣдняга безотрадный, исчезнетъ въ лондонскомъ туманѣ.

ПРИБАВЛЕНІЕ

КЪ ГОРНЫМЪ ВЕРШИНАМЪ

I.

ЛЕДРЮ-РОЛЛЕНЪ И КОШУТЪ

... На другой день я отправился къ Ледрю-Роллену.— Онъ меня принялъ очень привѣтливо. Колосальная, импозантная фигура его,—которой не надо разбирать en détail, общимъ впечатлѣніемъ располагала въ его пользу. Должно быть онъ былъ и bon enfant и bon vivant. Морщины на лбу и просѣдь показывали, что заботы и ему несовсѣмъ даромъ прошли. Онъ потратилъ на революцію свою жизнь и свое состояніе; а общественное мнѣніе ему измѣнило. Его странная, непрямая роль въ Апрѣлѣ и Маѣ, слабая въ Іюньскіе дни — отдалила отъ него часть красныхъ — не сблизивъ съ синими. Имя его, служившее символомъ и произносимое иной разъ съ ошибкой (*) мужиками, но все-же произносимое, — рѣже было слышно. Самая партія его въ Лондонѣ таяла больше и больше;—особенно когда и Феликсъ Пья открылъ свою лавочку въ Лондонѣ.

(*) Мужички дальнихъ краевъ — любили le duc Rollin'a и жалѣли только, что имъ руководствуетъ женщина, съ которой онъ связался — La Martine. Что она-то дюка сбиваетъ, а что онъ самъ bon pour le populaire.

Усѣвшись покойно на кушеткѣ, Ледрю-Ролленъ началъ меня "гарангировать". — "Революція—говорилъ онъ—только и можетъ лучиться (rayonner) изъ Франціи. Ясно, что къ какой-бы странѣ вы ни принадлежали, вы должны прежде всего помогать намъ для вашего собственнаго дѣла. Революція только можетъ выйти изъ Парижа. Я очень хорошо знаю, что нашъ другъ Маццини не того мнѣнія—онъ увлекается своимъ патріотизмомъ. Что можетъ сдѣлать Италія съ Австріей на шеѣ и съ Наполеоновскими солдатами въ Римѣ? Намъ надобно Парижъ;—Парижъ—это Римъ, Варшава, Венгрія, Сицилія—и, по счастію, Парижъ совершенно готовъ,—не ошибайтесь,—совершенно готовъ! Революція сдѣлана—la révolution est faite: c'est clair comme bon jour. Я объ этомъ и не думаю; я думаю о послѣдствіяхъ, о томъ какъ избѣгнуть прежнихъ ошибокъ". Такимъ образомъ онъ продолжалъ сполчаса и вдругъ, спохватившись, что онъ и не одинъ, и не передъ аудиторіей, добродушнѣйшимъ образомъ сказалъ мнѣ: "Вы видите; мы съ вами совершенно одинакаго мнѣнія". Я не раскрывалъ рта. Ледрю-Ролленъ продолжалъ: "что касается до матерьяльнаго факта революціи,—онъ задержанъ нашимъ безденежьемъ. Средства наши истощились въ этой борьбѣ, которая идетъ годы и годы.—Будь теперь сейчасъ въ моемъ распоряженіи сто тысячъ франковъ, — да — нищерабельныхъ сто тысячъ франковъ! и послѣ завтра, черезъ три дня, революція въ Парижѣ". — Да какъ-же это, — замѣтилъ я наконецъ, — такая богатая нація, совершенно готовая на возстаніе, — не находитъ ста тысячъ — полмилліона франковъ?

Ледрю-Ролленъ немного покраснѣлъ, но не запинаясь отвѣчалъ: "Pardon, pardon. Вы говорите о теоретическихъ предположеніяхъ—въ то время какъ я вамъ говорю о фактахъ, о простыхъ фактахъ".

Этого я не понялъ.

Когда я уходилъ, Ледрю-Ролленъ по англійскому обычаю проводилъ меня до лѣстницы и еще разъ, подавая мнѣ свою огромную богатырскую руку, сказалъ: "Надѣюсь это не въ послѣдній разъ, я буду всегда радъ;—и такъ—au revoir".

— Въ Парижѣ—отвѣтилъ я.

— Какъ въ Парижѣ?

— Вы такъ убѣдили меня, что революція за плечами, что я право не знаю, успѣю-ли я побывать у васъ здѣсь.

Онъ смотрѣлъ на меня съ недоумѣніемъ, и потому я поторопился прибавить: "По крайней мѣрѣ я этого искренно желаю—въ этомъ думаю вы не сомнѣваетесь". — "Иначе вы не были бы здѣсь"—замѣтилъ хозяинъ, и мы разстались.

Кошута въ первый разъ я видѣлъ собственно во второй разъ. Это случилось такъ: когда я пріѣхалъ къ нему, меня встрѣтилъ въ парлорѣ военный господинъ, въ полу-венгерскомъ военномъ костюмѣ, съ извѣщеніемъ, что г. Губернаторъ не принимаетъ.

— Вотъ письмо отъ Маццини.

— Я сейчасъ передамъ. — Сдѣлайте одолженіе. — Онъ указалъ мнѣ на трубку и потомъ на стулъ. Черезъ двѣ-три минуты онъ возвратился.—"Г. Губернаторъ чрезвычайно жалѣетъ, что не можетъ васъ видѣть. Сейчасъ онъ оканчиваетъ американскую почту;— впрочемъ, если вамъ угодно подождать, то онъ будетъ очень радъ васъ принять".

— А скоро онъ кончитъ почту?

— Къ пяти часамъ непремѣнно.

Я взглянулъ на часы: половина втораго. — Ну, трехъ часовъ съ половиной я ждать не стану.

— Да вы не пріѣдете-ли послѣ?

— Я живу неменьше трехъ миль отъ Нотингъ-Гиля. Впрочемъ—прибавилъ я,—у меня никакого спѣшнаго дѣла къ г. Губернатору нѣтъ!

— Но г. Губернаторъ будетъ очень жалѣть.

— Такъ вотъ мой адресъ.

Прошло съ недѣлю, вечеромъ является длинный господинъ, съ длинными усами—венгерскій полковникъ, съ которымъ я лѣтомъ встрѣтился въ Лугано.—"Я къ вамъ отъ г. Губернатора: онъ очень безпокоится, что вы у него не были".

— Ахъ, какая досада. Я вѣдь впрочемъ оставилъ адресъ. Еслибъ я зналъ время, то непремѣнно поѣхалъ-бы къ Кошуту сегодня—или...—прибавилъ я вопросительно, какъ надобно говорить, къ г. Губернатору?—"Zu dem Olten, zu dem Olten,—замѣтилъ улыбаясь гонведъ—мы его между собой все называемъ der Olte.—Вотъ увидите человѣка!—такой головы въ мірѣ нѣтъ, не было и"... полковникъ внутренно и тихо помолился Кошуту.

— Хорошо, я завтра въ два часа пріѣду.

— Это невозможно. Завтра середа, завтра утромъ старикъ принимаетъ однихъ нашихъ, однихъ венгерцевъ.

Я не выдержалъ, засмѣялся и полковникъ засмѣялся. Когда-же вашъ старикъ пьетъ чай?

— Въ восемъ часовъ вечера.

— Скажите ему, что я пріѣду завтра въ восемъ часовъ; но если нельзя, вы мнѣ напишите.

— Онъ будетъ очень радъ—я васъ жду въ пріемной.

На этотъ разъ, какъ только я позвонилъ, длинный полковникъ меня встрѣтилъ, а короткій полковникъ тотчасъ повелъ въ кабинетъ Кошута (*).

Я засталъ Кошута работающаго за большимъ столомъ; онъ былъ въ черной бархатной венгеркѣ и въ черной шапочкѣ; Кошутъ гораздо лучше всѣхъ своихъ портретовъ и бюстовъ; въ первую молодость онъ былъ вѣроятно красавцемъ и долженъ былъ имѣть страшное вліяніе на женщинъ особеннымъ романически-задумчивымъ характеромъ лица.

(*) Слѣдующее до конца этой главы перепечатано изъ "Полярной Звѣзды", кн. V.—(Прим. Издателей).

Черты его не имѣютъ античной строгости какъ у Маццини, Саффи, Орсини; но (и, можетъ, именно по этому) онъ былъ роднѣе намъ, жителямъ сѣвера; въ печально кроткомъ взглядѣ его сквозилъ не только сильный умъ, но глубоко чувствующее сердце; задумчивая улыбка и нѣсколько восторженная рѣчь окончательно располагали въ его пользу. Говоритъ онъ чрезвычайно хорошо, хотя и съ рѣзкимъ акцентомъ, равно остающимся въ его французскомъ языкѣ, нѣмецкомъ и англійскомъ. Онъ не отдѣлывается фразами, не опирается на битыя мѣста; онъ думаетъ съ вами, выслушиваетъ и развиваетъ свою мысль почти всегда оригинально, потому, что онъ свободнѣе другихъ отъ доктрины и отъ духа партіи. Можетъ въ его манерѣ доводовъ и возраженій видѣнъ адвокатъ, но то что онъ говоритъ—серьезно и обдуманно.

Кошутъ много занимался до 1848 года практическими дѣлами своего края; это дало ему своего рода вѣрность взгляда. Онъ очень хорошо знаетъ, что въ мірѣ событій и приложеній не всегда можно прямо летать, какъ воронъ, что факты развиваются рѣдко по простой логической линіи, а идутъ лавируя, заплетаясь эпициклами, срываясь по касательнымъ. И вотъ причина между прочимъ почему Кошутъ уступаетъ Маццини въ огненной дѣятельности и почему съ другой стороны Маццини дѣлаетъ безпрерывные опыты, натягиваетъ попытки, а Кошутъ ихъ не дѣлаетъ вовсе.

Маццини глядитъ на итальянскую революцію какъ фанатикъ; онъ вѣруетъ въ свою мысль объ ней; онъ ее не подвергаетъ критикѣ и стремится ога e sempre, какъ стрѣла, пущенная изъ лука. Чѣмъ меньше обстоятельствъ онъ беретъ въ разсчетъ, тѣмъ прочнѣе и проще его дѣйствіе, тѣмъ чище его идея.

Революціонный идеализмъ Ледрю-Роллена тоже не сложенъ, его можно весь прочесть въ рѣчахъ конвента и въ мѣрахъ комитета общественнаго спасенія. Кошутъ принесъ съ собою изъ Венгріи не общее достояніе революціонной

традиціи, не апокалептическія формулы соціальнаго доктринаризма, а протестъ своего края, который онъ глубоко изучилъ, края новаго, неизвѣстнаго ни въ отношеніи къ его потребностямъ, ни въ отношеніи къ его дико-свободнымъ учрежденіямъ, ни въ отношеніи къ его средневѣковымъ формамъ. Въ сравненіи съ своими товарищами, Кошутъ былъ спеціалистъ.

Французскіе рефюжье, съ своей несчастной привычкой рубить съ плеча и все мѣрить на свою мѣрку, сильно упрекали Кошута за то, что онъ въ Марсели выразилъ свое сочувствіе къ соціальнымъ идеямъ, а въ рѣчи, которую произнесъ въ Лондонѣ съ балкона Mansion House, съ глубокимъ уваженіемъ говорилъ о парламентаризмѣ.

Кошутъ былъ совершенно правъ. Это было во время его путешествія изъ Константинополя, т. е. во время самаго торжественно эпическаго эпизода темныхъ лѣтъ, шедшихъ за 1848 годомъ. Сѣверо-американскій корабль, вырвавшій его изъ занесенныхъ когтей Австріи и Россіи, съ гордостью плылъ съ изгнанникомъ въ республику и остановился у береговъ другой. Въ этой республикѣ ждалъ уже приказъ полицейскаго диктатора Франціи, чтобъ изгнанникъ не смѣлъ ступить на землю будущей имперіи. Теперь это прошло бы такъ; но тогда еще не всѣ были окончательно надломлены, толпы работниковъ бросились на лодкахъ къ кораблю привѣтствовать Кошута, и Кошутъ говорилъ съ ними очень патурально о соціализмѣ. Картина мѣняется. По дорогѣ одна свободная страна выпросила у другой изгнанника къ себѣ въ гости. Кошутъ, всенародно благодаря англичанъ за пріемъ, не скрылъ своего уваженія къ государственному быту, который его сдѣлалъ возможнымъ. Онъ былъ въ обоихъ случаяхъ совершенно искрененъ; онъ не представлялъ вовсе такой-то партіи; онъ могъ, сочувствуя съ французскимъ работникомъ сочувствовать съ англійской конституціей, не сдѣлавшись Орлеанистомъ и не предавъ Республики. Кошутъ

это зналъ и отрицательно превосходно понялъ свое положеніе въ Англіи относительно революціонныхъ партій; онъ не сдѣлался ни Глюбистомъ, ни Пиччинистомъ; онъ держалъ себя равно въ далекѣ отъ Ледрю-Роллена и отъ Луи-Блана. Съ Маццини и Ворцелемъ у него былъ общій terrain, смежность границъ, одинакая борьба и почти одна и таже борьба; съ ними онъ и сошелся съ первыми.

Но Маццини и Ворцель давнымъ давно были по испанскому выраженію afrancisados. Кошутъ, упираясь, туго поддавался имъ, и очень замѣчательно, что онъ уступалъ по той мѣрѣ, по которой надежды на возстаніе въ Венгріи становились блѣднѣе и блѣднѣе.

Изъ моего разговора съ Маццини и Ледрю-Ролленомъ видно, что Маццини ждалъ революціоннаго толчка изъ Италіи и вообще былъ очень недоволенъ Франціей, но изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ я былъ неправъ, назвавъ и его afrancisado. Тутъ съ одной стороны въ немъ говорилъ патріотизмъ, не совсѣмъ согласный съ идеей братства народовъ и всеобщей республики; съ другой — личное негодованіе на Францію за то, что въ 1848 она ничего не сдѣлала для Италіи, а въ 1849 все, чтобъ погубить ее. Но быть раздраженнымъ противъ современной Франціи не значитъ быть *внѣ ея духа*; французскій революціонаризмъ имѣетъ свой общій мундиръ, свой ритуалъ, свой символъ вѣры; въ ихъ предѣлахъ можно быть спеціально политическимъ либераломъ, или отчаяннымъ демократомъ, можно, не любя Франціи, любить свою родину на французскій манеръ; все это будутъ варьяціи, частные случаи, но алгебраическое уравненіе останется тоже.

Разговоръ Кошута со мной тотчасъ принялъ серьезный оборотъ, въ его взглядѣ и въ его словахъ было больше грустнаго, нежели свѣтлаго; навѣрное онъ не ждалъ революціи завтра. Свѣдѣнія его объ юго-востокѣ Европы были огромны, онъ удивлялъ меня, цитируя пункты екате-

ринінскихъ трактатовъ съ Портой. "Какой страшный вредъ вы сдѣлали намъ во время нашего возстанія", сказалъ онъ, "и какой страшный вредъ вы сдѣлали самимъ себѣ. Какая узкая и противуславянская политика поддерживать Австрію. Разумѣется Австрія и спасибо не скажетъ за спасеніе, развѣ вы думаете, что она не понимаетъ, что Николай не ей помогалъ, а вообще деспотической власти".

Соціальное состояніе Россіи ему было гораздо меньше извѣстно, чѣмъ политическое и военное. Оно и не удивительно: многіе-ли изъ нашихъ государственныхъ людей знаютъ что нибудь о немъ, кромѣ общихъ мѣстъ и частныхъ, случайныхъ, ни съ чѣмъ несвязанныхъ замѣчаній. Онъ думалъ, что казенные крестьяне отправляютъ барщиной свою подать, распрашивалъ о сельской общинѣ, о помѣщичьей власти; я разсказалъ ему что зналъ.

Оставивъ Кошута, я спрашивалъ себя, да что-же общаго у него, кромѣ любви къ независимости своего народа, съ его товарищами. Маццини мечталъ Италіей освободить человѣчество, Ледрю-Ролленъ хотѣлъ его освободить въ Парижѣ и потомъ строжайше предписать свободу всему міру. Кошутъ врядъ-ли заботился обо всемъ человѣчествѣ и былъ, казалось, довольно равнодушенъ къ тому, скоро-ли провозгласятъ республику въ Лиссабонѣ или Дей Триполи будетъ называться простымъ гражданиномъ одного и нераздѣльнаго Триполійскаго Братства.

Различіе это, бросившееся мнѣ въ глаза съ перваго взгляда, обличилось потомъ рядомъ дѣйствій. Маццини и Ледрю-Ролленъ, какъ люди независимые отъ практическихъ условій, каждые два-три мѣсяца усиливались дѣлать революціонные опыты: Маццини возстаніями, Ледрю-Ролленъ посылкою агентовъ. Мацциньевскіе друзья гибли въ австрійскихъ и папскихъ тюрьмахъ, Ледрю-Ролленовскіе посланцы гибли въ Ламбессѣ или Кайенѣ, но они съ фанатизмомъ слѣповѣрующихъ продолжали отправлять своихъ Исааковъ на закланіе.

Кошутъ не дѣлалъ опытовъ; Лебени, ткнувшій ножемъ австрійскаго императора, не имѣлъ никакихъ сношеній съ нимъ.

Безъ сомнѣнія, Кошутъ пріѣхалъ въ Лондонъ съ болѣе сангвиническими надеждами, да и нельзя не сознаться, что было отчего закружиться головѣ. Вспомните опять эту постоянную овацію, это царственное шествіе черезъ моря и океаны; города Америки спорили о чести, кому первому идти ему на встрѣчу и вести въ свои стѣны. Двумилліонный, гордый Лондонъ ждалъ его на ногахъ у желѣзной дороги, карета Лорд-Мера стояла, приготовленная для него; алдерманы, шерифы, члены парламента провожали его моремъ волнующагося народа, привѣтствовавшаго его криками и бросаньемъ шляпъ вверхъ. И когда онъ вышелъ съ лордомъ-меромъ на балконъ Mansion House'а, его привѣтствовало то громогласное "ура!" котораго Николай не могъ въ Лондонѣ добиться ни протекціей Веллингтона, ни статуей Нельсона, ни куртизантствомъ какимъ-то лошадямъ на скачкахъ.

Надменная англійская аристократія, уѣзжавшая въ свои помѣстья, когда Бонапартъ пировалъ съ королевой въ Виндзорѣ и бражничалъ съ мѣщанами въ Сити, толпилась, забывъ свое достоинство, въ коляскахъ и каретахъ, чтобъ увидѣть знаменитаго агитатора; высшіе чины представлялись ему — изгнаннику. Теймсъ нахмурилъ было брови, но до того испугался передъ крикомъ общественнаго мнѣнія, что сталъ ругать Наполеона, чтобъ загладить ошибку.

Мудрено-ли, что Кошутъ воротился изъ Америки полный упованій. Но, проживши въ Лондонѣ годъ-другой, и видя куда и какъ идетъ исторія на материкѣ и какъ въ самой Англіи остывалъ энтузіазмъ, Кошутъ понялъ, что возстаніе невозможно и что Англія плохая союзница революціи.

Разъ, еще одинъ разъ, онъ исполнился надеждами и снова сталъ адвокатомъ за прежнее дѣло передъ народомъ англійскимъ: это было въ началѣ крымской войны.

Онъ оставилъ свое уединеніе и явился рука объ руку съ Ворцелемъ, т. е. съ демократической Польшей, которая просила у союзниковъ одного воззванія, одного согласія, чтобъ рискнуть возстаніе. Безъ сомнѣнія, это было для Польши великое мгновеніе — oggi o mai. Еслибъ возстановленіе Польши было признано, чего-же было-бы ждать Венгріи? Вотъ почему Кошутъ является на польскомъ митингѣ 29 Ноября 1854 года и требуетъ слова. Вотъ почему онъ вслѣдъ за тѣмъ отправляется съ Ворцелемъ въ главнѣйшіе города Англіи, проповѣдуя агитацію въ пользу Польши. Рѣчи Кошута, произнесенныя тогда, чрезвычайно замѣчательны и по содержанію, и по формѣ. Но Англіи на этотъ разъ онъ не увлекъ; народъ толпами собирался на митинги, рукоплескалъ великому дару слова, готовъ былъ дѣлать складчины; но вдаль движеніе не шло, но рѣчи не вызывали тотъ отзвукъ въ другихъ кругахъ, въ массахъ, который бы могъ имѣть вліяніе на парламентъ или заставить правительство измѣнить свой путь. Прошелъ 1854 годъ; насталъ 1855, умеръ Николай, Польша не двигалась, война ограничивалась берегомъ Крыма; о возстановленіи польской національности нечего было и думать; Австрія стояла костью въ горлѣ союзниковъ; всѣ хотѣли къ тому-же мира, главное было достигнуто — статскій Наполеонъ покрылся военной славой.

Кошутъ снова сошелъ со сцены. Его статьи въ "Атласѣ" и лекціи о конкордатѣ, которыя онъ читалъ въ Эдинбургѣ, Манчестерѣ, скорѣе должно считать частнымъ дѣломъ. Кошутъ не спасъ ни своего достоянія, ни достоянія своей жены. Привыкнувши къ широкой роскоши венгерскихъ магнатовъ, ему на чужбинѣ пришлось вырабатывать себѣ средства; онъ это дѣлаетъ, нисколько не скрывая.

Во всей семьѣ его есть что-то благородно-задумчивое; видно, что тутъ прошли великія событія, и что они подняли діапазонъ всѣхъ. Кошутъ еще до сихъ поръ окруженъ нѣ-

сколькими вѣрными сподвижниками; сперва они составляли его дворъ, теперь они просто его друзья.

Не легко прошли ему событія; онъ сильно состарѣлся въ послѣднее время, и тяжко становится на сердцѣ отъ его покоя.

Первые два года мы рѣдко видались; потомъ случай насъ свелъ, на одной изъ изящнѣйшихъ точекъ не только Англіи, но и Европы, на Isle of Wight. Мы жили въ одно время съ нимъ мѣсяцъ времени въ Вентнорѣ, это было въ 1855 г.

Передъ его отъѣздомъ мы были на дѣтскомъ праздникѣ. Оба сына Кошута, прекрасные, милые отроки, танцовали вмѣстѣ съ моими дѣтьми... Кошутъ стоялъ у дверей и какъ то печально смотрѣлъ на нихъ, потомъ, указывая съ улыбкой на моего сына, сказалъ мнѣ: "Вотъ уже и юное поколѣніе совсѣмъ готово намъ на смѣну".

— Увидятъ-ли они?

— Я именно объ этомъ и думалъ. А пока пусть попляшутъ—прибавилъ онъ и еще грустнѣе сталъ смотрѣть.

Кажется, что и на этотъ разъ мы думали одно и тоже: А увидятъ-ли отцы? И что увидятъ? Та революціонная эра, къ которой стремились мы, освѣщенные догорающимъ заревомъ девяностыхъ годовъ, къ которой стремилась либеральная Франція, юная Италія, Маццини, Ледрю-Ролленъ, не принадлежитъ-ли уже прошедшему, эти люди не дѣлаются-ли печальными представителями былаго, около которыхъ закипаютъ иные вопросы, другая жизнь? Ихъ религія, ихъ языкъ, ихъ движеніе, ихъ цѣль, все это и родственно намъ и съ тѣмъ вмѣстѣ чужое..... звуки церковнаго колокола тихимъ утромъ праздничнаго дня, литургическое пѣніе и теперь потрясаютъ душу, но вѣры все-же въ ней нѣтъ!

Есть печальныя истины—трудно, тяжко прямо смотрѣть на многое, трудно и высказывать иногда, что видишь. Да врядъ и нужно-ли? Вѣдь это тоже своего рода страсть или болѣзнь. "Истина, голая истина, одна истина!" Все это

такъ; да сообразно-ли вѣденіе ее съ нашей жизнію? не разъѣдаетъ-ли она ее, какъ слишкомъ крѣпкая кислота разъѣдаетъ стѣнки сосуда? Не есть-ли страсть къ ней—страшный недугъ, горько казнящій того, кто воспитываетъ его въ груди своей?

Разъ, годъ тому назадъ, въ день памятный для меня—мысль эта особенно поразила меня.

Въ день кончины Ворцеля я ждалъ скульптора въ бѣдной комнатѣ, гдѣ домучился этотъ страдалецъ. Старая служанка стояла съ оплывшимъ, желтымъ огаркомъ въ рукѣ, освѣщая исхудалый трупъ, прикрытый одной простыней. Онъ, несчастный какъ Іовъ, заснулъ съ улыбкой на губахъ, вѣра замерла въ его потухающихъ глазахъ, закрытыхъ такимъ-же фанатикомъ какъ онъ—Маццини.

Я этого старика грустно любилъ, и ни разу не сказалъ ему всей правды, бывшей у меня на умѣ. Я не хотѣлъ тревожить потухающій духъ его, онъ и безъ того настрадался. Ему нужна была отходная, а не истина. И потому-то онъ былъ такъ радъ, когда Маццини его умирающему уху шепталъ обѣты и слова вѣры!

II.

ФЕЛИКСЪ ПЬЯ, В. ГЮГО И ПР., ЛУИ-БЛАНЪ

и

ФРАНЦУЗСКІЕ ЭМИГРАНТЫ

Французская эмиграція, какъ и всѣ другія, увезла съ собой въ изгнаніе и ревниво сохранила всѣ раздоры, всѣ партіи. Сумрачная среда чужой и непріязненной страны, не скрывавшей, что она хранитъ свое право убѣжища не для ищущихъ его, а изъ уваженія къ себѣ,—раздражала нервы.

А тутъ оторванность отъ людей и привычекъ, невозможность передвиженія. Столкновенія стали злѣе, упреки въ прошедшихъ ошибкахъ — безпощаднѣе. Оттѣнки партій расходились до того, что старые знакомые перерывали всѣ сношенія, не кланялись...

Были дѣйствительные, теоритическіе и всяческіе раздоры; но рядомъ съ идеями стояли лица; рядомъ со знаменами —собственныя имена, рядомъ съ фанатизмомъ—зависть, и съ откровеннымъ увлеченіемъ—наивное самолюбіе.

Года черезъ полтора послѣ coup d'Etat, пріѣхалъ въ Лондонъ Феликсъ Пья изъ Швейцаріи.—Бойкій фельетонистъ, онъ былъ извѣстенъ процессомъ, который имѣлъ, скучной комедіей Діогенъ, понравившейся французамъ своими сухими и тощими сентенціями,—наконецъ успѣхомъ "Вѣтошника" на сценѣ Porte Saint-Martin. Объ этой пьэсѣ

я когда-то писалъ цѣлую статью(*). Феликсъ Пья былъ членомъ послѣдняго законодательнаго собранія, сидѣлъ на горѣ, подрался какъ-то въ палатѣ съ Прудономъ, замѣшался въ протестъ 13 Іюня 1849 г. и вслѣдствіе этого, долженъ былъ оставить Францію тайкомъ. Уѣхалъ онъ какъ и я, съ молдавскимъ видомъ, и ходилъ въ Женевѣ въ костюмѣ какого-то Мавра, вѣроятно для того, чтобъ его всѣ узнали. Въ Лозаннѣ, куда онъ переѣхалъ, составился у Ф. Пья небольшой кругъ почитателей изъ французскихъ изгнанниковъ, жившихъ манною его острыхъ словъ и крупицами его мыслей. Горько ему было изъ кантональныхъ вождей перейти въ какую-нибудь изъ лондонскихъ партій. Для лишняго кандидата на великаго человѣка не было партій; —пріятели и поклонники его выручили изъ бѣды: —они выдѣлились изъ всѣхъ прочихъ партій и назвались лондонской революціонной комуной.

La commune révolutionnaire должна была представлять самую красную сторону демократіи и самую коммунистическую соціализма. Она считала себя вѣчно на чеку, въ самыхъ тѣсныхъ связяхъ съ "Марьяной" и съ тѣмъ вмѣстѣ вѣрнѣйшей представительницей Бланки in partibus infidelium.

Мрачный Бланки, суровый педантъ и доктринеръ своего дѣла, аскетъ, исхудавшій въ тюрьмахъ, расправилъ въ образѣ Ф. Пья свои морщины, подкрасилъ въ алый цвѣтъ свои черныя мысли, и сталъ морить со смѣху Парижскую Комуну въ Лондонѣ. Выходки Ф. Пья въ его письмахъ къ королевѣ, къ Валевскому, котораго онъ назвалъ ex-réfugié и ex-Polonais, не принцемъ и пр., были очень забавны;—но въ чемъ сходство съ Бланки,—я никакъ не могъ добраться;

(*) Письма изъ Avenue Marigny. "Зачѣмъ вы испортили вашего Chiffonier, навязавъ ему въ концѣ счастливую развязку, портящую и нравственность пьесы и ея артистическое единство?" спросилъ я разъ Пья.

— Затѣмъ, —отвѣчалъ онъ, что еслибъ я огорчилъ Парижанъ мрачной судьбой старика и дѣвушки,—на другое представленіе никто бы не пошелъ.

да и вообще, въ чемъ состояла отличительная черта, дѣлившая его отъ Луи-Блана на пр.,—простымъ глазомъ видѣть было трудно.

Тоже должно сказать о Жерсейской партіи Виктора Гюго.

Викторъ Гюго никогда не былъ въ настоящемъ смыслѣ слова политическимъ дѣятелемъ. Онъ слишкомъ поэтъ, слишкомъ подъ вліяніемъ своей фантазіи,—чтобы быть имъ. И конечно, я это говорю не въ порицаніе ему. Соціалистъ-художникъ, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ былъ поклонникомъ военной славы, республиканскаго разгрома, средневѣковаго романтизма и бѣлыхъ лилій—Виконтъ и Гражданинъ, Перъ орлеанской Франціи и агитаторъ 2 Декабря: — это пышная, великая личность;—но не глава партіи, не смотря на рѣшительное вліяніе, которое онъ имѣлъ на два поколѣнія. Кого не заставилъ задуматься надъ вопросомъ о смертной казни "Послѣдній день осужденнаго?"—въ комъ не возбуждали чего-то въ родѣ угрызеній совѣсти его рѣзкія, страшно и странно освѣщенныя, на манеръ Турнера, картины общественныхъ язвъ бѣдности и роковаго порока?

Февральская революція застала Гюго врасплохъ; онъ не понялъ ее, удивился, отсталъ, надѣлалъ бездну ошибокъ, пока реакція въ свою очередь не опередила его. Приведенный въ негодованіе цензурой театральныхъ пьесъ и римскими дѣлами, онъ явился на трибунѣ собранія съ рѣчами, раздавшимися по всей Франціи. Успѣхъ и рукоплесканія увлекли его дальше и дальше. Наконецъ, 2 Декабря 1851, онъ сталъ во весь ростъ: — онъ, въ виду штыковъ и заряженныхъ ружей, звалъ народъ къ возстанію, — подъ пулями протестовалъ противъ coup d'état и удалился изъ Франціи, когда нечего было въ ней дѣлать. Раздраженнымъ львомъ отступилъ онъ въ Жерсей; — оттуда, едва переводя духъ, онъ бросилъ въ императора своего "Napoléon le petit"; потомъ свои "Châtiments". Какъ ни старались бонапартскіе агенты примирить стараго поэта съ новымъ дворомъ, — не могли.

"Если останутся хоть десять французовъ въ изгнаніи, — и я останусь съ ними; если три,—я буду въ ихъ числѣ; если останется одинъ—то этотъ изгнанникъ буду я. Я не возвращусь иначе, какъ въ свободную Францію".

Отъѣздъ Гюго изъ Жерсея въ Гернсей, кажется, убѣдилъ еще больше его друзей и его самого въ его политическомъ значеніи, — въ то время какъ отъѣздъ этотъ могъ только убѣдить въ противномъ. Дѣло было такъ. Когда Ф. Пья написалъ свое письмо къ королевѣ Викторіи,—послѣ посѣщенія ею Наполеона, онъ прочиталъ его на митингѣ и отослалъ его въ редакцію L'Homme. Свентославскій, печатавшій L'Homme на свой счетъ въ Жерсеѣ, былъ тогда въ Лондонѣ и вмѣстѣ съ Ф. Пья пріѣзжалъ ко мнѣ; уходя, онъ отвелъ меня въ сторону и сказалъ, что ему знакомый его lawyer сообщилъ, что за это письмо легко можно преслѣдовать журналъ въ Жерсеѣ, состоящемъ на положеніи колоній; а Ф. Пья непремѣнно хочетъ въ L'Homme. Свентославскій сомнѣвался и хотѣлъ знать мое мнѣніе.

— Не печатайте.

— Да, я и самъ думаю такъ, только вотъ что скверно; онъ подумаетъ, что я испугался.

— Какже не бояться при теперешнихъ обстоятельствахъ потерять нѣсколько тысячъ франковъ.

— Вы правы. Этого я не могу, не долженъ дѣлать.

Свентославскій, такъ премудро разсуждавшій, уѣхалъ въ Жерсей и письмо напечаталъ.

Слухи носились, что министерство хотѣло что-то сдѣлать. Англичане были обижены за тонъ, съ которымъ Ф. Пья обращался къ Квинѣ. Первымъ результатомъ этихъ слуховъ было то, что Ф. Пья пересталъ ночевать у себя дома: — онъ боялся въ Англіи visite domiciliaire и ночнаго ареста — за напечатанную статью! Преслѣдовать судомъ правительство и не думало; министры подмигнули Жерсейскому губернатору, или какъ тамъ онъ у нихъ называется, и тотъ,

пользуясь беззаконными правами, которыя существуютъ въ Колоніяхъ, — велѣлъ Свентославскому выѣхать съ острова. Свентославскій протестовалъ, и съ нимъ человѣкъ десять французовъ; въ томъ числѣ В. Гюго. Тогда полицейскій Наполеонъ Жерсея велѣлъ выѣхать всѣмъ протестовавшимъ. Имъ слѣдовало не слушаться до нельзя;—пусть бы полиція схватила кого нибудь за шиворотъ и выбросила съ острова; тогда можно было бы поставить передъ судомъ вопросъ о высылкѣ. Это и предлагали французамъ англичане. Процессы въ Англіи безобразно дороги; но издатели Daily News и другихъ либеральныхъ листовъ обѣщали собрать какую надобно сумму, найти способныхъ защитниковъ. Французамъ путь легальности показался скученъ и дологъ, противенъ: —и они съ гордостью оставили Жерсей, увлекая за собой Свентославскаго и С. Телеки.

Объявленіе полицейскаго приказа В. Гюго особенно торжественно. Когда полицейскій чиновникъ вошелъ къ нему, чтобъ прочесть приказъ, Гюго позвалъ своихъ сыновей; сѣлъ,—указалъ на стулъ чиновнику и, когда всѣ усѣлись, —какъ въ Россіи передъ отъѣздомъ,—онъ всталъ и сказалъ: "Г. Комиссаръ, мы дѣлаемъ теперь страницу исторіи. (Nous faisons maintenant une page de l'histoire).—Читайте вашу бумагу". Полицейскій, ожидавшій что его выбросятъ за двери, былъ удивленъ легостью побѣды; обязалъ Гюго подпиской, что онъ уѣдетъ, и ушелъ, отдавая справедливость учтивости французовъ, давшихъ даже ему стулъ. Гюго уѣхалъ, и другіе съ нимъ вмѣстѣ оставили Жерсей. Большая часть поѣхали не дальше Гернсея; другіе отправились въ Лондонъ; дѣло было проиграно и право высылать осталось непочатымъ. Серьезныхъ партій было только двѣ, т. е. партія формальной республики и насильственнаго соціализма: Ледрю-Ролленъ и Луи-Бланъ. О послѣднемъ я еще не говорилъ, а зналъ я его почти больше чѣмъ всѣхъ французскихъ изгнанниковъ.

Нельзя сказать, чтобъ воззрѣніе Луи-Блана было неопредѣленно: — оно во всѣ стороны обрѣзано какъ ножемъ. Луи-Планъ въ изгнаніи пріобрѣлъ много фактическихъ свѣденій (по своей части, т. е. по части изученія первой французской революціи), — нѣсколько устоялся и успокоился; но въ сущности своего воззрѣнія не подвинулся ни на одинъ шагъ съ того времени, какъ писалъ "Исторію десяти лѣтъ" и "Организацію труда". Осѣвшее и устоявшееся было тоже самое, что бродило съ молоду.

Въ маленькомъ тѣльцѣ Луи-Блан'а живетъ бодрый и круто сложившійся духъ, très-éveillé, съ сильнымъ характеромъ, со своей опредѣленно вываянной особенностью, и притомъ совершенно французскій. Быстрые глаза, скорыя движенія, придаютъ ему какой-то вмѣстѣ подвижной и точеный видъ, нелишенный граціи. Онъ похожъ на сосредоточеннаго человѣка, сведеннаго на наименьшую величину; въ то время какъ колоссальность его противника, Ледрю-Роллен'а, похожа на разбухнувшаго ребенка, на карлика въ огромныхъ размѣрахъ, или подъ увеличительнымъ стекломъ. Они оба могли бы чудесно играть въ Гуливеровомъ путешествіи. Луи-Планъ, и это большая сила и очень рѣдкое свойство,— мастерски владѣетъ собой; въ немъ много выдержки,—и онъ въ самомъ пылу разговора, нетолько публично, но и въ пріятельской бесѣдѣ, никогда не забываетъ самыхъ сложныхъ отношеній, никогда не выходитъ изъ себя въ спорѣ, не перестаетъ весело улыбаться,—и никогда не соглашается съ противникомъ. Онъ мастеръ разсказывать—и, не смотря на то, что много говоритъ, — какъ французъ, — никогда не скажетъ лишняго слова,—какъ Корсиканецъ.

Онъ занимается только Франціей, знаетъ только Францію и ничего не знаетъ "развѣ ее". Событія міра, открытія науки, землетрясенія и наводненія, занимаютъ его по той мѣрѣ, по которой онѣ касаются Франціи. Говоря съ нимъ, слушая его тонкія замѣчанія, его замѣчательные разсказы,—

легко изучать характеръ французскаго ума и тѣмъ легче, что мягкія, образованныя формы его не имѣютъ въ себѣ ничего вызывающаго раздражительную колкость (*).

Я иногда шутя останавливалъ его на общихъ мѣстахъ, которыя онъ, вѣроятно, повторялъ годы, не думая, чтобъ можно было возражать на такія почтенныя истины, и самъ не возражая: "Жизнь человѣка великій соціальный долгъ; человѣкъ должен постоянно приносить себя на жертву обществу".

— Зачѣмъ? спросилъ я вдругъ.

(*) Все это, за исключеніемъ нѣкоторыхъ добавокъ и поправокъ писано лѣтъ десять тому назадъ. Я долженъ признаться, что послѣднія событія заставили меня отчасти измѣнить мое мнѣніе о Луи-Бланѣ. Онъ дѣйствительно сдѣлалъ шагъ впередъ — и, какъ слѣдовало ожидать, отъ якобинскихъ старообрядцевъ. Онъ ему не прошелъ даромъ. "Что дѣлать — говорилъ мнѣ Луи-Бланъ, въ разгарѣ еще Мексиканской войны: — Честь нашего знамени компрометирована". Мнѣніе чисто французское и совершенно противучеловѣческое. Видно оно сильно мучило Луи-Блан'а. Черезъ годъ, за обѣдомъ, которой давали въ Брюселѣ В. Гюго послѣ изданія "Les Misérables", Луи-Бланъ въ своей рѣчи сказалъ: "Горе народу, когда его понятіе о чести вообще — не совпадаетъ съ понятіемъ военной чести". Тутъ былъ цѣлый переворотъ. Онъ то и обличился при началѣ послѣдней войны. Энергическія, полныя мѣткости и истинъ статьи Луи-Блан'а, помѣщаемыя въ Le Temps, возбудили грозу Siecl'a и Opinion Nationale: они чуть не выдали Луи-Блана за австрійскаго агента; — и выдали бы совсѣмъ, еслибъ онъ не пользовался дѣйствительно заслуженной репутаціей — чистоты.

Когда я ближе познакомился съ Луи-Бланомъ, меня поразилъ внутренній невозмутимый покой его. Въ его разумѣніи все было въ порядкѣ и рѣшено; тамъ не возникало вопросовъ, кромѣ второстепенныхъ, прикладныхъ. Свои счеты онъ свелъ: er war im Klaren mit sich; ему было нравственно свободно, какъ человѣку который знаетъ, что онъ правъ. — Въ частныхъ ошибкахъ своихъ, въ промахахъ друзей — онъ сознавался добродушно; теоретическихъ угрызеній совѣсти у него не было. Онъ былъ доволенъ собой послѣ разрушенія республики 1848 г., какъ Моисеевъ богъ послѣ созданія міра. Умъ его, подвижной въ ежедневныхъ дѣлахъ и подробностяхъ, — былъ японски неподвиженъ во всемъ общемъ. Эта незыблимая увѣренность въ основахъ, однажды принятыхъ, слегка провѣтриваемая холоднымъ раціональнымъ вѣтеркомъ, — прочно держалась на нравственныхъ подпорочкахъ, силу которыхъ онъ никогда не испытывалъ, потому — что вѣрилъ въ нее. Мозговая религіозность и отсутствіе скептическаго сосанія подъ ложкой обводили его китайской стѣной, за которую нельзя было забросить ни одной новой мысли, ни одного сомнѣнія.

— Какъ зачѣмъ? Помилуйте: вся цѣль, все назначеніе лица—благосостояніе общества.

— Оно никогда не достигнется, если всѣ будутъ жертвовать и никто не будетъ наслаждаться.

— Это игра словъ.

— Варварская сбивчивость понятій, говорилъ я смѣясь.

— Мнѣ никакъ не дается матеріалистическое понятіе о духѣ—говорилъ онъ разъ, все-же духъ и матерія различны; они тѣсно связаны, такъ тѣсно, что и не являются врозь, но все-же они не одно и тоже — и, видя, что какъ-то доказательство идетъ плохо, онъ вдругъ прибавилъ: Ну вотъ я теперь закрываю глаза и воображаю моего брата; вижу его черты, слышу его голосъ; гдѣ-же матерьяльное существованіе этого образа?

Я сначала думалъ, что онъ шутитъ; но, видя, что онъ говоритъ совершенно серьезно, я замѣтилъ ему, что образъ его брата на сію минуту въ фотографическомъ заведеніи, называемымъ мозгомъ и что врядъ-ли существуетъ портретъ Шарля Блан'а отдѣльно отъ фотографическаго снаряда.

— Это совсѣмъ другое дѣло: матеріально въ моемъ мозгу нѣтъ изображенія моего брата.

— Почемъ вы знаете?

— А вы почемъ?

— По наведенію.

— Кстати: это напоминаетъ мнѣ преуморительный анекдотъ.....

И тутъ, какъ всегда, разсказъ о Дидро или Mme Tencin, очень милый, но вовсе не идущій къ дѣлу.

Въ качествѣ преемника Максимиліана Робеспьера, Луи-Бланъ поклонникъ Руссо и въ холодныхъ отношеніяхъ съ Вольтеромъ. Въ своей исторіи онъ по библейски раздѣлилъ всѣхъ дѣятелей на два стана. Одесную — агницы братства; ошую—козлы алчности и эгоизма. Эгоистамъ, въ родѣ Монтеня, пощады нѣтъ, и ему досталось порядкомъ. Луи-Бланъ

въ этой сортировкѣ ни на чемъ не останавливается, и, встрѣтивъ финансиста Лау, смѣло зачислилъ его по братству, чего конечно отважный шотландецъ никогда не ожидалъ.

Въ 1856 году пріѣзжалъ въ Лондонъ изъ Гаги Барбесъ. Луи-Бланъ привелъ его ко мнѣ. Съ умиленіемъ смотрѣлъ я на страдальца, который провелъ почти всю жизнь въ тюрьмѣ. Я прежде видѣлъ его одинъ разъ, и гдѣ? Въ окнѣ Hôtel de Ville, 15 Мая 1848 г., за нѣсколько минутъ передъ тѣмъ, какъ ворвавшаяся національная гвардія схватила его (*).

Я звалъ ихъ на другой день обѣдать; они пришли и мы просидѣли до поздней ночи.

Прежде чѣмъ мы перейдемъ къ этой дикой, стихійной силѣ, которая мрачно содрагается, скованная людскимъ насиліемъ и собственнымъ невѣжествомъ, и подъ часъ прорывается въ щели и трещины разрушительнымъ огнемъ, наводящимъ ужасъ и смятеніе, — остановимся еще разъ на послѣднихъ тампліерахъ и классикахъ французской революціи; на ученой, образованной, изгнанной, республиканской, журнальной, адвокатской, медицинской, сорбонской, демократической буржуазіи, которая участвовала лѣтъ десять въ борьбѣ съ Людовикомъ Филиппомъ, увлекаясь событіями 1848 года, и осталась имъ вѣрной и дома, и въ изгнаніи.

Въ ихъ рядахъ есть люди умные, острые, люди очень добрые, съ горячей религіей и съ готовностью ей пожертвовать всѣмъ; но понимающихъ людей, людей, которые бы изслѣдовали свое положеніе, свои вопросы такъ, какъ естествоиспытатель изслѣдуетъ явленіе или патологъ болѣзнь, почти вовсе нѣтъ.

(*) До чего доходило остервенѣніе хранителей порядка въ этотъ день, можно измѣрить тѣмъ, что національная гвардія схватила на бульварѣ Луи-Блана, котораго вовсе не слѣдовало арестовать, и котораго полиція тотчасъ велѣла освободить. Видя это, національный гвардеецъ, державшій его, схватилъ его за палецъ, врѣзалъ въ него свои ногти и повернулъ послѣдній суставъ.

Скорѣе полное отчаяніе, презрѣніе къ лицамъ и дѣлу, скорѣе праздность упрековъ и попрековъ, — стоицизмъ, героизмъ, всѣ лишенія, чѣмъ изслѣдованіе. Или такая-же полная вѣра въ успѣхъ, безъ взвѣшиванія средствъ, безъ уясненія практической цѣли. Вмѣсто нея удовлетворялись знаменемъ, заголовкомъ, общимъ мѣстомъ: —право на трудъ, уничтоженіе пролетеріата, республика и порядокъ! братство и солидарность всѣхъ народовъ. Да какъ-же все это устроить, осуществить? Это послѣднее дѣло. Лишь-бы имѣть власть; остальное сдѣлается декретами, плебисцитами. А не будутъ слушаться —Grenadiers, en avant armes! pas de charge... bayonnettes!

И религія террора, coup d'état, централизаціи, военнаго вмѣшательства, сквозитъ въ дыры карманьолы и блузы. Не смотря на доктринерскій протестъ нѣсколькихъ аттическихъ умовъ орлеанской партіи, отъ которыхъ разитъ Англіей на ружейный выстрѣлъ, терроръ былъ величественъ въ своей грозной неожиданности, въ своей неприготовленной, колосальной мести; но останавливаться на немъ съ любовью, но звать его безъ необходимости — страшная ошибка, которой мы обязаны реакціею.

На меня Комитетъ общественнаго спасенія постоянно производилъ то впечатлѣніе, которое я испытывалъ въ магазинѣ Charrière, rue de l'école de Médecine: со всѣхъ сторонъ блестятъ зловѣщимъ блескомъ стали кривыя, прямыя лезвея, ножницы, пилы, оружія вѣроятно спасенія, но навѣрно и боли. Операціи оправдываются успѣхомъ, а терроръ этимъ похвастаться не можетъ. Онъ всей своей хирургіей не спасъ республики. Къ чему была сдѣлана Дантонотомія, къ чему Ебертотомія? Онѣ ускорили лихорадку термидора; а въ ней республика и зачахла; люди все также и еще больше бредили спартанскими добродѣтелями, латинскими сентенціями и латинизмами à la David; бредили до того, что Salus populi въ одинъ прекрасный день перевели

на Salvum fac Imperatorem, и пропѣли его "Соборне", во всемъ архіерейскомъ орнатѣ, въ Нотръ-Дамскомъ соборѣ.

Террористы были люди недюжинные. Суровые, рѣзкіе образы ихъ глубоко выяснились въ пятомъ дѣйствіи и вѣка останутся въ исторіи до тѣхъ поръ, пока у рода человѣческаго не зашибетъ памяти; но нынѣшніе французы-республиканцы на нихъ смотрятъ не такъ; они въ нихъ видятъ образцы и стараются быть кровожадными въ теоріи и въ надеждѣ приложенія.

Повторяя à la Saint-Just натянутыя сентенціи изъ хрестоматій и латинскихъ классовъ, восхищаясь холоднымъ, риторическимъ краснорѣчіемъ Робеспьера, они не допускаютъ, чтобъ ихъ героевъ судили какъ прочихъ смертныхъ. Человѣкъ, который бы сталъ говорить о нихъ, освобождаясь отъ обязательныхъ титуловъ, которые ставятъ всѣмъ нашимъ въ "бозѣ почившимъ", былъ бы обвиненъ въ ренегатствѣ, въ измѣнѣ, въ шпіонствѣ.

Изрѣдка встрѣчалъ я, впрочемъ, людей эксцентричныхъ, сорвавшихся со своей торной, гуртовой дороги.

За то уже французы въ этихъ случаяхъ, закусывая удила и усвоивая себѣ какую нибудь мысль, непринадлежащую къ суммѣ оборотныхъ мыслей и идей, доводятъ эту мысль до того черезъ край, что человѣкъ, подавшій имъ ее, самъ съ ужасомъ отпрядывалъ отъ нихъ.

Въ 1854 году, докторъ Cœurderoi, посылая мнѣ изъ Испаніи свою брошюру, написалъ ко мнѣ письмо. Такой озлобленный крикъ противъ современной Франціи и ея послѣднихъ революціонеровъ—мнѣ рѣдко удавалось слышать. Это былъ отвѣтъ Франціи на легко перенесенный coup d'état; онъ сомнѣвался въ умѣ, въ силѣ, въ крови своей расы; онъ звалъ казаковъ для "поправленія выродившагося народонаселенія". Онъ писалъ ко мнѣ потому, что нашелъ въ моихъ статьяхъ "тожо воззрѣніе". Я отвѣчалъ ему, что до исправительной трансфузіи крови не иду, и послалъ ему du Développement des idées révolutionnaires en Russie.

Cœurderoi не остался въ долгу; онъ отвѣтилъ мнѣ, что возлагаетъ всю надежду на войско Николая, долженствующее разрушить до тла, безъ пощады и сожалѣнія, цивилизацію обвѣтшавшую, испорченную, и которая не имѣетъ силъ ни обновиться, ни умереть своей смертью.

Одно уцѣлѣвшее письмо его прилагаю:

M. A. Herzen.

Santander 27 Mai.

Monsieur,

Que je vous remercie tout d'abord de l'envoi de votre travail sur les idées révolutionnaires et leur développement en Russie. J'avais déjà lu ce livre, mais il ne m'était pas resté entre les mains, et c'était pour moi un très-grand regret.

C'est vous dire combien j'en apprécie la valeur comme fond et comme forme, et combien je le crois utile pour donner conscience à chacun des forces de la Révolution universelle, aux français surtout qui ne la croient possible que par *l'initiative du faubourg St. Antoine.*

Puisque vous m'avez fait l'amitié de m'envoyer votre livre, permettez moi, Monsieur, de vous en témoigner ma gratitude en vous disant ce que j'en pense. Non que j'attache de l'importance à mon opinion, mais pour vous prouver que j'ai lu avec attention.

C'est une belle étude, organique et originale, il y a là véritable vigueur, travail sérieux, vérités nues, passages profondément émouvants. C'est jeune et fort comme la race slave; on sent parfaitement que ce n'est ni un Parisien, ni un Paléologue, ni un Philistre d'Allemagne qui ont écrit des lignes aussi brulantes; ni un républicain constitutionnel, ni un socialiste théocrate et modéré, — mais un Cosaque (vous ne vous effrayez pas de ce nom, n'est-ce pas?) grandement anarchiste, utopiste et poète, acceptant la négation et l'affirmation la plus hardie du XIX siècle. Ce que peu de révolutionnaires français osent faire.

... Sur le point particulier de la Rénovation ethnographique prochaine, j'ai trouvé dans votre livre (surtout dans l'Introduction) bien des passages qui semblent se rapprocher de mon opinion. Quoique vos conclusions ne soient pas très-nettement formulées sur ce point, je crois que vous comptez pour le succès de la Révolution sur la fédération démocratique des races slaves qui donneront à l'Europe l'impulsion générale. Il est bien

entendu que nous ne différons pas pour le but : la Résurrection du Continent sous la forme démocratique et sociale. Mais je crois que le sac de la Civilisation sera fait par l'absolutisme. Là je vois toute la différence entre nous.

Oui, j'ai conçu ces convictions qu'on dit malheureuses, et j'y persiste parce que chaque jour je les trouve plus justes :

1° Que la force a quelque chose à voir dans les affaires de notre microcosme ;

2° Qu'en étudiant la marche des évènements révolutionnaires dans le temps et dans l'espace on se convainct que la force prépare toujours la Révolution que l'idée a démontrée nécessaire ;

3° Que l'idée ne peut pas accomplir l'œuvre de sang et de destruction ;

4° Que le despotisme, au point de vue de la rapidité, de la sureté, de la possibilité d'exécutions, est plus apte que la démocratie à bouleverser un monde ;

5° Que l'armée monarchique russe sera plutôt mise en mouvement que la phalange démocratique slave ;

6° Qu'il n'y a que la Russie en Europe assez compacte encore sous l'absolutisme, assez peu divisée par les intérêts propriétaires et les partis pour faire bloc, coin, massue, glaive, épée et exécuter l'Occident et trancher le nœud gordien.

Là Là Là.

Qu'on me montre une autre force capable d'accomplir une pareille tâche ; qu'on me fasse voir quelque part une armée démocratique toute prête et décidée à frapper sur les peuples, les frères, et à faire couler le sang, à brûler, à abattre sans regarder derrière elle, sans hésiter. Et je changerai de manière de voir.

Avec vous, je voulais seulement bien spécifier la question et la limiter sur ce seul point, *le moyen d'exécution générale de la civilisation Occidentale.*

Je n'ai pas besoin de vous dire que notre appréciation sur le Passé et l'Avenir est la même. Nous ne différons absolument que sur le Présent. Vous, qui avez si bien apprécié le rôle révolutionnaire de Pierre Ier, pourquoi ne pourriez-vous pas penser que tout autre, Nicolas ou l'un de ses successeurs, put avoir un formidable rôle à accomplir? Quelle autre main plus puissante, plus large, plus capable de rassembler des peuples conquérants, voyez-vous à l'Orient? Avant que la démocratie slave ait trouvé un mot d'ordre et traduit le vague secret de ses aspirations, le tzar aura bouleversé l'Europe. Le sort des nations civilisées est dans son bras, s'il le veut. Le monde ne tremble-

t-il pas parce qu'il a parlé un peu plus haut que d'habitude? Je vous l'avoue, cette force me frappe tellement, que je ne puis concevoir qu'on cherche à en voir une autre. Et les révolutionnaires sentent tellement la nécessité d'une dictature pour démolir qu'ils voudraient l'instituer eux mêmes dans le cas de réussite d'une nouvelle Révolution. A mon sens, ils ne se trompent pas sur la nécessité du moyen, seulement il n'est ni dans leur rôle, ni dans leurs principes, ni dans leurs forces de l'employer. Moi j'aime même voir le Despotisme se charger de cette odieuse tâche de fossoyeur.

Cette lettre est déjà bien assez longue. Je voulais seulement préciser avec vous le point débattu. Ce qu'il faudrait maintenant entre nous, je le sens : ce serait une conversation dans laquelle nous avancerions plus en une heure que par milliers de lettres. Je n'abandonne pas cet espoir, et ce jour sera le bien venu pour moi. Avec un homme de Révolution, de travail, de science et d'audace je crois toujours pouvoir m'entendre.

Quant aux sourds ou muets de la tradition révolutionnaire de 93, j'ai grand peur que vous n'en fassiez jamais des socialistes universels et des hommes de liberté. Encore moins des partisans de la Possession, du Droit au travail, de l'Echange et du Contrat. C'est tellement séduisant que de rêver une place de commissaire aux armées ou à la police, ou encore une sinécure de représentant du Peuple avec une belle écharpe rouge autour des reins, comme disait Rabelais, beaux floquarts, beaux rubans, gentil pourpoint, galantes braguettes etc. etc. La plupart de nos révolutionnaires en sont là!

Les hommes ne sont guère plus sages que les enfants, mais beaucoup plus hypocrites. Ils portent des faux cols et des décorations et se croient illustres. Les enfants jouent plus sérieusement aux soldats que les grands monarques et les énormes tribunes que les peuples admirent.

Vous voudrez bien me pardonner de vous avoir écrit sans avoir l'honneur de vous connaître personnellement.

Vous m'excuserez surtout de m'être permis de vous donner sur vos ouvrages une opinion qui n'a d'autre valeur que la sincérité. J'estime d'après mes propres impressions que c'est le moyen le plus efficace pour reconnaître un don, qui vous a fait plaisir. D'ailleurs notre commun exil et nos aspirations semblables me semblent devoir nous épargner à tous deux les vaines formules de politique banale. Je termine en vous résumant mon opinion par ces deux mots : La Force et la Destruction

demain par le tzar, la pensée et l'ordre après demain par les socialistes universels, les Slaves comme les Germano-Latins.

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considération très-distinguée et de mes sympathies.

Ernest CŒURDEROI.

J'espère que vous publierez en volume vos lettres à Linton Esqre que le journal *l'Homme* a données à ses lecteurs.

Pourriez-vous me dire s'il existe des traductions françaises des poésies de Pouchkine, de Lermontoff et surtout de Koltzoff. Ce que vous en dites me fait désirer infiniment de les lire. La personne qui vous remettra cette lettre est mon ami, L. Charre, proscrit comme nous à qui j'ai dédié *Mes jours d'exil.*

БАРТЕЛЕМИ

Прошло два года, Бартелеми снова стоялъ передъ лордомъ Кемпбелемъ, и на этотъ разъ угрюмый старикъ, накрывшись чернымъ клобукомъ, произнесъ надъ нимъ иной приговоръ.

Въ 1854 году Бартелеми еще больше отдалился отъ всѣхъ; вѣчно чѣмъ-то занятый, онъ мало показывался,— готовилъ что-то втиши; люди, жившіе съ нимъ вмѣстѣ, знали не больше другихъ. Я его видалъ изрѣдка; онъ всегда мнѣ показывалъ большое сочувствіе и довѣріе, но ничего особеннаго не говорилъ.

Вдругъ разнесся слухъ о двойномъ убійствѣ: Бартелеми убилъ какого-то мелкаго неизвѣстнаго англійскаго купца и потомъ полицейскаго агента,— который хотѣлъ его арестовать. Объясненія, ключа—никакого, Бартелеми молчалъ передъ судьями, молчалъ въ Нью-Гетѣ. Онъ съ самаго начала признался въ убійствѣ полицейскаго: —за это его можно было приговорить къ смертной казни, а потому онъ остановился на признаніи, — защищая такъ-сказать *свое право* быть повѣшеннымъ за послѣднее преступленіе, не говоря о первомъ.

Вотъ что мы узнали мало-по-малу. Бартелеми собрался ѣхать въ Голландію. Въ дорожномъ платьѣ, съ визированнымъ пассомъ въ карманѣ, съ револьверомъ въ другомъ, въ сопровожденіи женщины, съ которой онъ жилъ, Бартелеми отправился въ десять часовъ вечера къ англичанину, фабриканту содовой воды. Когда онъ постучался, горничная отво-

рила ему дверь; хозяинъ пригласилъ ихъ въ парлоръ и, вслѣдъ за тѣмъ, пошелъ съ Бартелеми въ свою комнату.

Горничная слышала какъ разговоръ становился крупнѣе, какъ онъ перешелъ въ брань; вслѣдъ за тѣмъ ея господинъ отворилъ дверь и пхнулъ Бартелеми; тогда Бартелеми вынулъ изъ кармана пистолетъ и выстрѣлилъ въ него. Купецъ упалъ мертвый. Бартелеми бросился вонъ; испуганная француженка скрылась прежде него и была счастливѣе. Полицейскій агентъ, — слышавшій выстрѣлъ, остановилъ Бартелеми на улицѣ; онъ грозилъ ему пистолетомъ, полицейскій не пускалъ. Бартелеми выстрѣлилъ... На этотъ разъ больше чѣмъ вѣроятно, что онъ не хотѣлъ убить агента, а только постращать его; но, вырывая руку и сжимая другой пистолетъ, на такомъ близкомъ разстояніи, онъ его смертельно ранилъ. Бартелеми пустился бѣжать, но уже полицейскіе его замѣтили, и онъ былъ схваченъ.

Враги Бартелеми, не скрывая радости, говорили, что это былъ просто актъ разбоя, что Бартелеми хотѣлъ ограбить англичанина. Но англичанинъ вовсе не былъ богатъ. Безъ полнаго помѣшательства трудно предположить, чтобъ человѣкъ пошелъ на открытый разбой въ Лондонѣ, въ одномъ изъ населеннѣйшихъ кварталовъ, въ знакомый домъ, часовъ въ десять вечера, съ женщиной: —и все это, чтобъ украсть какихъ-нибудь сто фунтовъ, (что-то такое было найдено въ комодѣ убитаго).

Бартелеми, за нѣсколько мѣсяцевъ до этого, завелъ какую-то мастерскую крашенныхъ стеколъ съ узорами, арабесками и надписями по особому способу. Онъ на привилегію истратилъ фунтовъ до 60; фунтовъ 15 не достало, онъ попросилъ у меня взаймы и очень акуратно отдалъ. Ясно, что тутъ было что-то важнѣе простаго воровства. Внутренняя мысль Бартелеми, его страсть, мономанія остались. Что онъ ѣхалъ въ Голландію только для того, чтобы оттуда пробраться въ Парижъ—это знали многіе.

Едва три-четыре человѣка остановились въ раздумьи передъ этимъ кровавымъ дѣломъ; остальные всѣ испугались и опрокинулись на Бартелеми. Быть повѣшеннымъ въ Англіи не респектабельно; имѣть связи съ человѣкомъ, судимымъ за убійство,—shoking; ближайшіе друзья его отшарахнулись.

Я тогда жилъ въ Твикнемѣ. Прихожу разъ домой вечеромъ, меня ждутъ два рефюжье: "Мы къ вамъ — (говорятъ они) пріѣхали, чтобъ васъ удостовѣрить, что мы ни малѣйшаго участія не имѣли въ страшномъ дѣлѣ Бартелеми; — у насъ была общая работа, мало-ли съ кѣмъ приходится работать. Теперь скажутъ... подумаютъ".....

— Да неужели вы за этимъ пріѣхали изъ Лондона въ Твикнемъ?—спросилъ я.

— Ваше мнѣніе намъ очень дорого.

— Помилуйте, господа; да я самъ былъ знакомъ съ Бартелеми — и хуже васъ, потому что никакой общей работы съ нимъ не имѣлъ; но я не отрекаюсь отъ него. Я не знаю дѣла, судъ и осужденіе предоставляю лорду Кемпбелю, а самъ плачу о томъ, что такая молодая и богатая сила, такой талантъ, такъ воспитался горькой борьбой и средой, въ которой жилъ, что въ пущемъ цвѣтѣ лѣтъ—его жизнь потухаетъ подъ рукою палача.

Поведеніе его въ тюрьмѣ поразило англичанъ: ровное, покойное, печальное безъ отчаянія, твердое безъ jactance. Онъ зналъ, что для него все кончено, и съ тѣмъ-же непоколѣбимымъ спокойствіемъ выслушалъ приговоръ, съ которымъ нѣкогда стоялъ подъ градомъ пуль на баррикадахъ.

Онъ писалъ къ своему отцу и къ дѣвушкѣ, которую любилъ. Письмо къ отцу я читалъ; ни одной фразы, величайшая простота, онъ кротко утѣшаетъ старика, какъ будто рѣчь не о немъ самомъ.

Католическій священникъ, который ex officio ходилъ къ нему въ тюрьму, человѣкъ умный и добрый, принялъ въ немъ большое участіе и даже просилъ Пальмерстона о пере-

нѣнѣ наказанія, но Пальмерстонъ отказалъ. Разговоры его съ Бартелеми были тихи и исполнены гуманности съ обѣихъ сторонъ. Бартелеми писалъ ему: "Много, много благодаренъ я вамъ за ваши добрыя слова, за ваши утѣшенія. Еслибъ я могъ обратиться въ вѣрующаго, то конечно, одни вы могли бы обратить меня; но что-же дѣлать—у меня нѣтъ вѣры!" Послѣ его смерти священникъ писалъ одной знакомой мнѣ дамѣ: "Какой человѣкъ былъ этотъ несчастный Бартелеми! еслибъ онъ дольше прожилъ, можетъ его сердце и раскрылось бы благодати. Я молюсь о его душѣ!"

Тѣмъ болѣе останавливаюсь я на этомъ случаѣ, что Times со злобой разсказалъ насмѣшку Бартелеми надъ шерифомъ.

За нѣсколько часовъ до казни, одинъ изъ шерифовъ, —узнавъ, что Бартелеми отказался отъ духовной помощи, счелъ себя обязаннымъ обратить его на путь спасенія и началъ ему пороть ту піэтическую дичь, которую печатаютъ въ англійскихъ грошевыхъ трактатахъ,—раздаваемыхъ даромъ на перекресткахъ. Бартелеми надоѣло увѣщаніе шерифа. Апостолъ съ золотой цѣпью замѣтилъ это и, принявъ торжественный видъ, сказалъ ему: "Подумайте, молодой человѣкъ, черезъ нѣсколько часовъ, вы будете не мнѣ отвѣчать, а Богу".

— А какъ вы думаете,—спросилъ его Бартелеми,—Богъ говоритъ по французски или нѣтъ?—Иначе я не могу ему отвѣчать.

Шерифъ поблѣднѣлъ отъ негодованія, и блѣдность и негодованіе дошли до параднаго ложа всѣхъ шерифскихъ, мерскихъ, алдерманскихъ вздоховъ и улыбокъ: — до огромныхъ листовъ "Теймса".

Но не одинъ апостольствующій шерифъ мѣшалъ Бартелеми умереть въ томъ серьезномъ и нервно поднятомъ состояніи, котораго онъ искалъ, которое такъ естественно искать въ послѣдніе часы жизни.

Приговоръ былъ прочтенъ. Бартелеми замѣтилъ кому-то изъ друзей, что, уже если нужно умереть,—онъ предпочелъ бы тихо, безъ свидѣтелей, потухнуть въ тюрьмѣ, чѣмъ всенародно, на площади, погибнуть отъ руки палача.—"Ничего нѣтъ легче: завтра, послѣ завтра, я тебѣ принесу стрихнина". Мало одного,—двое взялись за дѣло. Онъ тогда уже содержался какъ осужденный, т. е. очень строго;—тѣмъ не меньше, черезъ нѣсколько дней, друзья достали стрихнинъ и передали ему въ бѣльѣ. Оставалось убѣдиться, что онъ нашелъ. Убѣдились и въ этомъ...

Боясь отвѣтственности, одинъ изъ нихъ, на котораго могло пасть подозрѣніе, хотѣлъ на время покинуть Англію. Онъ попросилъ у меня нѣсколько фунтовъ на дорогу; я былъ согласенъ ихъ дать. Что кажется проще этого? но я разскажу это ничтожное дѣло для того, чтобъ показать, какимъ образомъ всѣ тайные заговоры французовъ открываются,—какимъ образомъ у нихъ во всякомъ дѣлѣ, любовью къ роскошной mise en scène, бездна постороннихъ лицъ компрометируется.

Вечеромъ въ воскресенье у меня были по обыкновенію нѣсколько человѣкъ: польскихъ, итальянскихъ и другихъ рефюжье. Въ этотъ день были и дамы. Мы очень поздно сѣли обѣдать: часовъ въ восемь. Часовъ въ девять вошелъ одинъ близкій знакомый. Онъ ходилъ ко мнѣ часто, и потому его появленіе не могло броситься въ глаза; но онъ такъ ясно выразилъ всѣмъ лицемъ: "Я умалчиваю!", что гости переглянулись.

— Не хотите-ли чего нибудь съѣсть, или рюмку вина?—спросилъ я.

— Нѣтъ,—сказалъ, опускаясь на стулъ, сосудъ, отяжелѣвшій отъ тайны.

Послѣ обѣда онъ при всѣхъ вызвалъ меня въ другую комнату и, сказавши что Бартелеми досталъ ядъ (новость которую я уже слышалъ),—передалъ мнѣ просьбу о ссудѣ деньгами отъѣзжающаго.

— Съ большимъ удовольствіемъ, я сейчасъ принесу,— сказалъ я.

— Нѣтъ, я ночую въ Твикнемѣ и завтра утромъ еще увижусь съ вами. Мнѣ не нужно вамъ говорить, — васъ просить, чтобъ ни одинъ человѣкъ.....

Я улыбнулся.

Когда я вошелъ опять въ столовую, одна молодая дѣвушка спросила меня: "Вѣрно онъ говорилъ о Бартелеми?"...

На другой день, часовъ въ восемь утра, вошелъ Франсуа и сказалъ, что какой-то французъ, котораго онъ прежде не видѣлъ, требуетъ непремѣнно меня видѣть.

Это былъ тотъ самый пріятель Бартелеми, который хотѣлъ незамѣтно уѣхать. Я набросилъ на себя пальто и вышелъ въ садъ, гдѣ онъ меня дожидался. Тамъ я встрѣтилъ болѣзненнаго, ужасно исхудалаго, черноволосаго француза (я послѣ узналъ, что онъ годы сидѣлъ въ Бель-Илѣ и потомъ à la lettre умиралъ съ голоду въ Лондонѣ). На немъ было потертое пальто, на которое-бы никто не обратилъ вниманія; но дорожный картузъ и большой дорожный шарфъ, обмотанный во кругъ шеи, невольно остановили бы на себѣ глаза въ Москвѣ, въ Парижѣ, въ Неаполѣ.

— Что случилось?

— Былъ у васъ такой-то?

— Онъ и теперь здѣсь.

— Говорилъ о деньгахъ?

— Это все кончено — деньги готовы.

— Я право очень благодаренъ.

— Когда вы ѣдете?

— Сегодня или завтра.

Къ концу разговора подоспѣлъ и нашъ общій знакомый. Когда путешественникъ ушелъ: "Скажите пожалуйста зачѣмъ онъ пріѣзжалъ?" — спросилъ я, оставшись съ нимъ на единѣ.

— За деньгами.

— Да вѣдь вы могли ему отдать.

— Это правда, но ему хотѣлось съ вами познакомиться; онъ спрашивалъ меня пріятно-ли вамъ будетъ,—что-же мнѣ было сказать?

— Безъ сомнѣнія очень; только я не знаю, хорошо-ли онъ выбралъ время.

— А развѣ онъ вамъ помѣшалъ.

— Нѣтъ; а какъ-бы полиція ему не помѣшала выѣхать...

По счастью этого не случилось. Въ то время, какъ онъ уѣзжалъ, его товарищъ усомнился въ ядѣ, который они доставили; подумалъ—подумалъ и далъ остатокъ его собакѣ. Прошелъ день, собака жива; прошелъ другой,—жива. Тогда, испуганный, онъ бросился въ Нью-Гетъ, добился свиданья съ Бартелеми черезъ рѣшетку и, улучшивъ минуту, шепнулъ ему. "У тебя?" — "Да, да,!" "Вотъ видишь, — у меня большое сомнѣніе. Ты лучше не принимай: я пробывалъ надъ собакой,—никакого дѣйствія не было!"

Бартелеми опустилъ голову—и потомъ, поднявши ее съ глазами полными слезъ, сказалъ: "Что-же вы это надо мной дѣлаете!"

— Мы достанемъ другаго.

— Не надобно,—отвѣтилъ Бартелеми,—пусть совершится судьба.

И съ той минуты сталъ готовиться къ смерти, не думалъ объ ядѣ и писалъ какой-то мемуаръ, котораго не выдали послѣ его смерти другу, которому онъ его завѣщалъ (тому самому, который уѣзжалъ).

Девятнадцатаго Января, въ субботу, мы узнали о посѣщеніи священникомъ Пальмерстона и его отказъ.

Тяжелое воскресенье слѣдовало за этимъ днемъ. Мрачно разошлась не большая кучка гостей. Я остался одинъ. Легъ спать, уснулъ и тотчасъ проснулся. И такъ черезъ 7,—6, — 5, часовъ, его, исполненнаго силы, молодости, страстей, совершенно здороваго,—выведутъ на площадь и убьютъ,—

безъ жалости убьютъ, безъ удовольствія и озлобленія, а еще съ какимъ-то фарисейскимъ состраданіемъ!... На церковной башнѣ начало бить семь часовъ. Теперь двинулось шествіе, и Калькрафтъ на лицо. Послужили-ли бѣдному Бартелеми его стальные нервы? у меня стучалъ зубъ объ зубъ.

Въ 11 утра взошелъ Д.

— Кончено? спросилъ я.

— Кончено.

— Вы были?

— Былъ.

— Остальное досказалъ Times.

Противъ статьи "Тэймсъ", Аббатъ Roux напечаталъ

The murderer Barthelemy.

Когда все было готово, — разсказываетъ Times, — онъ попросилъ письмо той дѣвушки, къ которой писалъ и, помнится, локонъ ея волосъ или какой-то сувениръ, онъ сжалъ ихъ въ рукѣ, когда палачъ подошелъ къ нему... ихъ, сжатыми въ его окоченѣлыхъ пальцахъ нашли помощники палача, пришедшіе снять его тѣло съ висѣлицы. "Человѣческая справедливость — какъ говоритъ "Тэймсъ", — была удовлетворена!" Я думаю,—да этого и діавольской не показалось-бы мало!

Тутъ-бы и остановиться. Но пусть-же въ моемъ разсказѣ, какъ было въ самой жизни, останутся слѣды богатырской поступи возлѣ ступней ослиныхъ и свиныхъ копытъ.

Когда Бартелеми былъ схваченъ, у него не было достаточно денегъ, чтобъ платить солиситеру; да ему и не хотѣлось нанимать его. Явился какой-то неизвѣстный адвокатъ Герингъ, предложившій ему защищать его, явнымъ образомъ, чтобъ сдѣлать себя извѣстнымъ. Защищалъ онъ слабо;—но не надобно забывать, задача была необыкновенно трудна; Бартелеми молчалъ и не хотѣлъ, чтобъ Герингъ говорилъ

о главномъ дѣлѣ. Какъ-бы то ни было, Герингъ возился, терялъ время, хлопоталъ. Когда казнь была назначена, Герингъ пришелъ въ тюрьму проститься; Бартелеми былъ тронутъ, благодарилъ его и, между прочимъ, сказалъ ему: "У меня ничего нѣтъ, я не могу вознаградить вашъ трудъ ничѣмъ, кромѣ моей благодарности. Хотѣлъ бы я вамъ по крайней мѣрѣ оставить что-нибудь на память, да ничего у меня нѣтъ, чтобъ я могъ вамъ предложить. Развѣ мое пальто?

— Я вамъ буду очень, очень благодаренъ, я хотѣлъ его у васъ просить.

— Съ величайшимъ удовольствіемъ,—сказалъ Бартелеми: но оно плохо...

— О, я его не буду носить; признаюсь вамъ откровенно, я уже запродалъ его, и очень хорошо.

— Какъ запродали?— спросилъ удивленный Бартелеми.

— Да, Madame Туссо, для ея особой галлереи.

Бартелеми содрогнулся.

Когда его вели на казнь, онъ вдругъ вспомнилъ и сказалъ шерифу: "Ахъ, я совсѣмъ было забылъ попросить, чтобъ мое пальто никакъ не отдавали Герингу!"

С. ВОРЦЕЛЬ

Давно накипавшее неудовольствіе противъ централизаціи въ молодой части демократической эмиграціи, подняло голосъ. Голосъ обвиняющій Ворцеля. Онъ обомлѣлъ : этой раны онъ не ждалъ, и она пришла совершенно естественно. Былъ-ли онъ виноватъ и на сколько—мы сейчасъ увидимъ.

Небольшая кучка людей, близко окружавшихъ Ворцеля и изъ числа которыхъ были избраны почти всѣ члены централизаціи, далеко не имѣла одного уровня съ нимъ, Ворцель понималъ это, и постоянно находился подъ ихъ вліяніемъ. Этому странному явленію способствовало многое : снисхожденіе человѣка сильнаго къ слабымъ, но благонамѣреннымъ людямъ; желаніе сохранить около себя цѣлую партію, цѣною по видимому неважныхъ уступокъ; наконецъ физическая слабость и его астмъ; ему говорить было трудно, поднимать голосъ онъ не могъ; а тѣ не привыкли его понижать и, въ случаѣ возраженій, такъ кричали, что Ворцель отказывался отъ своего мнѣнія, чтобъ опомниться отъ крика. Привыкнувъ къ своему жиденькому хору, онъ воображалъ, что ведетъ его, въ то время какъ хоръ, стоя сзади, направлялъ его куда хотѣлъ. Только старикъ подымался на ту высь, въ которой ему было свободно дышать, въ которой ему было естественно, хоръ, исполняя должность мѣщанской родни, какъ гиря, стягивалъ его въ низменную сферу эмиграціонныхъ дрязгъ и мелочныхъ разсчетовъ; бѣдный Ворцель задыхался въ этой средѣ столько-же отъ духовнаго астма, сколько отъ физическаго.

Люди не поняли серьезнаго смысла того союза, который я предлагалъ. Они въ немъ видѣли средство придать новый колоритъ дѣлу; вѣчная таутологія общихъ мѣстъ, патріотическія фразы, казенныя воспоминанія — все это пріѣлось, наскучило. Соединеніе съ русскимъ давало новый интересъ. Ктому-же они думали поправить свои дѣла, очень разстроенныя, на счетъ русской пропаганды.

Съ самаго начала между мной и членами централизаціи не было настоящаго пониманья. Недовѣрчивые ко всему русскому, они хотѣли, чтобъ я написалъ и напечаталъ нѣчто въ родѣ profession de foi. Я написалъ : "Поляки прощаютъ насъ". Они просили измѣнить кой-какія выраженія. Я это сдѣлалъ, хотя далеко не былъ согласенъ съ ними. Въ отвѣтъ на мою статью, Л. З. написалъ воззваніе къ Русскимъ и прислалъ мнѣ его въ рукописи. Ни тѣни новой мысли; тѣже фразы, тѣже воспоминанія, и притомъ католическія выходки. Прежде чѣмъ переводить на русскій языкъ, я показалъ Ворцелю нелѣпости редакціи. Ворцель былъ согласенъ и пригласилъ меня вечеромъ объяснить дѣло членамъ централизаціи. Тутъ произошла вѣчная сцена Трисотина и Вадіуса : именно тѣ мѣста, на которыя я указывалъ, онѣ-то и были необходимы для того, чтобъ "Польша не сгинэла". На счетъ католическихъ фразъ, они сказали, что,—каковы-бы ни были ихъ личныя вѣрованія,—они хотятъ быть съ народомъ; а народъ горячо любитъ свою гонимую мать, латинскую церковь.

Ворцель поддерживалъ меня. Но, какъ только онъ начиналъ говорить, его товарищи принимались кричать. Ворцель кашлялъ отъ табачнаго дыма и ничего не могъ сдѣлать. Онъ обѣщалъ мнѣ переговорить съ ними потомъ и настоять на главныхъ поправкахъ. Черезъ недѣлю вышелъ "Демократъ Польскій". Въ возваніи не было перемѣнено ни одной іоты; я отказался отъ перевода. Ворцель говорилъ мнѣ, что и онъ былъ удивленъ этой продѣлкой. "Этого мало,

что вы удивились, зачѣмъ вы не остановили" — замѣтилъ я ему.

Для меня было очевидно, что, рано или поздно, вопросъ станетъ для Ворцеля такъ: разорвать съ тогдашними членами централизаціи и остаться въ близкомъ отношеніи со мной, или разорвать со мной и остаться по прежнему со своими революціонными недорослями..... Ворцель выбралъ послѣднее; я былъ огорченъ этимъ, но никогда не сѣтовалъ на него и не сердился.

Здѣсь я долженъ буду войти въ печальныя подробности. Когда я завелъ типографію, у насъ было рѣшено такъ: всѣ расходы книгопечатанія (бумага, наборъ, наемъ мѣста, работа и проч.) падали на мой счетъ. Централизиція брала на свой счетъ пересылку русскихъ листовъ и брошюръ тѣми путями, которыми она пересылала польскія брошюры. Все, что они брали для пересылки, я имъ давалъ безденежно. Казалось, что моя львиная часть была хороша; но вышло что и она была мала.

Для своихъ дѣлъ, и преимущественно для собранія денегъ, централизація рѣшила послать въ Польшу эмиссара. Хотѣли даже, чтобъ онъ пробрался въ Кіевъ, а если можно —въ Москву, для русской пропаганды, и просили отъ меня писемъ. Я отказалъ, боясь надѣлать бѣдъ. Дня за три до его отправленія, вечеромъ, встрѣтилъ я на улицѣ З., который тотчасъ меня спросилъ: Вы сколько даете на посылку эмиссара со своей стороны?

Вопросъ показался мнѣ страннымъ; но, зная ихъ стѣсненное положеніе, я сказалъ, что пожалуй дамъ фунтовъ десять (250 фр.).

— Да что вы, шутите, что-ли? — спросилъ морщась З. — Ему надобно по меньшей мѣрѣ шестьдесятъ фунтовъ, а у насъ фунтовъ сорокъ не достаетъ. Этого такъ оставить нельзя, я поговорю съ нашими и приду къ вамъ.

Дѣйствительно, на другой день онъ пришелъ съ Ворце-

лемъ и двумя членами централизаціи. На этотъ разъ З. меня просто обвинилъ въ томъ, что я не хочу дать достаточно денегъ на посылку эмиссара, а согласенъ ему дать русскіе печатные листы.

— Помилуйте,—отвѣчалъ я,—вы рѣшились послать эмиссара, вы находите это необходимымъ; трата падаетъ на васъ. Ворцель на лицо, пусть онъ вамъ напомнитъ условія.

— Что тутъ толковать о вздорѣ : развѣ вы не знали, что у насъ теперь гроша нѣтъ.

Тонъ этотъ мнѣ наконецъ надоѣлъ.

— Вы,—сказалъ я, кажется не читали "Мертвыя Души"; а то бы я вамъ напомнилъ Ноздрева, который, показывая Чичикову границу своего имѣнья, замѣтилъ, что и съ той и съ другой стороны земля его. Это очень сбиваетъ на нашъ дѣлежъ : мы дѣлили работу нашу и тягу пополамъ на томъ условіи, чтобъ обѣ половины лежали на моихъ плечахъ.

Маленькій, желчный литвинъ началъ выходить изъ себя, кричать о гонорѣ и заключилъ нелѣпую и невѣжливую рѣчь вопросомъ : "Чего-же вы хотите?"

— Того, чтобъ вы меня не принимали ни за bailleur de fonds, ни за демократическаго банкира, какъ меня назвалъ одинъ нѣмецъ въ своей брошюрѣ. Вы слишкомъ оцѣнили мои средства, и, кажется, слишкомъ мало меня; вы ошиблись...

— Да позвольте, да позвольте—горячился блѣдный отъ ярости литвинъ.

— Я не могу дозволить продолженія этого разговора,— сказалъ наконецъ Ворцель, мрачно сидѣвшій въ углу и вставая : — или продолжайте его безъ меня. Cher Herzen, вы правы; но подумайте объ нашемъ положеніи : эмиссара послать необходимо, а средствъ нѣтъ.

Я остановилъ его. "Въ такомъ случаѣ можно было меня спросить : могу-ли я что нибудь сдѣлать, но нельзя было

требовать; а требовать въ этой грубой формѣ просто гадко. Деньги я дамъ; дѣлаю это единственно для васъ и, даю вамъ честное слово—господа, въ послѣній разъ".

Я вручилъ Ворцелю деньги, и всѣ мрачно разошлись.

Эмиссаръ поѣхалъ и пріѣхалъ назадъ, ничего не сдѣлавши. Война приближалась, началась. Эмиграція была недовольна; молодые эмигранты винили товарищей Ворцеля въ неспособности, лѣни, въ желаніи устроить свои дѣлишки вмѣсто польскихъ дѣлъ. Неудовольствіе ихъ дошло до явнаго ропота; они поговаривали объ отчетѣ, котораго хотѣли требовать отъ членовъ централизаціи, объ открытомъ заявленіи недовѣрія. Ихъ останавливало и удерживало одно — уваженіе и любовь къ Ворцелю. Сколько могъ, я, черезъ Ч., поддерживалъ это; но ошибка за ошибкой централизаціи должны были наконецъ вывести изъ терпѣнія хоть кого.

Въ Ноябрѣ 1854 былъ снова польскій митингъ; но уже совсѣмъ въ другомъ духѣ, чѣмъ въ прошломъ году. Предсѣдателемъ былъ избранъ членъ парламента, Жозуа Вомслей. Поляки ставили свое дѣло подъ англійскій патронажъ. Въ предупрежденіе слишкомъ красныхъ рѣчей, Ворцель написалъ кое къ кому записки въ родѣ полученной мною: "Вы знаете, что 29-го у насъ митингъ; не можемъ пригласить васъ и въ этотъ разъ, какъ въ прошлый, сказать намъ нѣсколько сочувственныхъ словъ: война и необходимость сближенія съ англичанами заставляютъ насъ дать митингу иной цвѣтъ. Не Герценъ, не Ледрю- Ролленъ и Пьянчани будутъ говорить, а большей частью англичане; изъ нашихъ же одинъ Кошутъ возьметъ рѣчь, чтобы изложить положеніе дѣлъ и пр.".

Я отвѣчалъ, "что приглашеніе не говорить на митингѣ я получилъ, и съ тѣмъ большей охотой его принимаю, что оно очень легко".

Сближеніе съ англичанами не состоялось; уступки были сдѣланы напрасно; даже подписка шла плохо. Ж. Вомслей

сказалъ, что онъ готовъ дать денегъ, но не хочетъ подписать своего имени, не желая, какъ членъ парламента, оффиціально участвовать въ сборѣ, цѣль котораго не признана правительствомъ.

Все это, и между прочимъ мое отдѣленіе отъ митинга, довело раздраженіе молодыхъ людей до крайней степени; у нихъ уже ходилъ по рукамъ обвинительный актъ. Какъ нарочно въ тоже время я долженъ былъ перевести русскую типографію въ другое мѣсто. З., нанимавшій на свое имя домъ, въ которомъ помѣщалась она, вмѣстѣ съ польской типографіей, былъ кругомъ въ долгахъ; два раза уже являлись брокеры; всякій день можно было ждать, что типографію захватятъ вмѣстѣ съ другой мебелью. Я поручилъ Ч. ее перевезти; З. упирался, не хотѣлъ выдать буквъ и принадлежностей; я написалъ ему холодную записку. Въ отвѣтъ на нее, на другой день, пріѣхалъ больной и разстроенный Ворцель ко мнѣ въ Ричмондъ.

— Вы намъ наносите le coup de grâce; въ то самое время, какъ у насъ идетъ такая усобица, вы переводите типографію.

— Увѣряю васъ, что тутъ никакихъ нѣтъ политическихъ причинъ, ни ссоръ, ни демонстраціи; а очень просто: я боюсь, что опишутъ все у З. Отвѣчаете-ли вы мнѣ, что этого не будетъ; я на ваше честное слово положусь и типографію оставлю.

— Дѣла его очень запутаны, это правда.

— Какъ-же вы хотите, чтобъ я рисковалъ моимъ единственнымъ орудіемъ. Если даже я потомъ и выкуплю, чего будетъ стоить одна потеря времени? вы знаете какъ это здѣсь дѣлается.

Ворцель молчалъ.

— Вотъ-что я могу сдѣлать для васъ; я напишу письмо, въ которомъ скажу, что хозяйственныя распоряженія заставляютъ меня перевезти типографію, но что это не только

не значитъ, что мы расходимся, но, напротивъ, что у насъ вмѣсто одной, будутъ двѣ типографіи; письмо это вы можете напечатать, ежели желаете, или показать кому угодно.

Дѣйствительно, я въ этомъ смыслѣ и написалъ письмо на имя Ж., забитаго члена централизаціи, завѣдывавшаго ея матеріальной частью.

Ворцель остался обѣдать; послѣ обѣда я уговорилъ его переночевать въ Ричмондѣ; вечеромъ мы сидѣли съ нимъ вдвоемъ передъ каминомъ. Онъ былъ очень печаленъ, ясно понимая какихъ ошибокъ онъ надѣлалъ, какъ всѣ уступки не повели ни къ чему, кромѣ внутренняго распаденія; наконецъ, какъ агитація, которую онъ дѣлалъ съ Кошутомъ, пропадала безслѣдно; а фономъ всей черной картины — убійственный покой Польши.

Осенью 1856 Ворцелю совѣтовали ѣхать въ Ниццу и сначала пожить на теплыхъ закраинахъ Женевскаго озера. Услышавъ это, я ему предложилъ деньги, нужныя на путь. Онъ принялъ, и это насъ снова сблизило; мы опять стали чаще видаться. Но собирался онъ въ путь тихо; Лондонская зима сырая, съ продымленнымъ, давящимъ туманомъ, вѣчной сыростью и страшными сѣверовосточными вѣтрами, начиналась. Я торопилъ его, но у него уже развивался какой-то инстиктивный страхъ отъ перемѣны, отъ движенья. Онъ боялся одиночества. Я ему предлогалъ взять съ собою кого-нибудь до Женевы; тамъ я его передалъ-бы Карлу Фогту.

Онъ все принималъ, со всѣмъ соглашался, но ничего не дѣлалъ. Жилъ онъ ниже rez de chaussée; у него въ комнатѣ почти никогда не было свѣтло. Тамъ-то, въ астмѣ, безъ воздуха, дыша каменнымъ углемъ, онъ потухалъ.

П. Тэйлоръ велѣлъ хозяйкѣ дома всякую недѣлю посылать къ нему счетъ за квартиру, столъ и прачку : этотъ счетъ онъ платилъ, но “ на руки” ему не давалъ ни одного фунта.

Ѣхать онъ рѣшительно опоздалъ; я ему предложилъ нанять для него хорошую комнату въ Brompton Consumption hospital.

— Да, это было-бы хорошо, но нельзя. Помилуйте, это страшная даль отсюда.

— Ну такъ что-же?

— Ж. живетъ здѣсь, и всѣ дѣла наши здѣсь; а онъ должень каждое утро приходить ко мнѣ съ дневнымъ отчетомъ!

Тутъ самоотверженіе граничило съ сумасшествіемъ.

Со смертью Ворцеля, демократическая партія Польской эмиграціи въ Лондонѣ обмельчала. Имъ, его изящной, его почтенной личностью, она держалась. Вообще радикальная партія распалась на мелкія партіи, почти враждебныя. Годичные митинги въ разбивку стали бѣдны числомъ и интересомъ: вѣчная панихида, перечень старыхъ и новыхъ потерь и, какъ всегда въ панихидахъ, чаяніе воскресенія мертвыхъ и жизни будущаго вѣка, вѣра во второе пришествіе Бонапарта и въ преображеніе Рѣчи-посполитой.

Два-три благородныхъ старца остались величественными и скорбными памятниками; какъ тѣ длиннобородые, сѣдые израильтяне, которые плачутъ у стѣнъ Іерусалимскихъ, они, не какъ вожди, указываютъ путь впередъ, а какъ иноки, могилу; они останавливаютъ насъ своимъ Sta viator!

Между ними лучшій изъ лучшихъ, сохранившій въ дряхломъ тѣлѣ молодое сердце и юный, кроткій, дѣтски чистый голубой взглядъ. Одна нога его уже въ гробѣ; скоро уйдетъ онъ, скоро и противникъ его, Адамъ Чарторижскій.

Ужъ не въ самомъ-ли дѣлѣ это finis Poloniæ?

..... Прежде чѣмъ мы совсѣмъ оставимъ трогательную и симпатичную личность Ворцеля на холодномъ Гай-Гетовскомъ кладбищѣ, я хочу разсказать нѣсколько мелочей о немъ. Такъ люди, идущіе съ похоронъ, пріостанавливая скорбь, разсказываютъ разныя подробности о покойномъ.

Ворцель былъ очень разсѣянъ въ маленькихъ житейскихъ дѣлахъ; послѣ него всегда оставались очки, ихъ чехолъ, платокъ, табакерка; за то, если близко него лежалъ не его платокъ, онъ его клалъ въ карманъ; онъ приходилъ иногда съ тремя перчатками, иногда съ одной.

Прежде чѣмъ онъ переѣхалъ въ Hunter street, онъ жилъ возлѣ, въ полукругѣ небольшихъ домовъ Burton Crescent, 43, недалеко отъ Нью-Родъ. На англійскій манеръ, всѣ дома полукруга были одинакіе. Домъ, въ которомъ жилъ Ворцель, былъ пятый съ края, и онъ всякій разъ, зная свою разсѣянность, считалъ двери. Возвращаясь какъ-то съ противуположной стороны полулунія, Ворцель постучалъ и, когда ему отперли, вошелъ въ свою комнату. Изъ нея вышла какая-то дѣвушка, вѣроятно хозяйская дочь. Ворцель сѣлъ отдохнуть къ потухавшему камину. За нимъ кто-то раза два кашлянулъ: — на креслахъ сидѣлъ незнакомый человѣкъ. "Извините, — сказалъ Ворцель, — вы вѣрно меня ждали?"

— Позвольте,—замѣтилъ англичанинъ,—прежде чѣмъ я отвѣчу, узнать, съ кѣмъ я имѣю честь говорить?

— Я Ворцель.

— Не имѣю удовольствія знать; что-же вамъ угодно?

Тутъ вдругъ Ворцеля поразила мысль, что онъ не туда попалъ; оглядѣвшись, онъ увидѣлъ, что мебель и все прочее не его. Онъ разсказалъ англичанину свою бѣду и, извиняясь, отправился въ пятый домъ съ другой стороны. По счастію англичанинъ былъ очень учтивый человѣкъ, что не очень обыкновенный плодъ въ Лондонѣ.

Мѣсяца черезъ три таже исторія. На этотъ разъ, когда онъ постучалъ, горничная, отворившая дверь, видя почтеннаго старика, просила его взойти прямо въ парлоръ; тамъ англичанинъ ужиналъ со своей женой. Увидя входящаго Ворцеля, онъ весело протянулъ ему руку и сказалъ: "Это не здѣсь, вы живете въ 43".

При этой разсѣянности, Ворцель сохранилъ до конца жизни необыкновенную память; я въ немъ справлялся какъ въ лексиконѣ или энциклопедіи. Онъ читалъ все на свѣтѣ, занимался всѣмъ : механикой и астрономіей, естественными науками и исторіей. Не имѣя никакихъ католическихъ предразсудковъ, онъ, по старому pli польскаго ума, вѣрилъ въ какой-то духовный міръ, неопредѣленный, ненужный, невозможный, но отдѣльный отъ міра матеріальнаго. Это не религія Моисея, Авраама и Исаака, а религія Жанъ-Жака, Жоржъ-Сандъ, Пьера-Леру, Маццини и пр. Но Ворцель имѣлъ меньше ихъ всѣхъ правъ на нее.

Когда его астмъ не очень мучилъ и на душѣ было не очень темно, Ворцель былъ очень любезенъ въ обществѣ. Онъ превосходно разсказывалъ, и особенно воспоминанія изъ стараго панскаго быта; этихъ разсказовъ я заслушивался. Міръ пана Тадеуша, міръ Мурделіо — проходилъ передъ глазами; міръ, о кончинѣ котораго не жалѣешь; напротивъ, радуешься, но которому невозможно отказать въ какой-то яркой, необузданной поэзіи, вовсе недостающей нашему барскому быту. Намъ въ сущности такъ не свойственна западная аристократія, что всѣ разсказы о нашихъ тузахъ, сводятся на дикую роскошь, на пиры на цѣлый городъ, на безчисленныя дворни, на тиранство крестьянъ и мелкихъ сосѣдей, съ рабскимъ подобострастіемъ передъ императоромъ и дворомъ. Шереметьевы и Голицыны, со всѣми ихъ дворцами и помѣстьями, ничѣмъ не отличались отъ своихъ крестьянъ, кромѣ нѣмецкаго кафтана, французской грамоты, царской милости и богатства. Всѣ они безпрерывно подтверждали изрѣченіе Павла, что у него только и есть высокопоставленные люди : это тѣ, съ которыми онъ говоритъ и пока говоритъ. Все это очень хорошо, но надобно это знать. Что можетъ быть жалче et moins aristocratique, какъ послѣдній представитель русскаго барства и вельможничества видѣнный мною, князь Сергій Михайловичъ Голицынъ, — и что отвратительнѣе какого нибудь Измайлова.

Замашки польскихъ пановъ были скверны, дики, почти непонятны теперь; но діаметръ другой, но другой закалъ личности, и ни тѣни холопства.

— Знаете вы, — спросилъ меня разъ Ворцель,—отчего называется passage Radzivill въ Пале-Роялѣ?

— Нѣтъ.

— Вы помните знаменитаго Радзивилла, пріятеля Регента, который проѣхалъ на своихъ изъ Варшавы въ Парижъ, и для всякаго ночлега покупалъ домъ; количество вина, которое выпивалъ Радзивиллъ, покорило ему разслабленнаго хозяина; Герцогъ такъ привыкъ къ нему, что, видаясь всякій день, посылалъ еще по утрамъ къ нему записки. Занадобилось какъ-то Радзивиллу что-то сообщить Регенту. Онъ послалъ хлопца къ нему съ письмами. Хлопецъ искалъ — искалъ, не нашелъ и принесъ повинную голову. Дуракъ, — сказалъ ему панъ — поди сюда, смотри въ окно: видишь этотъ большой домъ? (Пале-Рояль).—Вижу.—Ну, тамъ живетъ первый здѣшній панъ, каждый тебѣ укажетъ. Пошелъ хлопецъ, искалъ — искалъ, не можетъ найти.

Дѣло было въ томъ, что дома отгораживали дворецъ и надобно было сдѣлать обходъ по St.-Honoré.

— Фу, какая скука,—сказалъ панъ,—велите моему повѣренному скунить дома между моимъ дворцемъ и Пале-Роялемъ, да и сдѣлайте улицу, чтобъ дуракъ этотъ не путалъ, когда я опять его пошлю къ Регенту.....

Какъ вообще дѣлались финансовыя операціи въ нашемъ мірѣ, я покажу еще на одномъ примѣрѣ.

Послѣ моего пріѣзда въ Лондонъ въ 1852, говоря о плохомъ состояніи итальянской кассы съ Маццини, я сообщилъ ему, что въ Генуѣ я предлогалъ его друзьямъ завести свою income tax, и платить — безсемейнымъ процентовъ десять, семейнымъ меньше.

— Пріймутъ всѣ, — замѣтилъ Маццини, — а заплатятъ весьма немногіе.

— Стыдно будетъ, заплатятъ. Я давно хотѣлъ внести свою лепту въ итальянское дѣло; мнѣ оно близко, какъ родное; я дамъ десять процентовъ съ дохода единовременно. Это составитъ около двухсотъ фунтовъ. Вотъ сто сорокъ фунтовъ, а шестьдесятъ останутся за мной.

... Въ 1853 году, Маццини исчезъ. Вскорѣ послѣ его отъѣзда явились ко мнѣ два породистыхъ рефюжье; одинъ въ шинели съ мѣховымъ воротникомъ, потому что онъ десять лѣтъ тому назадъ былъ въ Петербургѣ; другой безъ воротника, но съ сѣдыми усами и военной бородкой. Они пришли съ порученіемъ отъ Ледрю-Роллена, онъ хотѣлъ знать, не намѣренъ-ли я прислать какую-нибудь сумму денегъ въ Европейскій Комитетъ? Я признался, что не намѣренъ

Нѣсколько дней спустя тотъ-же вопросъ былъ мнѣ сдѣланъ Ворцелемъ.

— Съ чего это взялъ Ледрю-Ролленъ?

— Да вѣдь дали-же вы Маццини.

— Это скорѣе резонъ не давать никому другому.

— Кажется за вами остались шестьдесятъ фунтовъ?

— Обѣщанные Маццини.

— Это все равно.

— Я не думаю.

..... Прошла недѣля; я получилъ письмо отъ Маццолетти, въ которомъ онъ увѣдомлялъ меня, что до его свѣденія дошло, что я не знаю, кому доставить шестьдесятъ фунтовъ, оставшіеся за мной; въ силу чего онъ проситъ переслать ихъ ему, какъ представителю Маццини въ Лондонѣ.

Маццолетти этотъ дѣйствительно былъ секретаремъ Маццини. Чиновникъ, бюрократъ по натурѣ, онъ насъ смѣшилъ своей министерской важностью и дипломатическими манерами.

Когда телеграмма о возстаніи въ Миланѣ 3 Февраля 1853 была напечатана въ журналахъ, я поѣхалъ къ Маццолетти

узнать, не имѣетъ-ли онъ какихъ вѣстей. Маццолетти просилъ меня подождать; потомъ вышелъ озабоченный, доблестный, съ какими-то бумагами и съ Братіано, съ которымъ былъ въ важномъ разговорѣ.

— Я къ вамъ пріѣхалъ узнать, нѣтъ-ли какихъ вѣстей.

— Нѣтъ, я самъ узналъ изъ Теймса; жду съ часу на часъ депешу.

Подошли еще человѣка два. Маццолетти былъ доволенъ и потому морщился и жаловался на недосугъ. Разговорившись, онъ началъ полусловами добавлять новости и пояснять.

— Откуда-же вы знаете?—спросилъ я его.

— Это.....—это, разумѣется, мои соображенія,—замѣтилъ нѣсколько смѣшавшись Маццолетти.

— Завтра утромъ я къ вамъ пріѣду.....

— А если сегодня будетъ что-нибудь, я извѣщу васъ.

— Вы меня одолжите, отъ 7 до 9 я буду у Вери.

Маццолетти не забылъ. Часу въ восьмомъ я обѣдалъ у Вери; вошелъ итальянецъ, котораго я раза два видалъ, онъ подошелъ ко мнѣ, осмотрѣлся, выждалъ, когда гарсонъ пошелъ за чѣмъ-то, и, сказавъ мнѣ, что Маццолетти поручилъ ему передать, что никакой телеграммы не было, ушелъ.

... Получивъ письмо отъ этого статсъ-секретаря по революціи, я ему отвѣчалъ шутя, что онъ напрасно меня представляетъ въ какомъ-то безпомощномъ состояніи стоящаго середь Лондона, затрудняясь кому отдать шестьдесятъ ливровъ, что я безъ письма Маццини вовсе не намѣренъ ихъ кому бы то ни было отдавать.

Маццолетти написалъ мнѣ длинную и нѣсколько гнѣвную ноту, которая должна была, не унижая достоинства писавшаго, быть колкой для получающаго, не выходя впрочемъ изъ предѣловъ парламентской вѣжливости.

Не прошло недѣли послѣ этихъ искушеній, какъ утромъ рано пріѣхала ко мнѣ Эмилія Г., одна изъ преданнѣйшихъ женщинъ Маццини и близкій его другъ. Она мнѣ сообщила

о томъ, что возстаніе въ Ломбардіи не удалось и что еще Маццини скрывается тамъ и проситъ немедленно выслать денегъ;—а денегъ нѣтъ.

— Вотъ вамъ,—сказалъ я ей,—знаменитые шестьдесятъ фунтовъ; не забудьте только сказать тайному совѣтнику Мацколетти, да и Ледрю-Роллену, если случится, что я не такъ дурно сдѣлалъ, не бросивъ въ омутъ Европейскаго Комитета эти полторы тысячи франковъ.

Предупреждая нашъ русскій національный выводъ изъ моего разсказа, я долженъ сказать, что деньгами такъ собираемыми никогда никто не пользовался (*): у насъ ихъ кто-нибудь укралъ-бы; здѣсь онѣ исчезали въ томъ родѣ, какъ если-бы кто-нибудь, не записывая нумеровъ, жегъ на свѣчкѣ ассигнаціи.

(*) Итальянская эмиграція выше всякаго подозрѣнія. Во французской былъ одинъ забавный случай.—Б., о которомъ была рѣчь въ разсказѣ о дуэли Бартелеми, собралъ по порученію Ледрю-Роллена какія-то деньги и прожилъ ихъ. Послѣ этого желаніе возвратиться въ Лондонъ сильно уменьшилось, и онъ сталъ просить разрѣшенія остаться въ Марсели. Билье отвѣчалъ, что Б., какъ политическій человѣкъ, такъ безопасенъ, что могъ-бы остаться; но что безчестный поступокъ его со своей собственной партіей показываетъ, что онъ ненадежный человѣкъ, въ силу чего онъ ему отказываетъ.

Своего рода пальма и тутъ принадлежитъ нѣмцамъ. Они сколотили сборами въ Америкѣ и Манчестрѣ, помнится, тысячъ двадцать франковъ. Деньги эти, назначенныя для агитаціи, пропаганды, поддержанія процессовъ и пр., они положили въ одинъ изъ лондонскихъ банковъ и избрали распорядителями: Кинкеля, Руге и графа Оскара Рейхенбаха, трехъ непримиримыхъ враговъ. Тѣ тотчасъ догадались какой богатый источникъ непріятностей другъ другу имъ данъ въ руки; а потому и поспѣшили написать въ условіяхъ взноса, чтобъ банкъ не выдавалъ никакой суммы безъ всѣхъ трехъ подписей. Стоило одному, или двумъ даже, подписаться — третій не соглашался. Что ни дѣлало нѣмецкое эмиграціонное общество,—одной подписи не доставало. Такъ и лежитъ сумма нетронутою и поднесь въ банкѣ:—вѣроятно приданнымъ для будущей тевтонской республики.

АПОГЕЙ И ПЕРИГЕЙ

(Продолженіе).

По воскресеньямъ вечеромъ собирались у насъ знакомые, и преимущественно русскіе. Въ 1862 число послѣднихъ очень увеличилось: — на выставку пріѣзжали купцы и туристы, журналисты и чиновники всѣхъ вообще отдѣленій, и третьяго въ особенности. Дѣлать строгій выборъ было невозможно; короткихъ знакомыхъ мы предупреждали, чтобъ они приходили въ другой день. Благочестивая скука лондонскаго воскресенья побѣждала осторожность. Отчасти эти воскресенья и привели къ бѣдѣ. Но прежде чѣмъ я ее передамъ, я долженъ познакомить съ двумя-тремя экземплярами родной фауны нашей, являвшихся въ скромной залѣ Orsett House. Наша галлерея живыхъ рѣдкостей изъ Россіи была, безъ всякаго сомнѣнія, замѣчательнѣе и занимательнѣе русскаго отдѣла на Great Exhibition.

... Въ 1860 получаю я изъ одного отеля на Гай-Маркетѣ русское письмо, въ которомъ какіе-то люди извѣщали меня, что они русскіе, находятся въ услуженіи князя Юрья Николаевича Голицына, тайно оставившаго Россію: “ самъ князь поѣхалъ на Константинополь, а насъ отправилъ по другой дорогѣ. Князь велѣлъ дождаться его и далъ намъ денегъ на нѣсколько дней. Прошло больше двухъ недѣль; о князѣ ни слуха; деньги вышли, хозяинъ гостинницы сердится. Мы не знаемъ что дѣлать; по англійски никто не говоритъ”.

Находясь въ такомъ безпомощномъ состояніи, они просили, чтобъ я ихъ выручилъ. Я поѣхалъ къ нимъ и уладилъ дѣло. Хозяинъ отеля зналъ меня и согласился подождать еще недѣлю.

Дней черезъ пять послѣ моей поѣздки подъѣхала къ крыльцу богатая коляска, запряженная парой сѣрыхъ лошадей въ яблокахъ. Сколько я ни объяснялъ моей прислугѣ, что,—какъ-бы человѣкъ ни пріѣзжалъ, хоть цугомъ, и какъ-бы ни назывался, хоть дюкомъ,—все-же утромъ не принимать; но уваженія къ аристократическому экипажу и титулу я не могъ побѣдить.

На этотъ разъ встрѣтились оба искусительныя условія, и потому черезъ минуту огромный мужчина, толстый, съ красивымъ лицомъ ассирійскаго бога-вола,—обнялъ меня, благодаря за мое посѣщеніе къ его людямъ.

Это былъ князь Юрій Николаевичъ Голицынъ. Такого крупнаго, характеристическаго обломка всей Россіи, такого цвѣтка съ нашей родины я давно не видалъ.

Онъ мнѣ съ разу разсказалъ какую-то неправдоподобную исторію, которая вся оказалась справедливой, какъ онъ давалъ кантонисту переписывать статью въ "Колоколъ", и какъ онъ разошелся со своей женой; какъ кантонистъ донесъ на него, а жена не присылаетъ денегъ; какъ государь его услалъ на безвыѣздное житье въ Козловъ, вслѣдствіе чего онъ рѣшился бѣжать за границу, и поэтому увезъ съ собой какую-то барышню, гувернантку, управляющаго, регента и горничную, черезъ Молдавскую границу.

Въ Галацѣ онъ захватилъ еще какого-то лакея, говорившаго ломанымъ языкомъ на пяти языкахъ и показавшагося ему шіономъ. Тутъ-же объявилъ онъ мнѣ, что онъ, страстный музыкантъ и будетъ давать концерты въ Лондонѣ; а потому хочетъ познакомиться съ Огаревымъ.

— Дорого у васъ здѣсь въ Англіи б—берутъ на таможнѣ,—сказалъ онъ, слегка заикаясь и окончивъ курсъ своей всеобщей исторіи.

— За товары можетъ,—замѣтилъ я,—а къ путешественникамъ costume-house очень снисходителенъ.

— Не скажу; я заплатилъ шиллинговъ 15 за крокодила.

— Да это что такое?

— Какъ что?—да просто крокодилъ.

Я сдѣлалъ большіе глаза, и спросилъ его:

— Да вы, князь, что-же это: возите съ собой крокодила вмѣсто паспорта,—стращать жандармовъ на границахъ?

— Такой случай. Я въ Александріи гулялъ; а тутъ какой-то арабченокъ продаетъ крокодила. Понравился, я и купилъ.

— Ну, а арабченка купили?

— Ха, ха—нѣтъ.

Черезъ недѣлю князь былъ уже инсталированъ въ Porchester terrace, т. е. въ очень дорогой части города, въ большомъ домѣ. Онъ началъ съ того, что велѣлъ на вѣки-вѣчные, вопреки англійскому обычаю, открыть настежъ ворота и поставилъ въ вѣчномъ ожиданіи у подъѣзда пару сѣрыхъ лошадей въ яблокахъ. Онъ зажилъ въ Лондонѣ, какъ въ Козловѣ, какъ въ Тамбовѣ.

Денегъ у него, разумѣется, не было, т. е. были нѣсколько тысячъ франковъ на афишу и заглавный листъ лондонской жизни; ихъ тотчасъ истратилъ: — но пыль въ глаза бросилъ и успѣлъ на нѣсколько мѣсяцевъ обезпечиться, благодаря англійской тупоумной довѣрчивости, отъ которой иностранцы всего континента не могутъ еще поднесь отучить ихъ.

Но князь шелъ на всѣхъ парахъ.—Начались концерты. Лондонъ былъ удивленъ княжескимъ титуломъ на афишѣ, и во второй концертъ, зала была полна, (S.-James hall, Piccadilly). Концертъ былъ великолѣпный. Какъ Голицынъ успѣлъ такъ подготовить хоръ и оркестръ? — это его тайна; но концертъ былъ совершенно изъ ряду вонъ. Русскія пѣсни и молитвы, комаринская и обѣдня, отрывки изъ оперы Глинки и изъ Евангелья (отче нашъ),—все шло прекрасно. Дамы не могли налюбоваться колосальными мясами красиваго асси-

рійскаго бога, величественно и граціозно поднимавшаго и опускавшаго свой скипетъ изъ слоновой кости;—старушки вспоминали атлетическія формы императора Николая, побѣдившаго лондонскихъ дамъ всего больше своими обтянутыми лосинными, бѣлыми какъ русскій снѣгъ, кавалергардскими colant.

Голицынъ нашелъ средство и изъ этого успѣха сдѣлать себѣ убытокъ. Упоенный рукоплесканіями, онъ послалъ въ концѣ первой части концерта за корзиной букетовъ (не забывайте лондонскія цѣны) и, передъ началомъ второй части, явился на сцену; два ливрейныхъ лакея несли корзину, князь, благодаря пѣвицъ и хористокъ, каждой поднесъ по букету. Публика приняла и эту галантерейность аристократа-капельмейстера громомъ рукоплесканій. Выросъ, разцвѣлъ мой князь и, какъ только окончился концертъ, пригласилъ всѣхъ музыкантовъ на ужинъ.

Тутъ, сверхъ лондонскихъ цѣнъ, надобно знать и лондонскіе обычаи: —въ одинадцать часовъ вечера, не предупредивши съ утра, нигдѣ нельзя найдти ужинъ человѣкъ на пятьдесятъ.

Ассирійскій вождь храбро пошелъ пѣшкомъ по Regent street съ музыкальнымъ войскомъ своимъ,—стучась въ двери разныхъ ресторановъ; и достучался наконецъ: смекнувшій дѣло хозяинъ выѣхалъ на холодныхъ мясахъ и на горячихъ винахъ.

За тѣмъ начались концерты его со всевозможными штуками; даже съ политическими тенденціями. Всякій разъ гремѣлъ Herzen's Walzer, гремѣлъ Ogareff's Quadrille и потомъ Emancipation Symphonie..... пьесы, которыми и теперь, можетъ, чаруетъ князь Москвичей, и которыя вѣроятно ничего не потеряли при переѣздѣ изъ Альбіона, кромѣ собственныхъ именъ; онѣ могли легко перемѣнить ихъ на Patapoff's Walzer, Mina Walzer и Komissaroff's Partitur.

При всемъ этомъ шумѣ денегъ не было; платить было нечѣмъ. Поставщики начали роптать, и даже начиналось исподволь спартаковское возстаніе рабовъ.....

Однимъ утромъ явился ко мнѣ factotum князя, его управляющій, переименовавшій себя въ секретаря, съ "регентомъ", т. е. не съ отцомъ Филиппа Орлеанскаго, а съ бѣлокурымъ и кудрявымъ русскимъ малымъ лѣтъ двадцати двухъ, управлявшимъ пѣвцами.

— Мы, Александръ Ивановичъ, къ вамъ-съ.

— Что случилось?

— Да ужъ Юрій Николаевичъ очень обижаетъ,—хотимъ ѣхать въ Россію и требуемъ разсчета;—не оставьте вашей милостью, вступитесь.

— Такъ меня и обдало отечественнымъ паромъ,—словно на каменку поддали.

— Почему-же вы обращаетесь съ этой просьбой ко мнѣ? Если вы имѣете серьезныя причины жаловаться на князя,—на это есть здѣсь для всякаго судъ, и судъ, который не покривитъ ни въ пользу князя, ни въ пользу графа.

— Мы точно слышали объ этомъ,—да что ж ъ ходить до суда. Вы ужъ лучше разберите.

— Какая-же польза будетъ вамъ отъ моего разбора? Князь скажетъ мнѣ, что я мѣшаюсь въ чужія дѣла; я и поѣду съ носомъ. Не хотите въ судъ, пойдите къ послу; не мнѣ, а ему препоручены русскіе въ Лондонѣ.....

— Это ужъ гдѣ-же-съ? коль скоро русскіе господа сидятъ,—какой-же можетъ-быть разборъ съ княземъ; а вы вѣдь за народъ: такъ мы такъ и пришли къ вамъ. Ужъ разберите дѣло, сдѣлайте милость.

— Экіе вѣдь какіе;—да князь не пріймет ъ моего разбора; что-же вы выиграете?

— Позвольте доложить,—съ живостью возразилъ секретарь,—этого онъ не посмѣетъ-съ, такъ какъ они очень ува-

жаютъ васъ, да и боятся сверхъ того: въ "Колоколъ"-то попасть имъ не весело,—амбиція-съ.

— Ну, слушайте, чтобъ не терять намъ по пусту время,— вотъ мое рѣшенье: если князь согласенъ принять мое посредничество, я разберу ваше дѣло; — если нѣтъ, — идите въ судъ; а такъ какъ вы не знаете ни языка, ни здѣшняго хожденія по дѣламъ, то я, если васъ въ самомъ дѣлѣ князь обижаетъ, дамъ человѣка, который знаетъ то и другое, и по русски говоритъ.

— Позвольте,—замѣтилъ секретарь.

— Нѣтъ не позволяю, любезнѣйшій.—Прощайте.

Скажу и объ нихъ слово.

Регентъ ничѣмъ не отличался, кромѣ музыкальныхъ способностей; это былъ откормленный, крупичатый, туповато красивый, румяный малый изъ дворовыхъ; его манера говорить прикартавливая и нѣсколько заспанные глаза, напоминали мнѣ цѣлый рядъ, какъ въ зеркалѣ когда гадаешь,—Сашекъ, Сенекъ, Алешекъ, Мирошекъ.

Секретарь былъ тоже чисто русскій продуктъ, но больше рѣзкій представитель своего типа: Человѣкъ лѣтъ за сорокъ, съ небритымъ подбородкомъ, испитымъ лицомъ, въ засаленномъ сюртукѣ, весь, снаружи и внутри, нечистый и замаранный, съ небольшими плутовскими глазами и съ тѣмъ особеннымъ запахомъ русскихъ пьяницъ,—составленнымъ изъ вѣчно поддерживаемаго перегорѣлаго сивушнаго букета съ оттѣнкомъ луку и, для прикрытія, гвоздики. Всѣ черты его лица ободряли, внушали довѣріе всякому скверному предложенію:—въ его сердцѣ оно нашло бы навѣрное отголосокъ и оцѣнку, а если выгодно, то и помощь. Это былъ первообразъ русскаго чиновника, міроѣда, подъячаго. Когда я его спросилъ — доволенъ-ли онъ готовившимся освобожденіемъ крестьянъ?— Онъ отвѣчалъ мнѣ:

— Какъ-же-съ,—безъ сомнѣнья,—и, вздохнувши, прибавилъ: "Господи, что тяжбъ то будетъ-съ, разбирательствъ!

а князь завезъ меня сюда, какъ на смѣхъ именно въ такое время".

До пріѣзда Голицына онъ мнѣ съ видомъ задушевности говорилъ: "Вы не вѣрьте, что вамъ о князѣ будутъ говорить на счетъ притѣсненія крестьянъ, или какъ онъ хотѣлъ ихъ безъ земли на волю выпустить за большой выкупъ. Все это враги распускаютъ. Ну, правда, лютъ онъ и щеголь; но за то сердце доброе, и для крестьянъ отецъ былъ".

Какъ только онъ поссорился, онъ, жалуясь на него, проклиналъ свою судьбу, и жалѣлъ, что довѣрился такому прощелыгѣ: — "вѣдь онъ всю жизнь безпутничалъ и крестьянъ раззорилъ; вѣдь это онъ теперь прикидывается при васъ такимъ, — а то вѣдь звѣрь, грабитель....."

— Когда-же вы говорили неправду: теперь или тогда, когда вы его хвалили? — спросилъ я его улыбаясь.

Секретарь сконфузился, — я повернулся и ушелъ. Родись этотъ человѣкъ не въ людской князей Голицыныхъ, не сыномъ какого нибудь земскаго, давно былъ бы, при его способностяхъ, министромъ, — Валуевымъ, не знаю чѣмъ.

Черезъ часъ явился регентъ и его менторъ, съ запиской Голицына; онъ, извиняясь, просилъ меня, если могу, пріѣхать къ нему, чтобъ покончить эти дрязги. Князь впередъ обѣщалъ принять безъ спору мое рѣшеніе.

Дѣлать было нечего; я отправился.

Все въ домѣ показывало необыкновенное волненіе. Французъ слуга, Пико, поспѣшно мнѣ отворилъ дверь и съ той торжественной суетливостью, съ которой провожаютъ доктора на консультацію къ умирающему, провелъ въ залу. Тамъ была вторая жена Голицына, встревоженная и раздраженная; самъ Голицынъ ходилъ огромными шагами по комнатѣ, безъ галстуха, богатырская грудь на голо. Онъ былъ взбѣшенъ и оттого вдвое заикался; на всемъ лицѣ его было видно страданіе отъ внутрь взошедшихъ, т. е. невышедшихъ въ дѣйствительный міръ, зуботычинъ, пиньковъ, треуховъ,

которыми-бы онъ отвѣчалъ инсургентамъ въ Тамбовской губерніи.

— Вы б—б—бога ради простите меня, что я в—васъ безпокою изъ за этихъ м—м—мошенниковъ.

— Въ чемъ дѣло?

— Вы ужъ, п—пожалуйста, сами спросите;—я только буду слушать.

Онъ позвалъ регента, и у насъ пошелъ слѣдующій разговоръ:

— Вы недовольны чѣмъ-то?

— Оченно недоволенъ, и оттого именно безпремѣнно хочу ѣхать въ Россію.

Князь, у котораго голосъ Лаблашевской силы, испустилъ львиный стонъ: еще пять зуботычинъ возвращались къ сердцу.

— Князь васъ удержать не можетъ, такъ вы скажите чѣмъ недовольны-то вы?

— Всѣмъ-съ, Александръ Ивановичъ.

— Да вы ужъ говорите потолковитѣе.

— Какъ-же чѣмъ-съ? я съ тѣхъ поръ какъ изъ Россіи пріѣхалъ, съ ногъ сбитъ работой, а жалованья получилъ только два фунта, да третій разъ вечеромъ князь далъ больше въ подарокъ.

— А вы сколько должны получать?

— Этого я не могу сказать-съ...

— Есть-же у васъ опредѣленный окладъ.

— Никакъ нѣтъ-съ. Князь, когда изволили бѣжать за границу (это безъ злаго умысла), сказали мнѣ: вотъ хочешь ѣхать со мной, я-молъ устрою твою судьбу и, если мнѣ повезетъ, дамъ большое жалованье; а если нѣтъ, то и малымъ довольствуйся; ну, я такъ и поѣхалъ.

Это онъ изъ Тамбова-то въ Лондонъ поѣхалъ на такомъ условіи..... О Русь!

— Ну, а какъ по вашему, везетъ князю, или нѣтъ?

— Какой везетъ-съ! оно конечно можно-бы все.....

— Это другой вопросъ. Если ему не везетъ, стало вы должны довольствоваться малымъ жалованьемъ.

— Да князь самъ говорилъ, что по моей службѣ, т. е. и способности, по здѣшнимъ деньгамъ, меньше нельзя, какъ фунта четыре въ мѣсяцъ.

— Князь, вы желаете заплатить ему по четыре фунта въ мѣсяцъ?

— Съ о—о—хотой-съ.

— Дѣло идетъ прекрасно, что-же дальше?

— Князь-съ обѣщалъ, что, если я захочу возвратиться, то пожалуетъ мнѣ на обратный путь до Петербурга.

Князь кивнулъ головой и прибавилъ : — да, но въ томъ случаѣ, если я имъ буду доволенъ!

— Чѣмъ-же вы недовольны имъ?

Теперь плотину прорвало, — князь вскочилъ. Трагическимъ басомъ, которому еще больше придавало вѣса дребезжаніе нѣкоторыхъ буквъ и маленькія паузы между согласными, произнесъ онъ слѣдующую рѣчь : Мнѣ имъ быть д—довольнымъ, этимъ м—м—молокососомъ, этимъ щ—щенкомъ? Меня бѣситъ гнусная неблагодарность этого разбойника. Я его взялъ къ себѣ во дворъ изъ самобѣднѣйшаго семейства крестьянъ, вшами заѣденнаго, босаго; училъ негодяя. Я изъ него сдѣлалъ ч—человѣка, музыканта, регента; голосъ каналье выработалъ такой, что въ Росссіи въ сезонъ рублей возьметъ сто въ мѣсяцъ жалованья.

— Все это такъ, Юрій Николаевичъ, но я не могу раздѣлить вашего взгляда. Ни онъ, ни его семья васъ не просили дѣлать изъ него Ронкони; стало и особенной благодарности съ его стороны вы не можете требовать. Вы его обучили, какъ учатъ соловьевъ, и хорошо сдѣлали; но тѣмъ и конецъ. Къ тому-же это и къ дѣлу не идетъ.

— Вы правы, но я хотѣлъ сказать : — каково мнѣ выносить это? вѣдь я его к—каналью.....

— Такъ вы согласны ему дать на дорогу?

— Чертъ съ нимъ, для васъ, только для васъ даю.

— Ну вотъ дѣло и слажено; а вы знаете сколько на дорогу надобно?

— Говорятъ фунтовъ двадцать.

— Нѣтъ, этого много. Отсюда до Петербурга ста цѣлковыхъ за глаза довольно. Вы даете?

— Даю.

Я расчелъ на бумажкѣ и передалъ Голицыну; тотъ взглянулъ на итогъ... выходило, помнится, съ чѣмъ-то 30 фунтовъ. Онъ тутъ-же мнѣ ихъ и вручилъ.

— Вы, разумѣется, грамотѣ знаете, спросилъ я регента.

— Какъ-же-съ.

Я написалъ ему росписку въ такомъ родѣ: "Я получилъ съ кн. Ю. Н. Голицына должные мнѣ за жалованье и на проѣздъ изъ Лондона въ Петербургъ тридцать съ чѣмъ-то фунтовъ (на русскіе деньги столько то). Затѣмъ остаюсь доволенъ и никакихъ другихъ требованій на него не имѣю".

— Прочтите сами и подпишитесь.

Регентъ прочелъ, но не дѣлалъ никакихъ приготовленій, чтобъ подписаться.

— Зачѣмъ дѣло?

— Не могу-съ.

— Какъ не можете?

— Я недоволенъ.

Львиный, сдержанный ревъ, — да ужъ и я самъ готовъ былъ прикрикнуть: что за дьявольщина, вы сами сказали, въ чемъ ваше требованіе. Князь заплатилъ все до копѣйки; чѣмъ-же вы недовольны?

— Помилуйте-съ; а сколько нужды я натерпѣлся съ тѣхъ поръ какъ здѣсь.

Ясно было, что легкость, съ которой онъ получилъ деньги, разлакомила его.

— Напримѣръ-съ, мнѣ слѣдуетъ еще за переписку нотъ.

— Врешь!—закричалъ Голицынъ такъ, какъ и Лаблашъ никогда не кричалъ; робко отвѣтили ему своимъ эхо рояли; блѣдная голова Пико показалась въ щель и исчезла съ быстротой испуганной ящерицы.....

— Развѣ переписываніе нотъ не входило въ прямую твою обязанность? да и что-же бы ты дѣлалъ все время, когда концертовъ не было?

Князь былъ правъ, хотя и не нужно было пугать Пико гласомъ контрбомбардоннымъ.

Регентъ, привыкнувшій ко всякимъ звукамъ, не сдался и, оставя въ сторонѣ переписываніе нотъ, обратился ко мнѣ съ слѣдующей нелѣпостью : Да вотъ еще и на счетъ одежды, я совсѣмъ обносился.

— Да неужели, давая вамъ въ годъ около 50 фунтовъ жалованья, Юрій Николаевичъ еще обязался одѣвать васъ.

— Нѣтъ-съ; но прежде князь все иногда давали, а теперь, стыдно сказать, до того дошелъ, что безъ носковъ хожу.

— Я самъ хожу безъ н—н—носковъ,—прогремѣлъ князь и, сложа на груди руки, гордо и съ презрѣніемъ смотрѣлъ на регента. Этой выходки я никакъ не ожидалъ и съ удивленіемъ смотрѣлъ ему въ глаза. Но, видя, что онъ собирается продолжать, я очень серьезно соколу-пѣвцу сказалъ : —"Вы приходили ко мнѣ сегодня утромъ просить меня въ посредники; стало вы вѣрили мнѣ?"

— Мы васъ оченно довольно знаемъ, въ васъ мы нисколько не сомнѣваемся, вы ужъ въ обиду не дадите.

— Прекрасно, ну такъ я вотъ какъ рѣшаю дѣло : подписывайте сейчасъ бумагу, или отдайте деньги; я ихъ передамъ князю и съ тѣмъ вмѣстѣ отказываюсь отъ всякаго вмѣшательства.

Регентъ не захотѣлъ вручить бумажникъ князю, подписалъ и поблагодарилъ меня.

Избавляю отъ разсказа, какъ онъ переводилъ счетъ на

цѣлковые; я ему никакъ не могъ вдолбить, что по курсу цѣлковый стоитъ теперь не то, что стоилъ тогда, когда онъ выѣзжалъ изъ Россіи.

— Если вы думаете, что я васъ хочу надуть фунта на полтора, такъ вы вотъ что сдѣлайте: сходите къ нашему попу, да и попросите вамъ сдѣлать разсчетъ.—Онъ согласился.

Казалось все кончено, и грудь Голицына не такъ грозно и бурно вздымалась; но судьба хотѣла, чтобъ и финалъ такъ-же бы напомнилъ родину, какъ начало.

Регентъ помялся, помялся, и вдругъ, какъ будто между ними ничего не было, обратился къ Голицыну со словами: — "Ваше Сіятельство, такъ какъ пароходъ изъ Гуля-съ идетъ только черезъ пять дней, явите милость—позвольте остаться покамѣстъ у васъ". Задастъ ему, подумалъ я, мой Лаблашъ, самоотверженно приготовляясь къ боли отъ шума.

— Разумѣется оставайся. Куда ты къ черту пойдешь.

Регентъ разблагодарилъ князя и ушелъ.

Голицынъ въ видѣ поясненія сказалъ мнѣ: "Вѣдь онъ предобрый малый; это его этотъ мошенникъ, этотъ в—воръ этотъ поганый Юсъ подбилъ".

Поди тутъ Савиньи и Миттермейеръ, пусть схватятъ формулами и обобщатъ въ нормы юридическія понятія, развившіяся въ православномъ отечествѣ нашемъ между конюшней, въ которой драли дворовыхъ, и бариновымъ кабинетомъ, въ которомъ обирали мужиковъ.

Вторая cause céleste, именно съ Юсомъ, не удалась. Голицынъ вышелъ и вдругъ такъ закричалъ, и секретарь такъ закричалъ, что оставалось за тѣмъ катать другъ друга "подъ никитки"; причемъ князь, конечно, зашибъ-бы гуняваго подъячаго. Но какъ все въ этомъ домѣ совершалось по законамъ особой логики, то подрались не князь съ секретаремъ, а секретарь съ дверью. Набравшись злобы и освѣжившись еще шкаликомъ джину, онъ, выходя, треснулъ

кулакомъ въ большое стекло, вставленное въ дверь, — и расшибъ его.

Полицію! — кричалъ Голицынъ: — разбой, полицію,— и вошедши въ залу, бросился изнеможенный на диванъ. Когда онъ немного отошелъ, онъ пояснилъ мнѣ между прочимъ, въ чемъ состоитъ неблагодарность секретаря. Человѣкъ тотъ былъ повѣреннымъ у его брата и—не помню —смошенничалъ что-то, и долженъ былъ непремѣнно идти подъ судъ. Голицыну стало жаль его; онъ до того вошелъ въ его положеніе, что заложилъ послѣдніе часы, чтобъ выкупить его изъ бѣды. И потомъ, имѣя полныя доказательства, что онъ плутъ, взялъ его къ себѣ управляющимъ!

Что онъ на всякомъ шагу надувалъ Голицына, въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія.

Я уѣхалъ. Человѣкъ, который могъ кулакомъ пробить зеркальное стекло, можетъ самъ себѣ найти судъ и расправу. Къ тому-же онъ мнѣ разсказывалъ потомъ, прося меня достать ему паспортъ, чтобъ ѣхать въ Россію, что онъ гордо предложилъ Голицыну пистолетъ и жребій — кому стрѣлять.

Если это было, то пистолетъ навѣрное не былъ заряженъ.

Послѣднія деньги князя пошли на усмиреніе Спартаковскаго возстанія, и онъ все-таки наконецъ попалъ, какъ и слѣдовало ожидать, въ тюрьму за долги. Другаго посадили-бы —и дѣло въ шляпѣ; съ Голицынымъ и это не могло сойдти просто съ рукъ.

Полисменъ привозилъ его ежедневно въ Cremorn Garden, часу въ восьмомъ; тамъ онъ дирижировалъ, для удовольствія лоретокъ всего Лондона, концертъ, и съ послѣднимъ взмахомъ скипетра изъ слоновой кости, незамѣтный полицейскій выросталъ изъ подъ земли и не покидалъ князя до кэба, который везъ узника въ черномъ фракѣ и бѣлыхъ перчаткахъ въ тюрьму. Прощаясь со мной въ саду, у него были слезы на глазахъ. Бѣдный князь! другой смѣялся-бы надъ этимъ, но онъ бралъ къ сердцу свое въ неволѣ за-

ключеніе. Родные какъ-то выкупили его; потомъ правительство позволило ему возвратиться въ Россію и отправило его сначала на житье въ Ярославль, гдѣ онъ могъ дирижировать духовные концерты вмѣстѣ съ Фелинскимъ, Варшавскимъ архіереемъ. Правительство добрѣе его отца: тертый калачъ не меньше сына, онъ ему совѣтовалъ идти въ монастырь. Хорошо зналъ сына отецъ; а вѣдь самъ былъ до того музыкантъ, что Бетховенъ посвятилъ ему одну изъ симфоній.

За пышной фигурой ассирійскаго бога, тучнаго аполлона-вола, не должно забывать рядъ другихъ русскихъ странностей.

Я не говорю о мелькающихъ тѣняхъ, какъ "колонель Рюссъ", но о тѣхъ, которые, причаленные судьбой и разными превратностями, пріостанавливались на долго въ Лондонѣ, вродѣ того чиновника военнаго комендантства, который, запутавшись въ дѣлахъ и долгахъ, бросился въ Неву, утонулъ..... и всплылъ въ Лондонѣ изгнанникомъ, въ шубѣ и мѣховомъ картузѣ, которыхъ не покидалъ, не смотря на сырую теплоту Лондонской зимы.

Вродѣ моего друга Ивана Ивановича С., который весь, цѣликомъ, съ своими антецедентами и будущностью, съ какой-то мездрой вмѣсто волосъ на головѣ, такъ и просится въ мою галлерею рѣдкостей.

Лейбъ-гвардіи Павловскаго полка офицеръ въ отставкѣ, онъ жилъ себѣ да жилъ въ странахъ заморскихъ и дожилъ до Февральской революціи; тутъ онъ испугался и сталъ на себя смотрѣть, какъ на преступника; не то чтобъ его мучила совѣсть, но мучила мысль о жандармахъ, которые его встрѣтятъ на границѣ, казематахъ, тройкѣ, снѣгѣ, и рѣшился отложить возвращеніе. Вдругъ вѣсть о томъ, что его брата взяли по дѣлу Шевченка. Ему стало въ самомъ дѣлѣ нѣсколько опасно, и онъ тотчасъ рѣшился ѣхать. Въ это время я съ нимъ познакомился въ Ниццѣ. Отправился С., купивши

на дорогу крошечную стклянночку яду, которую, переѣзжая границу, хотѣлъ какъ-то укрѣпить въ дуплѣ пустаго зуба и раскусить въ случаѣ ареста.

По мѣрѣ приближенія къ родинѣ, страхъ все возрасталъ, и въ Берлинѣ дошелъ до удушающей боли, однако С. переломилъ себя и сѣлъ въ вагонъ. Станцій на пять его стало; далѣе онъ не могъ. Машина брала воду, онъ подъ совершенно другимъ предлогомъ вышелъ изъ вагона. Машина свиснула, поѣздъ двинулся безъ С.; того-то ему и было надо. Оставивъ чемоданъ свой на произволъ судьбы, онъ съ первымъ обратнымъ поѣздомъ возвратился въ Берлинъ. Оттуда телеграфировалъ о чемоданѣ и пошелъ визировать свой пассъ въ Гамбургъ. "Вчера ѣхали въ Россію, сегодня въ Гамбургъ", замѣтилъ полицейскій, вовсе не отказывая въ визѣ. Перепуганный С. сказалъ ему: "Письма я получилъ, письма", и, вѣроятно у него былъ такой видъ, что со стороны прусскаго чиновника просто упущеніе по службѣ, что онъ его не арестовалъ. За тѣмъ С., спасаясь никѣмъ не преслѣдуемый, какъ Людвигъ Филиппъ, пріѣхалъ въ Лондонъ. Въ Лондонѣ для него началась, какъ для тысячи и тысячи другихъ, тяжелая жизнь; онъ годы честно и твердо боролся съ нуждой. Но и ему судьба опредѣлила комическій бортикъ ко всѣмъ трагическимъ событіямъ. Онъ рѣшился давать уроки математики, черченья и даже французскаго языка (*для англичанъ*). Посовѣтовавшись съ тѣмъ и другимъ, онъ увидѣлъ, что безъ объявленія или карточекъ не обойдется. "Но вотъ бѣда: какъ взглянетъ на это русское правительство. Думалъ я, думалъ, да и напечаталъ *анонимныя карточки*".

Долго я не могъ нарадоваться на это великое изобрѣтеніе: мнѣ въ голову не приходила возможность визитной карточки безъ имени.

Со своими анонимными карточками, съ большой настойчивостью (онъ *живалъ* дни цѣлые картофелемъ и хлѣбомъ),

онъ сдвинулъ таки свою барку съ мели, сталъ заниматься торговымъ комисіонерствомъ, и дѣла его пошли успѣшно.

И это именно въ то время, когда дѣла другаго лейбъ-гвардіи Павловскаго офецера пошли отвратительно; разбитый, обокраденый, обманутый, одураченый шефъ Павловскаго полка отошелъ въ вѣчность. Пошли льготы, амнистіи; захотѣлось и С. воспользоваться царскими милостями, и вотъ онъ пишетъ къ Брунову письмо и спрашиваетъ, подходитъ-ли онъ подъ амнистію? Черезъ мѣсяцъ времени приглашаютъ С. въ посольство. Дѣло-то,—думалъ онъ,—не такъ просто, мѣсяцъ думали.

— Мы получили отвѣтъ,—говоритъ ему старшій секретарь: — Вы не хотя поставили министерство въ затрудненіе; ничего объ васъ нѣтъ. Оно сносилось съ министромъ внутреннихъ дѣлъ, и у него не могутъ найти никакого дѣла объ васъ. Скажите намъ просто, что съ вами было, не можетъ-же быть ничего важнаго.

— Да въ 1849 г. мой братъ былъ арестованъ и потомъ сосланъ.

— Ну?

— Больше ничего.

Нѣтъ,—подумалъ Николаи,—шалитъ—и сказалъ С., что, если такъ, то министерство снова наведетъ справки. Прошло мѣсяца два. Я воображаю, что было въ эти два мѣсяца въ Петербургѣ: отношенія, сообщенія, конфиденціональныя справки, секретные запросы изъ министерства въ III отдѣленіе, изъ III отдѣленія въ министерство, справки Х..... генералъ-губернатора... выговоры, замѣчанія,.... а дѣла о С. найдти не могли.

Такъ министерство и сообщило въ Лондонъ.

Посылаетъ за С. самъ Бруновъ.—Вотъ, говоритъ—смотрите—отвѣтъ: нигдѣ, ничего объ васъ.—Скажите, по какому вы дѣлу замѣшаны?

— Мой братъ.....

— Все это я слышалъ, да вы то сами по какому дѣлу?

— Больше ничего не было.

Бруновъ, отъ рожденія ничему не удивлявшійся, удивился.

— Такъ отчего-же вы просите прощенья, когда вы ничего не сдѣлали?

— Я думалъ, что все-же лучше.

— Стало просто на просто, вамъ не амнистія нужна, а паспортъ.

И Бруновъ велѣлъ выдать пассъ.

На радостяхъ С. прискакалъ къ намъ.

Разсказавъ подробно всю исторію о томъ, какъ онъ добился амнистіи, онъ взялъ Огарева подъ руку и увелъ въ садъ. "Дайте мнѣ бога ради совѣтъ, — сказалъ онъ ему, — Александръ Ивановичъ все смѣется надо мной, — такой ужъ нравъ у него;—но у васъ сердце доброе. Скажите мнѣ откровенно:—думаете вы, что я могу безопасно ѣхать Вѣной?"

Огаревъ не поддержалъ добраго мнѣнья и расхохотался. Да что Огаревъ,—я воображаю какъ Бруновъ и Николаи —минуты на двѣ расправили морщины отъ тяжелыхъ государственныхъ заботъ и осклабились, когда амнистіированный С. вышелъ изъ кабинета.

По при всѣхъ своихъ оригинальностяхъ, С. былъ честный человѣкъ. Другіе русскіе, неизвѣстно откуда всплывавшіе, бродившіе мѣсяцъ другой по Лондону, являвшіеся къ намъ съ собственными рекомендательными письмами и изчезавшіе неизвѣстно куда, были далеко не такъ безопасны.

Печальное дѣло, о которомъ я хочу разсказать, было лѣтомъ 1862. Реакція была тогда въ инкубаціи и изъ внутренняго, скрытаго гніенія еще не выходила наружу. Никто не боялся къ намъ ѣздить; никто не боялся брать съ собой "Колоколъ" и другія наши изданія; многіе хвастались, какъ они мастерски провозятъ. Когда мы совѣтовали быть осторожными, надъ нами смѣялись. Писемъ мы почти никогда не писали въ Россію: старымъ знакомымъ намъ нечего было

сказать, мы съ ними стояли все дальше и дальше, съ новыми незнакомцами мы переписывались черезъ "Колоколъ".

Весной возвратился изъ Москвы и Петербурга Кельсіевъ. Его поѣздка, безъ сомнѣнія, принадлежитъ къ самымъ замѣчательнымъ эпизодамъ того времени. Человѣкъ, ходившій мимо носа полиціи, едва скрывавшійся, бывавшій на раскольничьихъ бесѣдахъ и товарищескихъ попойкахъ, съ глупѣйшимъ турецкимъ пассомъ въ карманѣ, и возвратившійся sain et sauf въ Лондонъ,—не много закусилъ удила. Онъ вздумалъ сдѣлать пирушку въ нашу честь въ день пятилѣтія "Колокола", по подпискѣ, въ ресторанѣ Кюна. Я просилъ его отложить праздникъ до другаго, болше веселаго времени. Онъ не хотѣлъ. Праздникъ не удался, не было entrain и не могло быть. Въ числѣ участниковъ были люди слишкомъ посторонніе.

Говоря о томъ и семъ, между тостами и анекдотами, говорили, какъ о самопростѣйшой вещи, что пріятель Кельсіева, Вѣтошниковъ, ѣдетъ въ Петербургъ и готовъ съ собою кое что взять. Разошлись поздно. Многіе сказали, что будутъ въ воскресенье у насъ. Собралась дѣйствительно цѣлая толпа, въ числѣ которой были очень мало знакомые намъ люди и, по несчастію, самъ Вѣтошниковъ; онъ подошелъ ко мнѣ и сказалъ, что завтра утромъ ѣдетъ, спрашивая меня—нѣтъ-ли писемъ, порученій. Бакунинъ ему уже далъ два-три письма. Огаревъ пошелъ къ себѣ внизъ и написалъ нѣсколько словъ дружескаго привѣта Николаю Серно-Соловьевичу;—съ нимъ я приписалъ поклонъ и просилъ его обратить вниманіе Чернышевскаго, (къ которому я никогда не писалъ) на наше предложеніе въ "Колоколѣ" печатать на свой счетъ "Современникъ" въ Лондонѣ. Гости стали расходиться часовъ около 12; двое-трое оставались. Вѣтошниковъ вошелъ въ мой кабинетъ и взялъ письмо. Очень можетъ быть, что и это осталось-бы незамѣченнымъ. Но вотъ что случилось. Чтобъ отблагодарить участниковъ обѣда, я

просилъ ихъ принять на память отъ меня по выбору что-нибудь изъ нашихъ изданій, или большую фотографію мою. Левъ Вѣтошниковъ взялъ фотографію; я ему совѣтовалъ обрѣзать края и свернуть въ трубочку; онъ не хотѣлъ и говорилъ, что положитъ ее на дно чемодана, а потому завернулъ ее въ листъ "Теймса" и такъ отправился. Этого нельзя было не замѣтить. Прощаясь съ нимъ съ послѣднимъ,—я спокойно отправился спать,—такъ иногда сильно бываетъ ослѣпленье,—и ужъ конечно не думалъ, какъ дорого обойдется эта минута и сколько ночей безъ сна она принесетъ мнѣ. Все вмѣстѣ было глупо и неосмотрительно до высочайшей степени. Можно было остановить Вѣтошникова до вторника, отправить въ субботу; зачѣмъ онъ не приходилъ утромъ?..... да и вообще зачѣмъ онъ приходилъ самъ?..... да и зачѣмъ мы писали?.....

Говорятъ, что одинъ изъ гостей телеграфировалъ тотчасъ въ Петербургъ.

Вѣтошникова схватили на пароходѣ; остальное извѣстно.

Въ заключенье этого печальнаго сказанья,—скажу о человѣкѣ, вскользь упомянутомъ мною,—и котораго пройдти мимо не слѣдуетъ. Я говорю о Кельсіевѣ.

ЗА КУЛИСАМИ

(1863—1864)

Мы остались одни, безъ вѣры, прислушиваясь къ дальнимъ раскатамъ выстрѣловъ, къ дальнему стону раненныхъ. Въ первыхъ числахъ Апрѣля пришла вѣсть о томъ, что Потебня убитъ въ сраженіи у Песковой скалы. Въ Маѣ былъ разстрѣлянъ Падлевскій въ Плоцкѣ. А тамъ и пошло, и пошло.

Трудное, невыносимо трудное время! И ко всему печальному, быть невольнымъ зрителемъ людской тупости, безтолковости, проклятаго очертя голову, губящихъ всѣ силы около себя.

В. И. КЕЛЬСІЕВЪ

Имя В. Кельсіева пріобрѣло въ послѣднее время печальную извѣстность : быстрота внутренней и скорость внѣшней перемѣны, удачность раскаянія, неотлагаемая потребность всенародной исповѣди и ея странная усѣченность, безтактность разсказа, неумѣстная смѣшливость рядомъ съ неприличной въ кающемся и прощенномъ развязностью; — все это, при непривычкѣ нашего общества къ крутымъ и гласнымъ превращеніямъ, вооружило противъ него лучшую часть нашей журналистики. Кельсіеву хотѣлось во что-бы то ни стало— занимать собою публику; онъ и накупился на видное мѣсто мишенью, въ которую каждый бросаетъ камень не жалѣя. Я далекъ отъ того, чтобъ порицать нетерпимость, которую показала въ этомъ случаѣ наша дремлющая литература. Негодованіе это свидѣтельствуетъ о томъ, что много свѣтлыхъ, неиспорченныхъ силъ уцѣлѣли у насъ, не смотря на черную полосу нравственной неурядицы и безнравственнаго слова. Негодованіе, опрокинувшееся на Кельсіева, то самое, которое нѣкогда не пощадило Пушкина за одно или два стихотворенія и отвернулось отъ Гоголя за его “ переписку съ друзьями”.

Бросать въ Кельсіева камнемъ лишнее, въ него и такъ брошена цѣлая мостовая. Я хочу передать другимъ и напомнить ему, какимъ онъ явился къ намъ въ Лондонъ и какимъ уѣхалъ во второй разъ въ Турцію.

Пусть онъ сравнитъ самыя тяжелыя минуты тогдашней жизни съ лучшими своей теперешней карьеры.

Страницы эти писаны прежде раскаянья и покаянья, прежде метемпсихозы и метаморфозы. Я въ нихъ ничего не измѣнилъ и добавилъ только отрывки изъ писемъ. Въ моемъ бѣгломъ очеркѣ Кельсіевъ представленъ такъ, какъ онъ остался въ памяти до его появленія на лодкѣ въ скулянскую таможню, въ качествѣ запрещеннаго товара, просящаго конфискаціи и поступленія съ нимъ по законамъ.

Въ 1859 году получилъ я первое письмо отъ него.

Письмо отъ Кельсіева было изъ Плимута. Онъ туда приплылъ на пароходѣ Сѣверо-Американской компаніи и отправлялся куда-то въ Ситху или Уполамай на службу. Погостивши въ Плимутѣ, ему расхотѣлось ѣхать на алеутскіе острова и онъ писалъ ко мнѣ, спрашивая можно-ли ему найти пропитаніе въ Лондонѣ. Онъ успѣлъ уже въ Плимутѣ познакомиться съ какими-то теологами и сообщалъ мнѣ, что они обратили его вниманіе на замѣчательныя истолкованія пророчествъ. Я предостерегъ его отъ англійскихъ клерджименовъ и звалъ въ Лондонъ, "если онъ дѣйствительно хочетъ работать". Недѣли черезъ двѣ онъ явился. Молодой, довольно высокій, худой, болѣзненный, съ четвероугольнымъ черепомъ, съ шапкой волосъ на головѣ,—онъ мнѣ напоминалъ—не волосами (тотъ былъ плешивъ)—а всѣмъ существомъ своимъ Энгельсона, и дѣйствительно онъ очень многимъ былъ похожъ на него. Съ перваго взгляда можно было замѣтить много неустроеннаго и неустоявшагося,—но ничего пошлаго. Видно было, что онъ вышелъ на волю изъ всѣхъ опекъ и крѣпостей, но еще не приписался ни къ какому дѣлу и обществу: — цѣли не имѣлъ. Онъ былъ гораздо моложе Энгельсона, но все-же принадлежалъ къ позднѣйшей шеренгѣ Петрашевцевъ и имѣлъ часть ихъ достоинствъ и всѣ недостатки, учился всему на свѣтѣ и ничему не научился до тла, читалъ всякую всячину и надо всѣмъ ломалъ довольно без-

плодно голову. Отъ постоянной критики всего общепринятаго Кельсіевъ раскачалъ въ себѣ всѣ нравственныя понятія и не пріобрѣлъ никакой нити поведенья.

Особенно оригинально было то, что въ скептическомъ ощупываніи Кельсіева сохранилась какая-то примѣсь мистическихъ фантазій : онъ былъ нигилисть съ религіозными пріемами, нигилистъ въ дьяконовскомъ стихарѣ. Церковный оттѣнокъ, нарѣчіе и образность остались у него въ формѣ, въ языкѣ, въ слогѣ(*), и придавали всей его жизни особый характерь и особое единство, основанное на спайкѣ противоположныхъ металовъ.

У Кельсіева шелъ тотъ знакомый намъ переборъ, который дѣлаетъ почти всегда въ самомъ дѣлѣ проснувшійся русскій внутри себя и о которомъ вовсе не думаетъ за недосугомъ и заботами западный человѣкъ, втянутый своими спеціальностями въ другія дѣла; старшіе братья наши не провѣряютъ задовъ, и отъ того у нихъ смѣняются поколѣнія, строя и разрушая, награждая и наказуя, надѣвая вѣнки и кандалы, твердо увѣренные, что такъ и надобно, что они дѣлаютъ дѣло. Кельсіевъ, напротивъ, сомнѣвался во всемъ и не принималъ на слово ни добро—добра, ни зло—зла. Кобенящійся духъ этотъ, отрѣшающійся отъ впередъ идущей нравственности и готовыхъ истинъ, накипѣлъ всего больше въ mi-carême нашего николаевскаго поста и рѣзко сталъ высказываться, когда гиря, давившая наши мозги, приподнялась на одну линію. На этотъ полный жизни и отваги анализъ и накинулась богъ вѣсть что храпящая консервативная литература, а за ней и правительство.

Во время нашего пробужденія—подъ звуки севастопольскихъ пушекъ, съ чужихъ словъ, многіе изъ нашихъ умниковъ пошли повторять, что западный консерватизмъ у насъ фактъ

(*) Петрашевцами заключаются у насъ сильно занимавшіеся юноши; ихъ можно назвать послѣднимъ классомъ нашего учебнаго историческаго развитія.

правильный, что насъ на скоро подогнали къ европейскому образованію не для того, чтобъ дѣлиться съ нимъ наслѣдственными болѣзнями и застарѣлыми предразсудками, а для "сравненія съ старшими", для того, чтобъ была возможность съ ними идти ровнымъ шагомъ впередъ. Но какъ только мы видимъ на самомъ дѣлѣ, что у проснувшейся мысли, что у возмужалаго слова, нѣтъ ничего твердаго, "ничего святаго", а есть вопросы и задачи, что мысль ищетъ, что слово отрицаетъ, что дурное раскачивается вмѣстѣ съ "завѣдомо" хорошимъ и что духъ пытанія и сомнѣнія влечетъ все, все безъ разбора—въ пропасть лишенную перилъ — тогда крикъ ужаса и изступленія вырывается изъ груди, и пассажиры первыхъ классовъ закрываютъ глаза, чтобъ не видать какъ вагоны сорвутся съ рельсовъ, а кондукторы тормозятъ и останавливаютъ всякое движеніе.

Размуѣется, бояться причины нѣтъ: возникающая сила слишкомъ слаба, чтобъ матеріально сдвинуть шестидесяти миліонный поѣздъ съ рельсовъ. Но въ ней была программа, можетъ быть пророчество.

Кельсіевъ развился подъ первымъ вліяніемъ времени, о которомъ мы говорили. Онъ далеко не осѣлся, не дошелъ ни до какого центра тяжести, но онъ былъ въ полной ликвидаціи всего нравственнаго имущества. Отъ стараго онъ отрѣшился, твердое распустилъ, берегъ оттолкнулъ, и, очертя голову, пустился въ широкое море. Равно подозрительно и съ недовѣріемъ относился онъ къ вѣрѣ и къ невѣрію, къ русскимъ порядкамъ и къ порядкамъ западнымъ.

Одно, что пустило корни въ его груди, было сознаніе страстное и глубокое экономической неправды современнаго государственнаго строя, и въ силу этого, ненависть къ нему и темное стремленіе къ соціальнымъ теоріямъ, въ которыхъ онъ видѣлъ выходъ.

На это сознаніе неправды и на эту ненависть, сверхъ пониманья, онъ имѣлъ неотъемлемое право.

Въ Лондонѣ онъ поселился въ одной изъ отдаленнѣйшихъ частей города, въ глухомъ переулкѣ Фулама, населенномъ матовыми, подернутыми чѣмъ-то пепельнымъ, ирландцами и всякими исхудалыми работниками. Въ этихъ сырыхъ каменныхъ коридорахъ безъ крыши страшно тихо, звуковъ почти нѣтъ никакихъ, ни свѣта, ни цвѣта: люди, плошки, дома, все полиняло и осунулось; дымъ и сажа обвели всѣ линіи траурнымъ ободкомъ. По нимъ не трещатъ тележки лавочниковъ, развозящихъ съѣстные припасы, не ѣздятъ извощичьи кареты, не кричатъ разнощики, не лаютъ собаки, (послѣднимъ рѣшительно нечѣмъ питаться); изрѣдка только выходитъ какая нибудь худая взъерошенная и покрытая углемъ кошка, проберется по крышкѣ и подойдетъ къ трубѣ погрѣться, выгибая спину и обличая видомъ, что внутри дома она передрогла.

Когда я въ первый разъ посѣтилъ Кельсіева, его не было дома. Очень молодая, очень некрасивая женщина, худая, лимфатическая, съ заплаканными глазами, сидѣла у тюфяка, посланнаго на полу, на которомъ весь въ лихорадкѣ и жарѣ метался, страдалъ, умиралъ ребенокъ, году или полутора.

Я посмотрѣлъ на его лицо и вспомнилъ предсмертныя черты другого ребенка, это было *тоже* выраженіе. Черезъ нѣсколько дней онъ умеръ, другой родился.

Бѣдность была всесовершеннѣйшая. Молодая, тщедушная женщина, или лучше, замужняя дѣвочка, выносила ее геройски и съ необычайной простотой.

Думать нельзя было, глядя на ея болѣзненную, золотушную, слабую наружность, что за мощь, что за сила преданности обитала въ этомъ хиломъ тѣлѣ. Она могла служить горькимъ урокомъ нашимъ записнымъ романистамъ. Она была, хотѣла быть тѣмъ, что впослѣдствіи назвали *нигилисткой*, странно чесала волосы, небрежно одѣвалась, много курила, не боялась ни смѣлыхъ мыслей, ни смѣлыхъ словъ; она не умилялась передъ семейными добродѣтелями, не говорила о

священномъ долгѣ, о сладости жертвы, которую совершаетъ ежедневно, и о легкости креста, давившаго ея молодыя плечи. Она не кокетничала своей борьбой съ нуждой и дѣлала все: шила и мыла, кормила ребенка, варила мясо и чистила комнату. Твердымъ товарищемъ была она мужу и великой страдалицей сложила голову свою на дальнемъ востокѣ, слѣдуя за блуждающимъ, безпокойнымъ бѣгомъ своего мужа, и потерявъ рядомъ двухъ послѣднихъ малютокъ.

Поборолся я сначала съ Кельсіевымъ, старался его убѣдить, чтобъ онъ не отрѣзывалъ себѣ съ самаго начала, не извѣдавши жизни изгнанника, пути къ возвращенію.

Я ему говорилъ, что надобно прежде узнать нужду на чужбинѣ, нужду въ Англіи, особенно въ Лондонѣ; я ему говорилъ, что въ Россіи теперь дорога всякая сила.

— Что вы будете здѣсь дѣлать? спрашивалъ я его. Кельсіевъ собирался всему учиться и обо всемъ писать; пуще всего хотѣлъ онъ писать о женскомъ вопросѣ, о семейномъ устройствѣ.

— Пишите прежде—говорилъ я ему—объ освобожденіи крестьянъ съ землей. Это первый вопросъ, стоящій на дорогѣ. Но симпатіи Кельсіева были не туда обращены. Онъ дѣйствительно принесъ мнѣ статью о женскомъ вопросѣ. Она была безмѣрно плоха. Кельсіевъ посердился, что я ее не напечаталъ, и самъ благодарилъ меня за это, года два спустя.

Возвращаться онъ не хотѣлъ. Во чтобъ ни стало надобно было найдти ему работу. За это мы и принялись. Теологическія эксцентричности его намъ помогли. Мы доставили ему корректуру Св. Писанія, издаваемаго по русски лондонскимъ библейскимъ обществомъ, затѣмъ передали ему кипу бумагъ, полученныхъ нами въ разное время, по части старообрядцевъ. За изданіе ихъ и приведеніе въ порядокъ Кельсіевъ принялся со страстью. То, о чемъ онъ догадывался и мечталъ, то разкрывалось передъ нимъ фактически: грубо наивный соціализмъ въ евангельской ризѣ сквозилъ

ему въ расколѣ. Это было лучшее время въ жизни Кельсіева, онъ съ увлеченіемъ работалъ и прибѣгалъ иногда вечеромъ ко мнѣ указать какую нибудь соціальную мысль духоборцевъ, молоканъ, какое нибудь коммунистическое ученіе Ѳедосѣевцевъ; онъ былъ въ восторгѣ отъ ихъ скитанія по лѣсамъ, ставилъ идеаломъ своей жизни скитаться между ними и сдѣлаться учителемъ соціально-христіанскаго раскола въ Бѣлокриницѣ или Россіи.

И дѣйствительно, Кельсіевъ былъ въ душѣ "бѣгуномъ", бѣгуномъ нравственнымъ и практическимъ: его мучили неустоявшіяся мысли, тоска. На одномъ мѣстѣ онъ оставаться не могъ. Онъ нашелъ работу, занятіе, безбѣдное пропитаніе, но не нашелъ дѣла, которое-бы поглотило совсѣмъ его безпокойный темпераментъ; онъ былъ готовъ искать его, готовъ былъ не только идти всюду, но поступить въ монахи, принявъ священство безъ вѣры.

Настоящій русскій человѣкъ, Кельсіевъ всякій мѣсяцъ дѣлалъ новую программу занятій, придумывалъ проэкты и брался за новую работу, не кончивъ старой. Работалъ онъ запоемъ и запоемъ ничего не дѣлалъ. Онъ схватывалъ вещи легко, но тотчасъ удовлетворялся до пресыщенія, изъ всего тянулъ онъ съ разу жилы до послѣдняго вывода, а иногда и подальше.

Сборникъ о раскольникахъ шелъ успѣшно; онъ издалъ шесть частей, быстро расходившихся. Правительство, видя это, позволило обнародованіе свѣденій о старообрядцахъ. Тоже случилось съ переводомъ библіи. Переводъ съ Еврейскаго не удался, Кельсіевъ попробовалъ сдѣлать un tour de force и перевести "слово въ слово", не смотря на то, что грамматическія формы семитическихъ языковъ вовсе не совпадаютъ съ славянскими. Тѣмъ не меньше, вынущенные ливрезоны разошлись мгновенно, и святѣйшій сунодъ, испугавшись заграничнаго изданія, благословилъ печатаніе стараго завѣта на русскомъ языкѣ. Эти обратныя побѣды

никогда никѣмъ не были поставлены въ crédit нашего станка.

Въ концѣ 1862 Кельсіевъ отправился въ Москву съ цѣлью завести прочныя связи съ раскольниками. Поѣздку эту онъ когда нибудь долженъ самъ разсказать. Она невѣроятна, невозможна, а на дѣлѣ дѣйствительно была. Въ этой поѣздкѣ отвага граничитъ съ безумiемъ; въ ней опрометчивость почти преступная, но уже конечно не я буду его винить въ ней. Неосторожная болтовня за границей могла сдѣлать много бѣдъ. Но къ дѣлу и оцѣнкѣ самой поѣздки это не идетъ.

Возвратясь въ Лондонъ, онъ принялся по требованію Трюбнера за составленіе русской грамматики для англичанъ и за переводъ какой-то финансовой книги. Ни того, ни другаго онъ не кончилъ : путешествіе сгубило его Sitzfleiss. Онъ тяготился работой, впадалъ въ ипохондрію, унывалъ; а работа была нужна, денегъ опять не было ни гроша. Къ тому-же и новый червь начиналъ точить его. Успѣхъ поѣздки, безспорно доказанная отвага, таинственные переговоры, побѣда надъ опасностями, все это раздуло въ его груди и безъ того сильную струю самолюбія; обратно Цезарю, Донъ Карлосу и Вадиму Пассекъ, Кельсіевъ, запуская руки въ свои густые волосы, говорилъ, покачивая грустно головой: "Еще нѣтъ тридцати лѣтъ, и уже такая отвѣтственность взята мною на плечи". Изъ всего этого легко можно было понять, что грамматики онъ не кончитъ, а уйдетъ. Онъ и ушелъ. Ушелъ онъ въ Турцію, съ твердымъ намѣреніемъ еще больше сблизиться съ раскольниками, составить новыя связи и, если возможно, остаться тамъ и начать проповѣдь вольной церкви и общиннаго житья. Я писалъ ему длинное письмо, убѣждая его не ѣздить, а продолжать работу. Но страсть къ скитанію, желаніе подвига и великой судьбы, мерещившейся ему, были сильнѣе, и онъ уѣхалъ. Онъ и Мартьяновъ исчезаютъ почти въ одно время. Одинъ, чтобъ

послѣ ряда несчастій и испытаній, хоронить своихъ и потеряться между Яссами и Галацомъ; другой, чтобъ схоронить себя на каторжной работѣ, куда его сослала неслыханная тупость царя и неслыханная злоба мстящихъ помѣщиковъ-сенаторовъ.

Послѣ нихъ являются на сцену люди другаго чекана. Наша общественная метаморфоза, не имѣя большой глубины и захватывая очень тонкій слой, быстро изнашиваетъ и измѣняетъ формы и цвѣта.

Между Энгельсономъ и Кельсіевымъ уже цѣлая формація, какъ между нами и Энгельсономъ. Энгельсонъ былъ человѣкъ сломленный, оскорбленный; зло, сдѣланное ему всей средой, міазмы, которыми онъ дышаль съ дѣтства, изуродовали его. Лучь свѣта скользнулъ по немъ и отогрѣлъ его года за три до его смерти, когда уже неостанавливаемый недугъ грызъ его грудь. Кельсіевъ, тоже помятый и попорченный средой, явился однако безъ отчаянія и устали; оставаясь за границей, онъ не просто шелъ на покой, не просто бѣжалъ безъ оглядки отъ тяжести: онъ шелъ куда-то. Куда?— этого онъ не зналъ (и тутъ всего ярче выразился видовой оттѣнокъ его пласта), опредѣленной цѣли онъ не имѣлъ; онъ ее искалъ и покамѣсть осматривался и приводилъ въ порядокъ, а пожалуй и въ безпорядокъ, всю массу идей, захваченныхъ въ школѣ, книгахъ и жизни. Внутри у него шла ломка, о которой мы говорили, и она для него была существеннымъ вопросомъ, которымъ онъ жилъ, выжидая или такого дѣла, которое поглотило-бы его, или такую мысль, которой-бы онъ отдался.

Потаскавшись въ Турціи, Кельсіевъ рѣшился поселиться въ Тульчѣ; тамъ онъ хотѣлъ учредить средоточіе своей пропаганды между раскольниками, школу для казацкихъ дѣтей и сдѣлать опытъ Общинной жизни, въ которой прибыль и убыль должна была падать на всѣхъ, чистая и не чистая, легкая и трудная работа—обдѣлываться всѣми. Дешевизна

помѣщенья и съѣстныхъ припасовъ дѣлали опытъ возможнымъ. Онъ сблизился съ старымъ атаманомъ Некрасовцевъ, Гончаромъ, и въ началѣ превозносилъ его до небесъ.

Лѣтомъ въ 1863 подъѣхалъ къ нему его меньшой братъ Иванъ, прекрасный, даровитый юноша. Онъ былъ по студентскому дѣлу высланъ изъ Москвы въ Пермь; тамъ попался къ негодяю губернатору, который его тѣснилъ. Потомъ его опять вызвали въ Москву для какихъ-то показаній; ему грозила ссылка далѣе Перми. Онъ бѣжалъ изъ частнаго дома и пробрался черезъ Константинополь въ Тульчу. Старшій братъ былъ чрезвычайно радъ ему; онъ искалъ товарищей и наконецъ звалъ жену, которая рвалась къ нему, и жила на нашемъ попеченьи въ Тедингтонѣ. Пока мы ее снаряжали, явился въ Лондонъ и самъ Гончаръ.

Хитрый старикъ, почуявшій смуты и войны, вышелъ изъ своей берлоги понюхать воздухъ и посмотрѣть, чего откуда можно ждать, т. е. съ кѣмъ идти и противъ кого. Не зная ни одного слова кромѣ по русски и по турецки, онъ отправился въ Марсель и оттуда въ Парижъ. Въ Парижѣ онъ видѣлся съ Чарторижскимъ и Замойскимъ; говорятъ даже, что ето возили къ Наполеону; отъ него я этого не слыхалъ. Переговоры ни къ чему не привели, и сѣдой казакъ, качая головой и щуря лукавыми глазами, написалъ каракульками семнадцатаго столѣтія ко мнѣ письмо, въ которомъ, называя меня "графомъ", спрашивалъ—можетъ-ли пріѣхать къ намъ и какъ насъ найти. Мы жили тогда въ Тедингтонѣ; безъ языка не легко было добраться до насъ, и я поѣхалъ въ Лондонъ на желѣзную дорогу встрѣтить его. Выходитъ изъ вагона старый русскій мужикъ, изъ зажиточныхъ, въ сѣромъ кафтанѣ, съ русской бородой, скорѣе худощавый, но крѣпкій, мускулистый, довольно высокій и загорѣлый, несетъ узелокъ въ цвѣтномъ платкѣ.

— Вы Осипъ Семеновичъ? спрашиваю я.

— Я, батюшка, я. — Онъ подалъ мнѣ руку. Кафтанъ

распахнулся, и я увидѣлъ на поддевкѣ большую звѣзду, разумѣется турецкую : русскихъ звѣздъ мужикамъ не даютъ. Поддевка была синяя и оторочена широкой пестрой тесьмой, этого я въ Россіи не видалъ.

— Я такой-то, пріѣхалъ васъ встрѣтить, да проводить къ намъ.

— Что-же ты это, ваше сіятельство, самъ безпокоился... того... ты бы того, кого нибудь...

— Это ужъ оттого видно, что я не сіятельство. Съ чего-же, Осипъ Семеновичъ, вы выдумали меня называть графомъ?

— А Христосъ тебя знаетъ, какъ величать; ты не бось въ своемъ дѣлѣ во главѣ стоишь. Ну, а я—того, человѣкъ темный, ну и говорю : графъ, т. е. сіятельный, т. е. голова.

Не только оборотъ рѣчи, но и произношеніе у Гончара было великорусское, крестьянское. Какъ у нихъ въ захолустьи, окруженномъ иноплеменными, такъ славно сохранился языкъ? — трудно было бы понять безъ старообрядческаго перщенія. Расколъ ихъ выдѣлилъ такъ строго, что никакое чужое вліяніе не переходило за ихъ частоколъ.

Гончаръ прожилъ у насъ три дня. Первые дни онъ ничего не ѣлъ, кромѣ сухаго хлѣба, который привезъ съ собой, и пилъ одну воду. На третій день было воскресенье; онъ разрѣшилъ себѣ стаканъ молока, рыбу, вареную въ водѣ и, если не ошибаюсь, рюмку хереса.

Русское себѣ на умѣ, восточная хитрость, осмотрительность охотника, сдержанность человѣка, привыкшаго съ дѣтскихъ лѣтъ къ полному безправію и къ сосѣдству сильныхъ враговъ, долгая жизнь, проведенная въ борьбѣ, въ настойчивомъ трудѣ, въ опасностяхъ, все это такъ и сквозило изъ за мнимо простыхъ чертъ и простыхъ словъ сѣдаго казака. Онъ постоянно оговаривался, употреблялъ уклончивыя фразы, тексты изъ Священнаго Писанія, дѣлалъ скромный видъ, очень сознательно разсказывая о своихъ успѣхахъ и,

если иногда увлекался въ разсказахъ о прошломъ и говорилъ много, то навѣрное никогда не проговорился о томъ, о чемъ хотѣлъ молчать.

Этотъ закалъ людей на Западѣ почти не существуетъ. Онъ не нуженъ такъ, какъ не нужна дамаская сталь для лезвія перочиннаго ножа.

Въ Европѣ все дѣлается гуртомъ, массой; человѣку одиночно не нужно столько силы и осторожности.

Въ успѣхъ польскаго дѣла онъ уже не вѣрилъ и говорилъ о своихъ парижскихъ переговорахъ, покачивая головой. — "Намъ конечно гдѣ-же сообразить: мы люди маленькіе, темные, а они вонъ поди какъ, ну вельможи, какъ слѣдуетъ; только эдакъ нравъ-то легкій. Ты, молъ, Гончаръ не сумлевайся: вотъ какъ справимся, мы то и то сдѣлаемъ для тебя напримѣръ. Понимаешь?... все будетъ въ удовольствіе. Оно точно, люди они добрые, да поди вотъ, когда справятся... съ такой политикой". Ему хотѣлось разузнать какія у насъ связи съ раскольниками и какія опоры въ краѣ; ему хотѣлось осязать, можетъ-ли быть практическая польза въ связи старообрядцевъ съ нами. Въ сущности для него было все равно, онъ пошелъ-бы равно съ Польшей и Австріей, съ нами и съ Греками, съ Россіей и съ Турціей, лишь-бы это было выгодно для его Некрасовцевъ. Онъ и отъ насъ уѣхалъ, качая головой. Написалъ потомъ два-три письма, въ которыхъ между прочимъ жаловался на Кельсіева и подалъ, вопреки нашего мнѣнія, адресъ государю.

Въ началѣ 1864 поѣхали въ Тульчу два русскихъ офицера, оба эмигранта, Краснопѣвцевъ и В. Маленькая колонія сначала дружно принялась за работу. Они учили дѣтей и солили огурцы, чинили свои платья и копались въ огородѣ. Жена Кельсіева варила обѣдъ и обшивала ихъ. Кельсіевъ былъ доволенъ началомъ, доволенъ казаками и раскольниками, товарищами и турками (*).

(*) И вотъ эта ужасная Тульчинская агенція, имѣвшая сношенія съ все-

Кельсіевъ писалъ еще намъ свои юмористическіе разсказы о ихъ водвореніи, а уже черная рука судьбы была занесена надъ маленькой кучкой Тульчинскихъ общинниковъ. Въ Іюнѣ мѣсяцѣ 1864, ровно черезъ годъ послѣ своего пріѣзда, умеръ двадцати трехъ лѣтъ отъ роду, на рукахъ своего брата, въ злѣйшемъ тифѣ, Иванъ Кельсіевъ. Смерть его была для брата страшнымъ ударомъ; онъ самъ занемогъ, но какъ-то отходился. Письма его того времени ужасны. Духъ, поддерживавшій отшельниковъ, упалъ, угрюмая скука овладѣвала ими; начались преступленія и ссоры. Гончаръ писалъ, что Кельсіевъ сильно пьетъ. Краснопѣвцевъ застрѣлился. В. ушелъ. Дальше не могъ вытерпѣть и Кельсіевъ; онъ взялъ свою жену и своихъ дѣтей (у него еще родился ребенокъ) и, безъ средствъ, безъ цѣли, отправился сначала въ Константинополь, потомъ въ Дунайскія княжества. Совершенно отрѣзанный отъ всѣхъ, отрѣзанный на время даже отъ насъ, онъ въ это время разошелся съ Польской эмиграціей въ Турціи. Напрасно искалъ онъ заработать кусокъ хлѣба, съ отчаяніемъ смотрѣлъ онъ на изнуреніе бѣдной женщины и дѣтей. Деньги, которыя мы посылали иногда, не могли быть достаточны. "Случалось, что у насъ вовсе не было хлѣба",—писала не за долго до своей смерти его жена. Наконецъ послѣ долгихъ усилій Кельсіевъ нашелъ въ Галацѣ мѣсто "надзирателя за шосейными работами". Скука томила, грызла его. Онъ не могъ не винить себя въ положеніи семьи. Невѣжество дико-восточнаго міра оскорбляло его; онъ въ немъ чахнулъ и рвался вонъ. Вѣру въ раскольниковъ онъ утратилъ; вѣру въ Польшу утратилъ; вѣра въ людей, въ науку, въ революцію, колебались сильнѣй и сильнѣй, и можно было легко предсказать, когда и она

мірной революціей, поджигавшая русскія деревни на деньги изъ Мацциневскихъ кассъ, грозно дѣйствовавшая года черезъ два послѣ того, какъ перестала существовать, и теперь еще поминаемая въ литературѣ сыщиковъ и въ Полицейскихъ Вѣдомостяхъ Каткова!

рухнется. Онъ только и мечталъ, чтобъ во что бы то ни стало вырваться опять на свѣтъ, пріѣхать къ намъ, и съ ужасомъ видѣлъ, что ему покинуть семью нельзя. "Еслибъ я былъ одинъ,—писалъ онъ нѣсколько разъ,—я съ дагеротипомъ или органомъ ушелъ бы куда глаза глядятъ и, потаскавшись по міру, пѣшкомъ явился бы въ Женеву".

Помощь была близка.

"Малуша" (такъ звали старшую дочь) легла здоровая спать, проснулась ночью больная; къ утру умерла холерой. Черезъ нѣсколько дней умеръ меньшой; мать свезли въ больницу. У ней открылась острая чахотка.

"Помнишь-ли, ты когда-то мнѣ обѣщалъ сказать когда я буду умирать, что это смерть. Смерть-ли это?"

"Смерть, другъ мой, смерть".

И она еще разъ улыбнулась, впала въ забытье и умерла.

ОТРЫВОКЪ ИЗЪ ПИСЬМА

..... Намъ пишутъ изъ Петербурга, что на дняхъ начальникъ Скулянской таможни получилъ за подписью "В. Кельсіевъ" письмо, предворявшее его, что пассажиръ, имѣющій прибыть на эту таможню съ правильнымъ турецкимъ паспортомъ на имя Ивана Желудкова, есть никто иной какъ онъ, г. Кельсіевъ, и что онъ, желая предать себя въ руки русскаго правительства, проситъ арестовать себя и препроводить въ Петербургъ.

ОБЩІЙ ФОНДЪ

Едва Кельсіевъ ушелъ за порогъ, новые люди, вытѣсненные суровымъ холодомъ 1863, стучались у нашихъ дверей. Они шли не изъ готовальни наступающаго переворота, а съ обрушившейся сцены, на которой уже выступали актерами. Они укрывались отъ внѣшней бури и ничего не искали внутри, имъ нуженъ былъ временный пріютъ, пока погода уляжется, пока снова представится возможность идти въ бой. Люди эти очень молодые покончили съ идеями, съ образованіемъ; теоритическіе вопросы ихъ не занимали отчасти отъ того, что они у нихъ еще не возникали, отчасти отъ того, что у нихъ дѣло шло о приложеніи. Они были побиты матерьяльно, но дали доказательства своей отваги. Свернувши знамя, имъ приходилось хранить его честь. Отсюда сухой тонъ, cassant, raide, рѣзкій и нѣсколько поднятой. Отсюда военное, нетерпѣливое отвращеніе отъ долгаго обсуживанія, критики, нѣсколько изысканное пренебреженье ко всѣмъ умственнымъ роскошамъ, въ числѣ которыхъ ставилось на первомъ планѣ искусство. Какая тутъ музыка, какая поэзія! "Отечество въ опасности, aux armes, citoyens!" Въ нѣкоторыхъ случаяхъ они были отвлеченно правы, но сложнаго и запутаннаго процесса уравновѣшенія идеала съ существующимъ они не брали въ расчетъ и, само собой разумѣется, свои мнѣнія и воззрѣнія принимали за воззрѣнія и мнѣнія цѣлой Россіи. Винить за это нашихъ молодыхъ штурмановъ будущей бури было-бы несправедливо. Это общеюношеская

черта; годъ тому назадъ одинъ французъ, поклонникъ Конта, увѣрялъ меня, что католицизмъ во Франціи не существуетъ и complétement perdu le terrain, между прочимъ, ссылался на медицинскій факультетъ, на профессоровъ и студентовъ, которые не только не католики, но и не деисты. "Ну, а та часть Франціи,—замѣтилъ я,—которая не читаетъ и не слушаетъ медицинскихъ лекцій? — Она конечно держится за религію и обряды,—но больше по привычкѣ и по невѣжеству". — Очень вѣрно, но что-же вы сдѣлаете съ нею? — "А что сдѣлали въ 1792 году?" — Немного: революція сначала заперла церкви, а потомъ открыла. Вы помните отвѣтъ Ожеро Наполеону, когда праздновали конкордатъ: Нравится-ли тебѣ церемонія?—спросилъ консулъ, выходя изъ Нотръ-Дамъ. Якобинецъ-генералъ отвѣчалъ: "Очень, жаль только, что не достаетъ тѣхъ двухъ сотъ тысячъ человѣкъ, которые легли костьми, чтобъ уничтожить подобныя церемоніи".

— A bah!—мы стали умнѣе и не откроемъ церковныхъ дверей, — или лучше, не запремъ ихъ вовсе и отдадимъ копища суевѣрія подъ школы.

— L'infâme sera écrasée, докончилъ я смѣясь.

— Да, безъ сомнѣнія;—это вѣрно!

— Но мы-то съ вами не увидимъ этого;—это еще вѣрнѣе.

Въ этомъ взглядѣ на окружающій міръ сквозь подкрашенную личнымъ сочувствіемъ призму лежитъ половина всѣхъ революціонныхъ неуспѣховъ. Жизнь молодыхъ людей, — вообще, идущая въ своего рода шумномъ и замкнутомъ затворничествѣ, вдали отъ будничной и валовой борьбы изъ за личныхъ интересовъ,—рѣзко схватывая общія истины,— почти всегда срѣзывается на ложномъ пониманіи ихъ приложенія къ нуждамъ дня.

... Сначала новые гости оживили насъ разсказами о петербургскомъ движеніи, о дикихъ выходкахъ оперившейся

реакціи, о процессахъ и преслѣдованіяхъ, объ университетскихъ и литературныхъ партіяхъ; — потомъ, когда все это было передано съ той скоростью, съ которой въ этихъ случаяхъ торопятся все сообщить, наступили паузы, гіатусы;— бесѣды наши сдѣлались скучны, однообразны...

— Неужели,— думалъ я — это въ самомъ дѣлѣ старость, разводящая два поколѣнія? Холодъ, вносимый лѣтами, усталью, испытаньями?

Какъ-бы то ни было, я чувствовалъ, что, съ появленіемъ новыхъ людей, горизонтъ нашъ не расширился... а съузился; діаметръ разговоровъ сталъ короче; намъ иной разъ нечего было другъ другу сказать. Ихъ занимали подробности ихъ круговъ, за границей которыхъ ихъ ничто не занимало. Однажды передавши все интересное объ нихъ,— приходилось повторять, и они повторяли. Наукой или дѣлами они занимались мало; — даже мало читали и не слѣдили правильно за газетами. Поглощенные воспоминаніями и ожиданіями, они не любили выходить въ другія области; — а намъ не доставало воздуха въ этой спертой атмосферѣ. Мы, избаловавшись другими размѣрами,— задыхались!

Къ тому-же, если они и знали извѣстный слой Петербурга, то Россіи вовсе не знали и, искренно желая сблизиться съ народомъ,— сближались съ нимъ книжно и теоретически.

Общее между нами было слишкомъ о б щ е. Вмѣстѣ идти, с л у ж и т ь по французскому выраженію, вмѣстѣ что нибудь дѣлать — мы могли, но вмѣстѣ стоять и жить сложа руки было трудно. О серьезномъ вліяніи и думать было нечего. Болѣзненное и очень безцеремонное самолюбіе — давно закусило удила (*). Иногда, правда, они требовали программы,

(*) Самолюбіе ихъ не было такъ велико,— какъ задорно и раздражительно, а главное невоздержанно на слова. Они не могли скрыть ни зависти, ни своего рода щепетильнаго требованія — чинопочитанія по рангу, ими присвоенному. При этомъ сами они смотрѣли на все свысока— и постоянно трунили другъ надъ другомъ,— отчего ихъ дружбы никогда не продолжались дольше мѣсяца.

руководства, но при всей искренности, это было не въ самомъ дѣлѣ. Они ждали, чтобы мы формулировали ихъ собственное мнѣніе и только въ томъ случаѣ соглашались, когда высказанное нами нисколько не противорѣчило ему. На насъ они смотрѣли какъ на почтенныхъ инвалидовъ, какъ на прошедшее, и наивно дивились, что мы еще не очень отстали отъ нихъ.

Я всегда и во всемъ боялся "пуще всѣхъ печалей" мезальянсовъ, всегда ихъ допускалъ долею по гуманности, долею по небрежности, и всегда страдалъ отъ нихъ.

Предвидѣть было не мудрено, что новыя связи долго не продержатся, что рано или поздно онѣ разорвутся и что этотъ разрывъ, взявъ въ разсчетъ шероховатый характеръ новыхъ пріятелей, не обойдется безъ дурныхъ послѣдствій.

Вопросъ, на которомъ покачнулись шаткія отношенія, былъ именно тотъ старый вопросъ, на которомъ обыкновенно разрываются знакомства, сшитыя гнилыми нитками.—Я говорю о деньгахъ. Не зная вовсе ни моихъ средствъ, ни моихъ жертвъ, они предъявляли на меня требованія, которыя удовлетворять я не считалъ справедливымъ. Если я могъ черезъ всѣ невзгоды, безъ малѣйшей поддержки, провести лѣтъ пятнадцать русскую пропаганду, то я могъ это сдѣлать, налагая мѣру и границу на другія траты. Новые знакомые находили, что все, дѣлаемое мною, мало, и съ негодованіемъ смотрѣли на человѣка, прикидывающагося соціалистомъ и не раздающаго своего достоянія на дуванъ людямъ не работающимъ, но желающимъ денегъ. Очевидно, они стояли еще на непрактической точкѣ зрѣнія христіанской милостыни и добровольной нищеты, принимая ее за практическій соціализмъ.

Опыты собранія "Общаго фонда" не дали важныхъ результатовъ. Русскіе не любятъ давать денегъ на общее дѣло, если при немъ нѣтъ сооруженія церкви, обѣда, попойки и высшаго одобряющаго начальства.

Въ самый разгаръ эмигрантскаго безденежья, разнесся слухъ, что у меня есть какая-то сумма денегъ, врученная мнѣ для пропаганды.

Молодымъ людямъ казалось справедливымъ ее у меня отобрать.

Для того, чтобы понять это, слѣдуетъ разсказать объ одномъ странномъ случаѣ, бывшемъ въ 1858 году. Однимъ утромъ я получилъ записку, очень короткую, отъ какого-то незнакомаго русскаго; онъ писалъ мнѣ, что имѣетъ "необходимость меня видѣть" и просилъ назначить время.

Я въ это время шелъ въ Лондонъ, а потому, вмѣсто всякаго отвѣта, зашелъ самъ въ Саблоньеръ-отель и спросилъ его. Онъ былъ дома. Молодой человѣкъ съ видомъ кадета, застѣнчивый, очень невеселый и съ особой наружностью, довольно топорно отдѣланной, седьмыхъ-восьмыхъ сыновей степныхъ помѣщиковъ. Очень неразговорчивый, онъ почти все молчалъ; видно было, что у него что-то на душѣ,—но онъ не дошелъ до возможности высказать что.

Я ушелъ, пригласивши его дня черезъ два-три обѣдать. Прежде этого я его встрѣтилъ на улицѣ.—"Можно съ вами идти?"—спросилъ онъ.

— Конечно не. мнѣ съ вами опасно,—а вамъ со мной. Но Лондонъ великъ.

— Я не боюсь,—и тутъ вдругъ, закусивши удила, онъ быстро проговорилъ: "я никогда не возвращусь въ Россію —нѣтъ, нѣтъ, я рѣшительно не возвращусь въ Россію....

— Помилуйте, вы такъ молоды?

— Я Россію люблю,—очень люблю;—но тамъ люди..... тамъ мнѣ не житье. Я хочу завести колонію на совершенно соціальныхъ основаніяхъ; это все я обдумалъ и теперь ѣду прямо туда.

— То есть куда?

— На Маркизскіе острова.

Я смотрѣлъ на него съ нѣмымъ удивленіемъ.

— Да, да; это дѣло рѣшенное. Я плыву съ первымъ пароходомъ и потому очень радъ, что васъ встрѣтилъ сегодня —могу я вамъ сдѣлать нескромный вопросъ?

— Сколько хотите.

— Имѣете вы выгоду отъ вашихъ публикацій?

— Какая-же выгода; хорошо, что теперь печать окупается.

— Ну, а если не будетъ окупаться?

— Буду приплачивать.

— Стало въ вашу пропаганду не входятъ никакія торговыя цѣли?

Я расхохотался.

— Ну, да какъ-же вы будете одни приплачивать? А пропаганда ваша необходима. Вы меня простите, я не изъ любопытства спрашиваю: —у меня была мысль, оставляя Россію на всегда, сдѣлать что нибудь полезное для нея, я и рѣшился оставить у васъ немного денегъ. На случай, если вашей типографіи нужно, или для русской пропаганды вообще, такъ вы бы и распорядились.

Мнѣ опять пришлось посмотрѣть на него съ удивленіемъ.

— Ни типографія, ни пропаганда, ни я, въ деньгахъ мы не нуждаемся; напротивъ, дѣло идетъ въ гору; зачѣмъ-же я возьму ваши деньги?—но отказываясь отъ нихъ, позвольте мнѣ отъ души поблагодарить за доброе намѣренье.

— Нѣтъ-съ, это дѣло рѣшенное. У меня пятдесятъ тысячъ франковъ, тридцать я беру съ собой на острова,—двадцать отдаю вамъ на пропаганду.

— Куда-же я ихъ дѣну?

— Ну, не будетъ нужно, вы отдадите мнѣ, если я возвращусь; а не возвращусь лѣтъ черезъ десять, или умру,— употребите ихъ на усиленіе вашей пропаганды. Только,— добавилъ онъ,—подумавши,—дѣлайте что хотите, но... но не отдавайте ничего моимъ наслѣдникамъ. Вы завтра утромъ свободны?

— Пожалуй.

— Сводите меня, сдѣлайте одолженіе, въ банкъ и къ Ротшильду; я ничего не знаю и говорить не умѣю по англійски, —и по французски очень плохо. Я хочу скорѣе отдѣлаться отъ двадцати тысячь и ѣхать.

— Извольте, я деньги принимаю — но вотъ на какихъ основаніяхъ: я вамъ дамъ росписку.

— Никакой росписки мнѣ не нужно.

— Да, но мнѣ нужно дать,—я безъ этого вашихъ денегъ не возьму. Слушайте-же. Во-первыхъ, въ роспискѣ будетъ сказано, что деньги ваши ввѣряются не мнѣ одному, а мнѣ и Огареву. Во-вторыхъ, такъ какъ вы можетъ соскучитесь на Маркизскихъ островахъ и у васъ явится тоска по родинѣ, (онъ покачалъ головой)... почемъ знаешь чего не знаешь... то писать о цѣли, съ которой вы даете капиталъ, не слѣдуетъ, а мы скажемъ, что деньги эти отдаются въ полное распоряженіе мое и Огарева;—буде-же мы инаго распоряженія не сдѣлаемъ, мы купимъ для васъ на всю сумму какихъ нибудь бумагъ, гарантированныхъ англійскимъ правительствомъ, въ 5% или около. За тѣмъ, даю вамъ слово, что безъ явной крайности для пропаганды, мы денегъ вашихъ не тронемъ; вы на нихъ можете считать во всѣхъ случаяхъ, кромѣ банкрутства въ Англіи.

— Коли хотите непремѣнно дѣлать столько затрудненій, дѣлайте ихъ. А завтра ѣдемъ за деньгами!

Слѣдующій день былъ необыкновенно смѣшенъ и суетливъ. Началось съ банка и Ротшильда. Деньги выдали ассигнаціями. Б. возымѣлъ сначала благое намѣреніе размѣнять ихъ на испанское золото или серебро. Конторщики Ротшильда смотрѣли на него съ изумленіемъ,—но когда вдругъ, какъ съ просонья, онъ сказалъ совершенно ломаннымъ франко-русскимъ языкомъ: "—ну, такъ летръ креди иль Маркизъ", тогда Кеснеръ, директоръ бюро, обернулъ на меня испуганный и тоскливый взглядъ, который лучше словъ говорилъ: "Онъ не опасенъ-ли?" Еще никогда въ домѣ у Ротшильда никто не требовалъ кредитива на Маркизскія острова.

Рѣшились тридцать тысячь взять золотомъ и ѣхать домой; по дорогѣ заѣхали въ кафе, я написалъ росписку; Б. съ своей стороны написалъ мнѣ, что отдаетъ въ полное распоряженіе мое и Огарева восемьсотъ фунтовъ; потомъ онъ ушелъ за чѣмъ-то домой, а я отправился его ждать въ книжную лавку; — черезъ четверть часа онъ пришелъ блѣдный какъ полотно и объявилъ, что у него изъ 30,000 недостаетъ 250 франковъ, т. е. 10 фунтовъ.

Онъ былъ совершенно сконфуженъ. Какъ потеря 250 фр. могла такъ перевернуть человѣка, отдавшаго безъ всякой прочной гарантіи 20,000, опять психологическая загадка натуры человѣческой.—Нѣтъ-ли лишней бумажки у васъ? Со мной денегъ нѣтъ, я отдалъ Ротшильду и вотъ росписка : ровно 800 фунтовъ получено. Б., размѣнявшій безъ всякой нужды на фунты свои ассигнаціи, разсыпалъ на конторѣ Тхоржевскаго 30,000; считалъ, пересчитывалъ,—нѣтъ 10 фунтовъ да и только. Видя его отчаяніе, я сказалъ Тхоржевскому : я какъ нибудь на себя возьму эти проклятые 10 фунтовъ, а то онъ-же сдѣлалъ доброе дѣло—да онъ-же и наказанъ.

— Горевать и толковать тутъ не поможетъ, прибавилъ я ему : я предлагаю ѣхать сейчасъ къ Ротшильду.

Мы поѣхали. Было уже позже четырехъ и касса заперта. Я взошелъ съ сконфуженнымъ Б. Кеснеръ посмотрѣлъ на него — и улыбаясь, взялъ со стола 10 фунтовую ассигнацію и подалъ ее мнѣ.— Это какимъ образомъ? — Вашъ другъ, мѣняя деньги, далъ вмѣсто двухъ 5 фунт.—двѣ десяти фунт. ассигнаціи, а я сначала не замѣтилъ. Б. смотрѣлъ, смотрѣлъ и прибавилъ : “Какъ глупо, одного цвѣта и 10 фунтовъ и 5 фунтовъ; кто-же догадается,—видите какъ хорошо, что я размѣнялъ деньги на золото”.

Успокоившись, онъ поѣхалъ ко мнѣ обѣдать, а на другой день я обѣщался придти къ нему проститься. Онъ былъ совсѣмъ готовъ. Маленькій кадетскій или студентскій, вытертой, растертый чемоданчикъ, шинель перевязанная ремнемъ

и... и... тридцать тысячь франковъ золотомъ, завязанные въ толстомъ фулярѣ такъ, какъ завязываютъ фунтъ крыжовнику или орѣховъ.

Такъ ѣхалъ этотъ человѣкъ на Маркизскія острова.

— Помилуйте,—говорилъ я ему,—да васъ убютъ и ограбятъ прежде, чѣмъ вы отчалите отъ берега. Положите лучше въ чемоданчикъ деньги.

— Онъ полонъ.

— Я вамъ сакъ достану.

— Ни подъ какимъ видомъ.—Такъ и уѣхалъ. Я первые дни думалъ, чего добраго его укокошатъ—а на меня падетъ подозрѣніе, что я подослалъ его убить.

Съ тѣхъ поръ объ немъ не было ни слуху, ни духу..... Деньги его я положилъ въ фонды, съ твердымъ намѣреніемъ не касаться до нихъ безъ крайней нужды типографіи или пропаганды.

Въ Россіи долгое время никто не зналъ объ этомъ; потомъ ходили смутные слухи—чему мы обязаны двумъ-тремъ нашимъ пріятелямъ, давшимъ слово не говорить объ этомъ. Наконецъ узнали, что деньги дѣйствительно есть и хранятся у меня.

Вѣсть эта пала какимъ-то яблокомъ искушенья, какимъ-то хроническимъ возбужденіемъ и ферментомъ. Оказалось, что эти деньги нужны всѣмъ,—а я ихъ не давалъ. Мнѣ не могли простить, что я не потерялъ всего своего состоянія,—а тутъ у меня депо, данный для пропаганды;—а кто-же пропаганда какъ не они? Сумма вскорѣ выросла изъ скромныхъ франковъ въ рубли серебромъ, и дразнила еще больше желавшимъ сгубить ее частно на общее дѣло. Негодовали на В., что онъ мнѣ деньги ввѣрилъ, а не кому нибудь другому; самые смѣлые утверждали, что это съ его стороны ошибка, что онъ дѣйствительно хотѣлъ отдать ихъ не мнѣ, а одному петербургскому кругу и что, не зная какъ это сдѣлать, отдалъ въ Лондонѣ мнѣ. Отважность въ этихъ сужденіяхъ была тѣмъ замѣчательнѣе, что о фамиліи Б. такъ-же никто

не зналъ, какъ и о его существованіи, и что онъ о своемъ предположеніи ни съ кѣмъ не говорилъ до своего отъѣзда, а послѣ его отъѣзда съ нимъ никто не говорилъ.

Однимъ деньги эти нужны были для посылки эмисаровъ; другимъ для образованья центровъ на Волгѣ; третьимъ для изданія журнала. "Колоколомъ" они были недовольны и на наше приглашеніе работать въ немъ, что-то подавались туго.

Я рѣшительно денегъ не давалъ и пусть требовавшіе ихъ сами скажутъ, гдѣ онѣ были-бы, еслибъ я далъ ихъ.

— Б. — говорилъ я — можетъ воротиться безъ гроша; трудно сдѣлать аферу, заводя соціалистическую колонію на Маркизскихъ островахъ.

— Онъ навѣрное умеръ.

— А какъ на зло вамъ живъ?

— Да вѣдь онъ деньги далъ на пропаганду.

— Пока мнѣ на нее не нужно.

— Да намъ нужно.

— На что именно?

— Надобно послать кого нибудь на Волгу, кого нибудь въ Одессу.....

— Не думаю, чтобъ очень нужно было.

— Такъ вы не вѣрите въ необходимость послать?

— Не вѣрю.

— Старѣетъ и становится скупъ,—говорили обо мнѣ на разные тоны самые рѣшительные и свирѣпые.—Да что на него смотрѣть; взять у него эти деньги, да и баста,—прибавляли еще больше рѣшительные и свирѣпые.—А будетъ упираться, мы его такъ продернемъ въ журналахъ, что будетъ помнить какъ задерживать чужія деньги.

Денегъ я не далъ.

Въ журналахъ они не продергивали. Ругательства въ печати являются гораздо позже, но то-же изъ за денегъ.

... Эти болѣе свирѣпые, о которыхъ я сказалъ, были тѣ ультра, тѣ угловатые и шершавые представители "новаго поколѣнья", которыхъ можно назвать Собакевичами и Ноздревыми—нигилизма.

Какъ ни излишне дѣлать оговорку, — но я ее сдѣлаю, зная логику и манеру нашихъ противниковъ. Въ моихъ словахъ нѣтъ ни малѣйшаго желанія бросить камень ни въ молодое поколѣніе, ни въ нигилизмъ. О послѣднемъ я писалъ много разъ. Наши собакевичи нигилизма, не составляютъ сильнѣйшаго выраженія ихъ, а представляютъ ихъ черезчурную крайность(*).

Кто-же станетъ христіанство судить по Аршеновымъ хлыстамъ и революцію по сентябрскимъ мясникамъ и робеспьеровскимъ чулочницамъ?

Заносчивые юноши, о которыхъ идетъ рѣчь, заслуживаютъ изученія, потому что они выражаютъ временный типъ, очень опредѣленно вышедшій, очень часто повторявшійся, переходную форму болѣзни нашего развитья изъ прежняго застоя.

Большею частью они не имѣли той выправки, которую даетъ воспитаніе и той выдержки, которая пріобрѣтается научными занятіями. Они торопились въ первомъ задорѣ освобожденія сбросить съ себя всѣ условныя формы и оттолкнуть всѣ каучуковыя подушки, мѣшающія жесткимъ столкновеніямъ. Это затруднило всѣ простѣйшія отношенія съ ними.

Снимая все до послѣдняго клочка, наши enfants terribles гордо являлись какъ мать родила, а родила-то она ихъ плохо, вовсе не простыми дебѣлыми парнями, а наслѣдниками дурной и нездоровой жизни низшихъ петербургскихъ слоевъ. Вмѣсто атлетическихъ мышцъ и юной наготы, об-

(*) Въ то самое время въ Петербургѣ и Москвѣ, даже въ Казани и Харьковѣ, образовывались между университетской молодежью круги, серьезно посвящавшіе себя изученію науки, особенно между медиками. Честно и добросовѣстно трудились они,—но устраненные отъ бойкаго участія въ вопросахъ дня, они не были вынуждены покидать Россію и мы ихъ почти вовсе не знали.

наружились печальные слѣды наслѣдственнаго худосочья, слѣды застарѣлыхъ язвъ и разнаго рода колодокъ и ошейниковъ. Изъ народа было мало выходцевъ между ними. Передняя, казарма, семинарія, мелкопомѣстная господская усадьба, перегнувшись въ противуположное, сохранились въ крови и мозгу, не теряя отличительныхъ чертъ своихъ. На это, сколько мнѣ извѣстно, не обращали должнаго вниманія.

Съ одной стороны реакція противъ стараго, узкаго, давившаго міра должна была бросить молодое поколѣніе въ антагонизмъ и всяческое отрицаніе враждебной среды : тутъ нечего искать, ни мѣры, ни справедливости. Напротивъ, тутъ дѣлается на зло, тутъ дѣлается въ отместку. Вы лицемѣры, мы будемъ циниками; вы были нравственны на словахъ, мы будемъ на словахъ злодѣями; вы были учтивы съ высшими и грубы съ низшими, мы будемъ грубы со всѣми; вы кланяетесь не уважая, мы будемъ толкаться не извиняясь; у васъ чувство достоинства было въ одномъ приличіи и внѣшней чести, мы за честь себѣ поставимъ попраніе всѣхъ приличій и презрѣніе всѣхъ points d'honneur'овъ.

Но съ другой стороны эта, отрѣшенная отъ обыкновенныхъ формъ общежительства, личность была полна своихъ наслѣдственныхъ недуговъ и уродствъ. Сбрасывая съ себя, какъ мы сказали, всѣ покровы, самые отчаянные стали щеголять въ костюмѣ Гоголевскаго “ Пѣтуха”, и при томъ не сохраняя позы Венеры Медицейской. Нагота не скрыла, а раскрыла кто они. Она раскрыла, что ихъ систематическая неотесанность, ихъ грубая и дерзкая рѣчь, не имѣетъ ничего общаго съ неоскорбительной и простодушной грубостью крестьянина, и очень много съ пріемами подъяческаго круга, торговаго прилавка и лакейской помѣщичьяго дома. Народъ ихъ такъ-же мало счелъ за своихъ, какъ славянофиловъ въ мурмолкахъ. Для него они остались чужимъ, низшимъ слоемъ враждебнаго стана, исхудалыми баричами, строкулистами безъ мѣста, нѣмцами изъ русскихъ.

Для полной свободы надобно забыть свое освобожденіе и то, изъ чего освободились, бросить привычки среды, изъ которой выросли. Пока этого не сдѣлано, мы невольно узнаемъ переднюю, казарму, канцелярію и семинарію по каждому ихъ движенію и по каждому слову.

Бить въ рожу по первому возраженію, если не кулакомъ, то ругательнымъ словомъ, называть С.-Миля р а к а л ь е й, забывая всю службу его,—развѣ это не барская замашка, которая "стараго Гаврилу, за измятое жабо хлещетъ въ усъ да въ рыло". Развѣ въ этой и подобныхъ выходкахъ вы не узнаете квартальнаго, исправника, становаго, таскающаго за сѣдую бороду бурмистра? Развѣ въ нахальной дерзости манеръ и отвѣтовъ вы не ясно видите дерзость николаевской офицерщины и въ людяхъ, говорящихъ съ высока и съ пренебреженіемъ о Шекспирѣ и Пушкинѣ, внучатъ Скалозуба, получившихъ воспитаніе въ домѣ дѣдушки, хотѣвшаго "дать фельдфебеля въ Вольтеры"?

Самая проказа взятокъ уцѣлѣла въ домогательствѣ денегъ нахрапомъ, съ пристрастіемъ и угрозами, подъ предлогомъ общихъ дѣлъ, въ поползновеніи кормиться на счетъ службы и мстить кляузами и клеветами за отказъ.

Все это переработается и перемелется; — но нельзя не сознаться — странную почву приготовили царская опека и императорская цивилизація въ нашемъ "темномъ царствѣ". Почву, на которой многообѣщающіе всходы проросли съ одной стороны поклонниками Муравьевыхъ и Катковыхъ, съ другой д а н т и с т а м и нигилизма и базаровской безпардонной вольницы.

Много дренажа требуютъ наши черноземы!

М. Б. И ПОЛЬСКОЕ ДѢЛО

(Продолженіе Главы "Перигей")

Въ концѣ Ноября мы получили отъ Б. слѣдующее письмо:

15 Октября 1861 С. Франсиско. "Друзья, мнѣ удалось бѣжать изъ Сибири и, послѣ долгаго странствованія по Амуру, по берегамъ татарскаго пролива и черезъ Японію, сегодня прибылъ я въ Сан-Франсиско.

"Друзья, всѣмъ существомъ стремлюсь я къ вамъ и, лишь только пріѣду, пріймусь за дѣло, буду у васъ служить по Польско-Славянскому вопросу, который былъ моей idée fixe съ 1846 и моей практической спеціальностью въ 48 и 49 годахъ.

"Разрушеніе, полное разрушеніе Австрійской имперіи, будетъ моимъ послѣднимъ словомъ; не говорю дѣломъ, это было бы слишкомъ честолюбиво; для служенія ему я готовъ идти въ барабанщики, или даже въ прохвосты, и, если мнѣ удастся хоть на волосъ подвинуть его впередъ, я буду доволенъ. А за нимъ является славная, вольная славянская федерація, единственный исходъ для Россіи, Украйны, Польши и вообще для славянскихъ народовъ".

О его намѣреніи уѣхать изъ Сибири мы знали нѣсколько мѣсяцевъ прежде. Къ новому году явилась и собственная пышная фигура Б. въ нашихъ объятіяхъ.

Въ нашу работу, въ нашъ замкнутый двойной союзъ, взошелъ новый элементъ, или пожалуй элементъ старый, воскресшая тѣнь сороковыхъ годовъ и всего больше 1848 года. Б. былъ тотъ-же, онъ состарился только тѣломъ, духъ его былъ молодъ и восторженъ, какъ въ Москвѣ во время всепощныхъ споровъ съ Хомяковымъ; онъ былъ также преданъ одной идеѣ, также способенъ увлекаться, видѣть во всемъ исполненіе своихъ желаній и идеаловъ, и еще больше готовъ на всякій опытъ, на всякую жертву, чувствуя, что жизни впередъ остается не такъ много и что слѣдственно надобно торопиться и не пропускать ни одного случая. Онъ тяготился долгимъ изученіемъ, взвѣшиваніемъ pro и contra и рвался, довѣрчивый и отвлеченный какъ прежде, къ дѣлу, лишь бы оно было среди бурь революціи, среди разгрома и грозной обстановки. Онъ и теперь, какъ въ статьяхъ Жюля Елизара, повторялъ: "Die Lust der Zer-törung ist eine Schaffende Lust". Фантазіи и идеалы, съ которыми его заперли въ Кенигштейнѣ въ 1849, онъ сберегъ и привезъ ихъ черезъ Японію и Калифорнію въ 1861 году, во всей цѣлости. Даже языкъ его напоминалъ лучшія статьи "Реформы" и Vraie République, рѣзкія рѣчи de la Constituante и клуба Бланки. Тогдашній духъ партій, ихъ исключительность, ихъ симпатіи и антипатіи къ лицамъ, пуще всего ихъ вѣра въ близость втораго пришествія революціи,—все было на лицо.

Тюрьма и ссылка необыкновенно сохраняютъ сильныхъ людей, если не тотчасъ ихъ губятъ; они выходятъ изъ нея, какъ изъ обморока, продолжая то, на чемъ лишились сознанія. Декабристы возвратились изъ подъ сибирскаго снѣга моложе потоптанной на корню молодежи, которая ихъ встрѣтила. Въ то время, какъ два поколѣнья французовъ нѣсколько разъ мѣнялись, краснѣли и блѣднѣли, поднимаемые приливами и уносимые назадъ отливами, Барбесъ и Бланки остались безсмѣнными маяками, напоминавшими изъ за тюремныхъ

рѣшотокъ, изъ за чужой дали, прежніе идеалы во всей чистотѣ.

"Польско-Славянскій вопросъ..... разрушеніе Австрійской имперіи..... вольная славянская и славная федерація"..... И все это сейчасъ, какъ только онъ пріѣдетъ въ Лондонъ, и пишетъ изъ С.-Франсиско, одна нога на кораблѣ!

Европейская реакція не существовала для Б., не существовали и тяжелые годы отъ 1848 до 1858; они ему были извѣстны вкратцѣ, издалека, слегка. Онъ ихъ прочелъ въ Сибири, такъ какъ читалъ въ Кайдановѣ о Пуническихъ войнахъ и о паденіи Римской имперіи. Какъ человѣкъ возвратившійся послѣ мора, онъ слышалъ о тѣхъ, которые умерли, и вздохнулъ объ нихъ обо всѣхъ; но онъ не сидѣлъ у изголовья умирающихъ, не надѣялся на ихъ спасеніе, не шелъ за ихъ гробомъ. Совсѣмъ напротивъ, событія 1848 были возлѣ, близки къ сердцу, подробные и живые разговоры съ Косидьеромъ, рѣчи Славянъ на Пражскомъ съѣздѣ, споры съ Араго или Руге : все это было для Б. вчера, звенѣло въ ушахъ, мелькало передъ глазами.

Впрочемъ, оно и сверхъ тюрьмы не мудрено.

Первые дни послѣ Февральской революціи были лучшими днями жизни Б. Возвратившись изъ Бельгіи, куда его вытурилъ Гизо за его рѣчь на Польской годовщинѣ 29 Ноября 1847, онъ съ головой нырнулъ во всѣ тяжкія революціонаго моря. Онъ не выходилъ изъ казармъ Монтаньяровъ, ночевалъ у нихъ, ѣлъ съ ними и проповѣдывалъ, все проповѣдывалъ, комунизмъ et l'égalite du salaire, нивеллированіе во имя равенства, освобожденіе всѣхъ славянъ, уничтоженіе всѣхъ Австрій, революцію en permanence, войну до избіенія послѣдняго врага. Префектъ съ баррикадъ, дѣлавшій "порядокъ изъ безпорядка", Косидьеръ, не зналъ какъ выжить дорогаго проповѣдника и придумалъ съ Флокономъ отправить его въ самомъ дѣлѣ къ Славянамъ съ братской акколадой и увѣренностью, что онъ тамъ себѣ

сломитъ шею и мѣшать не будетъ. Quel homme! Quel homme! говорилъ Косидьеръ о Б. : " въ первый день революціи, это просто кладъ; а на другой день его надобно разстрѣлять" (*).

Когда я пріѣхалъ въ Парижъ изъ Рима въ началѣ Мая 1848, Б. уже витійствовалъ въ Богеміи, окруженный старовѣрческими монахами, чехами, кроатами, демократами, и витійствовалъ до тѣхъ поръ, пока князь Виндишгретцъ не положилъ пушками предѣлъ краснорѣчію (и не воспользовался хорошимъ случаемъ, чтобы при сей вѣрной оказіи не подстрѣлить невзначай своей жены). Исчезнувъ изъ Праги, Б. является военнымъ начальникомъ Дрездена; бывшій артилерійскій офицеръ учитъ военному дѣлу поднявшихъ оружіе профессоровъ, музыкантовъ и фармацевтовъ, совѣтуетъ имъ Мадонну Рафаэля и картины Мурильо поставить на городскія стѣны и ими защищаться отъ прусаковъ, которые zu klassisch gebildet, чтобъ осмѣлились стрѣлять по Рафаэлю.

Артиллерія ему вообще помѣшала. По дорогѣ изъ Парижа въ Прагу, онъ наткнулся гдѣ-то въ Германіи на возмущеніе крестьянъ; они шумѣли и кричали передъ залпомъ, не умѣя ничего сдѣлать. Б. вышелъ изъ повозки и, не имѣя времени узнать въ чемъ дѣло, построилъ крестьянъ и такъ ловко научилъ ихъ, что, когда пошелъ садиться въ повозку, чтобъ продолжать путь, замокъ пылалъ съ четырехъ сторонъ.

Б. когда нибудь переломитъ свою лѣнь и сдержитъ обѣщаніе; онъ когда нибудь разскажетъ длинный мартирологъ, начавшійся для него послѣ взятія Дрездена. Напомню здѣсь главныя черты. Б. былъ приговоренъ къ эшафоту. Король Саксонскій замѣнилъ топоръ вѣчной тюрьмой, потомъ, безъ

(*) Скажите Косидьеру, говорилъ я шутя его пріятелямъ : что тѣмъ-то Б. и отличается отъ него, что и Косидьеръ славный человѣкъ, но что его лучше бы разстрѣлять на канунѣ революціи. Въ послѣдствіи въ Лондонѣ въ 1854 году я ему помянулъ объ этомъ. Префектъ въ изгнаніи только ударилъ огромнымъ кулакомъ своимъ въ молодецкую грудь съ той силой, съ которой вбиваютъ сваи въ землю, и говорилъ : "Здѣсь ношу Б..... здѣсь!"

всякаго основанія, передалъ его въ Австрію. Австрійская полиція думала отъ него узнать что нибудь о славянскихъ замыслахъ. Б. посадили въ Грачинъ и, ничего не добившись, отослали его въ Ольмюцъ. Б. скованнаго везли подъ сильнымъ конвоемъ драгунъ; офицеръ, который сѣлъ съ нимъ въ повозку, зарядилъ при немъ пистолетъ. "Это для чего-же? —спросилъ Б.—неужели вы думаете, что я могу бѣжать при этихъ условіяхъ?"

— Нѣтъ, но васъ могутъ отбить ваши друзья; правительство имѣло на счетъ этого слухи, и въ такомъ случаѣ...

— Что-же?

— Мнѣ приказано посадить вамъ пулю въ лобъ. — И товарищи поскакали.

Въ Ольмюцѣ Б. приковали къ стѣнѣ, и въ этомъ положеніи онъ пробылъ полгода. Австріи наконецъ наскучило даромъ кормить чужаго преступника; она предложила Россіи его выдать: Николаю вовсе не нужно было Б., но отказаться онъ не имѣлъ силъ.

На русской границѣ съ Б. сняли цѣпи. Объ этомъ актѣ милосердія я слышалъ много разъ; дѣйствительно, цѣпи съ него сняли, но разскащикъ забылъ прибавить, что за то надѣли другія, гораздо тяжеле. Офицеръ австрійскій, сдавши арестанта, потребовалъ цѣпи, какъ казенную К. К. собственность.

Николай похвалилъ храброе поведеніе Б. въ Дрезденѣ и посадилъ его въ Алексѣевскій равелинъ. Туда онъ прислалъ къ нему Орлова и велѣлъ ему сказать, что онъ желаетъ отъ него записку о нѣмецкомъ и славянскомъ движеніи (монархъ не зналъ, что всѣ его подробности были напечатаны въ газетахъ). Записку эту онъ требовалъ не какъ царь, а какъ духовникъ. Б. спросилъ Орлова,— какъ понимаетъ государь слово "духовникъ": въ томъ-ли смыслѣ, что все сказанное на духу, должно быть святой тайной? Орловъ не зналъ что сказать: эти люди вообще больше привыкли

спрашивать, чѣмъ отвѣчать. Б. написалъ журнальный leading article. Николай и этимъ былъ доволенъ. "Онъ умный и хорошій малый, но опасный человѣкъ, его надобно держать на заперти", и три цѣлыхъ года послѣ этого высочайшаго одобрѣнья Б. былъ схороненъ въ Алексѣевскомъ равелинѣ. Содержаніе должно быть было хорошо, когда и этотъ гигантъ изнемогалъ до того, что хотѣлъ лишить себя жизни. Въ 1854 Б. перевели въ Шлюссельбургъ. Николай боялся, что Чарльсъ Непиръ его освободитъ; но Чарльсъ Непиръ and comp. освободили не Б. отъ равеллина, а Россію отъ Николая. Александръ II, не смотря на припадокъ милостей и великодушія, оставилъ Б. въ крѣпости до 1857, потомъ послалъ его на житье въ восточную Сибирь. Въ Иркутскѣ онъ очутился на волѣ послѣ девятилѣтняго заключенія. Начальникомъ края былъ тамъ на его счастье оригинальный человѣкъ — демократъ и татаринъ, либералъ и деспотъ, родственникъ Михайлы Б..... и Михайлы Муравьева, и самъ Муравьевъ, тогда еще не Амурскій. Онъ далъ Б. вздохнуть, возможность человѣчески жить, читать журналы и газеты, и самъ мечталъ съ нимъ о будущихъ переворотахъ и войнахъ. Въ благодарность Муравьеву Б. въ головѣ назначалъ его главнокомандующимъ будущей земской арміей, назначаемой имъ въ свою очередь на уничтоженіе Австріи и учрежденіе славянскаго союзничества.

Въ 1860 году мать Б. просила государя о возвращеніи сына въ Россію; государь сказалъ, что "при жизни его, Б. изъ Сибири не переведутъ; но, чтобъ и она не осталась безъ утѣшенья и царской милости, онъ разрѣшилъ ему вступить въ службу писцомъ.

Тогда Б., взявъ въ разсчетъ красныя щеки и сорокалѣтній возрастъ императора, рѣшился бѣжать; я его въ этомъ совершенно оправдываю. Послѣдніе годы лучше всего доказываютъ, что ему нечего въ Сибири было ждать. Девяти лѣтъ каземата и нѣсколькихъ лѣтъ ссылки было за

глаза довольно. Не отъ его побѣга, какъ говорили, стало хуже политическимъ сосланнымъ, а отъ того, что времена стали хуже, люди стали хуже. Какое вліяніе имѣлъ побѣгъ В. на гнусное преслѣдованіе, добиваніе Михайлова? А что какой нибудь Корсаковъ получилъ выговоръ, объ этомъ не стоитъ и говорить. Жаль что не два.

Бѣгство Б. замѣчательно пространствомъ; это самое длинное бѣгство въ географическомъ смыслѣ. Пробравшись на Амуръ подъ предлогомъ торговыхъ дѣлъ, онъ уговорилъ какого-то американскаго шкипера взять его съ собой къ Японскому берегу. — Въ Гоко-Дади другой американскій капитанъ взялся его довезти до С. Франсиско. В. отправился къ нему на корабль и засталъ моряка, сильно хлопотавшаго объ обѣдѣ; онъ ждалъ какого-то почетнаго гостя и приглашилъ В. — В. принялъ приглашеніе и, только когда гость пріѣхалъ, узналъ, что это генеральный русскій консулъ.

Скрываться было поздно, смѣшно: онъ прямо вступилъ съ нимъ въ разговоръ, сказалъ, что выпросился сдѣлать прогулку. Небольшая русская эскадра, помнится адмирала Попова, стояла въ морѣ и собиралась плыть къ Николаеву: "Вы не съ нашими-ли возвращаетесь?" спросилъ консулъ. "Я только-что пріѣхалъ,—отвѣчалъ В.,—и хочу еще посмотрѣть край". Вмѣстѣ покушавши, они разошлись en bons amis. Черезъ день онъ проплылъ на американскомъ пароходѣ мимо русской эскадры: кромѣ океана, опасности больше не было.

Какъ только В. оглядѣлся и учредился въ Лондонѣ, т. е. перезнакомился со всѣми поляками и русскими, которые были на лицо, онъ принялся за дѣло. Къ страсти проповѣдыванія, агитаціи, пожалуй демагогіи, къ безпрерывнымъ усиліямъ учреждать, устроивать комплоты, переговоры, заводить сношенія и придавать имъ огромное значеніе, у В. прибавляется готовность первому идти на исполненіе, готовность погибнуть, отвага принять всѣ послѣдствія. Это

натура героическая, оставленная исторіей не у дѣлъ. Онъ тратилъ свои силы иногда на вздоръ такъ, какъ левъ тратитъ шаги въ клѣткѣ, все думая, что выйдетъ изъ нея. Но онъ не риторъ, боящійся исполненія своихъ словъ или уклоняющійся отъ осуществленія своихъ общихъ теорій.....

Б. имѣлъ много недостатковъ. Но недостатки его были мелки, а сильныя качества крупны. Развѣ это одно не великое дѣло, что, брошенный судьбою куда бы то ни было, и схвативъ двѣ-три черты окружающей среды, онъ отдѣлялъ революціонную струю и тотчасъ принимался вести ее далѣе, раздувать, дѣлать изъ нея страстный вопросъ жизни.

Говорятъ, будто И. Тургеневъ хотѣлъ нарисовать портретъ Б. въ Рудинѣ; но Рудинъ едва напоминаетъ нѣкоторыя черты Б. Тургеневъ, увлекаясь библейской привычкой бога, создалъ Рудина по своему образу и подобію. Рудинъ Тургенева, наслушавшійся философскаго жаргона, молодой Б.

Въ Лондонѣ онъ во-первыхъ сталъ революціонировать "Колоколъ" и говорилъ въ 1862 противъ насъ почти то, что говорилъ въ 1847 противъ Бѣлинскаго. Мало было пропаганды; надобно было неминуемо приложеніе, надобно было устроить центры, комитеты; мало было близкихъ и дальнихъ людей, надобны были "посвященные и полупосвященные братья", организація въ краѣ,—славянская организація, польская организація. Б. находилъ насъ умѣренными, неумѣющими пользоваться тогдашнимъ положеніемъ, недостаточно любящими рѣшительныя средства. Онъ впрочемъ не унывалъ и вѣрилъ, что въ скоромъ времени поставитъ насъ на путь истинный. Въ ожиданіи нашего обращенія, Б. сгруппировалъ около себя цѣлый кругъ славянъ. Тутъ были чехи, отъ литератора Фрича до музыканта, называвшагося Наперстkомъ; сербы, которые просто величались по батюшкѣ Іоановичъ, Даниловичъ, Петровичъ; были валахи, состоявшіе въ должности славянъ, съ своимъ вѣчнымъ еско на концѣ; наконецъ былъ Болгаръ, лекарь въ Турецкой арміи,

и поляки всѣхъ эпархій: Бонапартовской, Мирославской, Чарторижской; демократы безъ соціальныхъ идей, но съ офицерскимъ оттѣнкомъ; соціалисты, католики, анархисты, аристократы и просто солдаты, хотѣвшіе гдѣ нибудь подраться, въ сѣверной или въ южной Америкѣ, и преимущественно въ Польшѣ.

Отдохнулъ съ ними Б. за девятилѣтнее молчаніе и одиночество. Онъ спорилъ, проповѣдывалъ, распоряжался, кричалъ, рѣшалъ, направлялъ, организировалъ и ободрялъ цѣлый день, цѣлую ночь, цѣлыя сутки. Въ короткія минуты, остававшіяся у него свободными, онъ бросался за свой письменный столъ, разчищалъ небольшое мѣсто отъ золы и принимался писать пять, десять, пятнадцать писемъ въ Семипалатинскъ и Арадъ, въ Бѣлградъ и Царьградъ, въ Бессарабію, Молдавію и Бѣлокриницу. Середь письма онъ бросалъ перо и приводилъ въ порядокъ какого нибудь отсталаго Далмата и, не кончивши своей рѣчи, схватывалъ перо и продолжалъ писать; это впрочемъ для него было облегчено тѣмъ, что онъ писалъ и говорилъ объ одномъ и томъ-же. Дѣятельность его, праздность, апетитъ и все остальное, какъ гигантскій ростъ и вѣчный потъ, все было не по человѣческимъ размѣрамъ, какъ онъ самъ; а самъ онъ исполинъ съ львиной головой, съ всклокоченной гривой.

Въ пятьдесятъ лѣтъ онъ былъ рѣшительно тотъ-же кочующій студентъ съ Маросейки, тотъ-же бездомный Bohémien съ rue de Bourgogne, безъ заботы о завтрашнемъ днѣ, пренебрегая деньгами, бросая ихъ, когда есть, занимая ихъ безъ разбора на право и на лѣво, когда ихъ нѣтъ, съ той простотой, съ которой дѣти берутъ у родителей, безъ заботы объ уплатѣ, съ той простотой, съ которой онъ самъ отдаетъ всякому послѣднія деньги, отдѣливъ отъ нихъ что слѣдуетъ на сигареты и чай. Его этотъ образъ жизни не тѣснилъ; онъ родился быть великимъ бродягой, великимъ бездомникомъ. Еслибъ его кто нибудь спросилъ окончательно, что

онъ думаетъ о правѣ собственности, онъ могъ бы сказать то, что отвѣчалъ Лаландъ Наполеону о Богѣ: "Sire, въ моихъ занятіяхъ я не встрѣчалъ никакой необходимости въ этомъ правѣ!" Въ немъ было что-то дѣтское, беззлобное и простое, и это придавало ему необычайную прелесть и влекло къ нему слабыхъ и сильныхъ, отталкивая однихъ чопорныхъ мѣщанъ. Его рельефная личность, его эксцентрическое и сильное появленіе, вездѣ—въ кругу московской молодежи, въ аудиторіи берлинскаго университета, между комунистами Вейтлинга и монтаньярами Косидьера, его рѣчи въ Прагѣ, его начальство въ Дрезденѣ, процесъ, тюрьма, приговоръ къ смерти, истязанія въ Австріи, выдача Россіи —гдѣ онъ исчезъ за страшными стѣнами Алексѣевскаго равелина—дѣлаютъ изъ него одну изъ тѣхъ индивидуальностей, мимо которыхъ не проходитъ ни современный міръ, ни исторія.

Въ этомъ человѣкѣ лежалъ зародышъ колосальной дѣятельности, на которую не было запроса. Б. носилъ въ себѣ возможность сдѣлаться агитаторомъ, трибуномъ, проповѣдникомъ, главой партіи, секты, іересіархомъ, бойцомъ. Поставьте его куда хотите, только въ крайній край, анабаптистомъ, якобинцемъ, товарищемъ Анахарсиса Клотца, другомъ Гракха Бабефа—и онъ увлекалъ бы массы и потрясалъ бы судьбами народовъ;—

Но здѣсь, подъ гнетомъ власти царской,

Колумбъ безъ Америки и корабля, онъ, послуживъ противъ воли года два въ артиллеріи, да года два въ московскомъ гегелизмѣ, торопился оставить край, въ которомъ мысль преслѣдовалась, какъ дурное намѣреніе—и независимое слово, какъ оскорбленіе общественной нравственности.

Вырвавшись въ 1840 году изъ Россіи, онъ въ нее не возвращался до тѣхъ поръ, пока пикетъ австрійскихъ драгунъ не сдалъ его русскому жандармскому офицеру въ 1849 году.

Поклонники цѣлесообразности, милые фаталисты раціонализма, все еще дивятся премудрому à propos, съ которымъ являются таланты и дѣятели, какъ только на нихъ есть потребность, забывая сколько зародышей мретъ, глохнетъ, не видавши свѣта, сколько способностей, готовностей—вянутъ, потому что ихъ не нужно.

Когда въ спорѣ, Б., увлекаясь, съ громомъ и трескомъ обрушивалъ на голову противника облаву брани, которой бы никому не простили, Б. прощали, и я первый. Мартьяновъ бывало говаривалъ: "это, Александръ Ивановичъ, большая Лиза, какъ-же на нее сердиться: дитя!"

Какъ онъ дошелъ до женитьбы, я могу только объяснить Сибирской скукой. Онъ свято сохранилъ всѣ привычки и обычаи родины, т. е. студентской жизни въ Москвѣ; груды табаку лежали на столѣ въ родѣ приготовленнаго фуража, зола сигаръ надъ бумагами съ недопитыми стаканами чая; съ утра дымъ столбомъ ходилъ по комнатѣ отъ цѣлаго хора курильщиковъ, курившихъ точно въ запуски, торопясь, задыхаясь, затягиваясь, словомъ такъ, какъ курятъ одни русскіе и славяне. Много разъ наслаждался я удивленіемъ, сопровождавшимся нѣкоторымъ ужасомъ, и замѣшательствомъ хозяйской горничной Грассъ, когда она глубокой ночью приносила горячую воду и пятую сахарницу сахара въ эту готовальню Славянскаго освобожденія.

Долго послѣ отъѣзда Б. изъ Лондона, въ N. 10 Paddington Green разсказывали объ его житьѣ-бытьѣ, ниспровергнувшемъ всѣ упроченныя англійскими мѣщанами понятія и религіозно принятые ими размѣры и формы. Замѣтьте при этомъ, что горничная и хозяйка безъ ума любили его.

— Вчера—говоритъ Б. одинъ изъ его друзей—пріѣхалъ такой-то изъ Россіи; прекраснѣйшій человѣкъ, бывшій офицеръ.

— Я слыхалъ объ немъ, его очень хвалили.

— Можно его привести?

— Непремѣнно, да что привести, гдѣ онъ? Сейчасъ.

— Онъ кажется нѣсколько конституціоналистъ.

— Можетъ быть, но.....

— Но я знаю, рыцарски отважный и благородный человѣкъ.

— И вѣрный?

— Его очень уважаютъ въ Orsett hous'ѣ.

— Идемъ.

— Куда-же? вѣдь онъ хотѣлъ къ вамъ придти, мы такъ сговорились, я его приведу.

Б. бросается писать; пишетъ, перемариваетъ кой-что, переписываетъ и печатаетъ пакетъ, адресуемый въ Яссы; въ безпокойствѣ ожиданія начинаетъ ходить по комнатѣ ступней, отъ которой и весь домъ N. 10 Paddington Green ходитъ ходенемъ съ нимъ вмѣстѣ.

Является офицеръ скромно и тихо. Б. le met à l'aise, говоритъ какъ товарищъ, какъ молодой человѣкъ, увлекаетъ, журитъ за конституціонализмъ, и вдругъ спрашиваетъ:

— Вы навѣрно не откажетесь сдѣлать что нибудь для общаго дѣла?

— Безъ сомнѣнія.

— Васъ здѣсь ничего не удерживаетъ?

— Ничего; я только что пріѣхалъ, я.....

— Можете вы ѣхать завтра, послѣ завтра, съ этимъ письмомъ въ Яссы?

Этого не случалось съ офицеромъ ни въ дѣйствующей арміи во время войны, ни въ генеральномъ штабѣ; однако, привыкнувшій къ военному послушанію, онъ, помолчавши, говоритъ не совсѣмъ своимъ голосомъ: — О да!

— Я такъ и зналъ. Вотъ письмо совсѣмъ готовое.

— Да я хоть сейчасъ, только..... (офицеръ конфузится) я никакъ не расчитывалъ на эту поѣздку.

— Что? денегъ нѣтъ? Ну такъ и говорите. Это ничего не значитъ. Я возьму для васъ у Герцена; вы ему потомъ

отдадите. Что тутъ, всего—всего какіе нибудь 20 фунтовъ. Я сейчасъ напишу ему. Въ Яссахъ вы деньги найдете. Оттуда проберетесь на Кавказъ. Тамъ намъ особенно нуженъ вѣрный человѣкъ.

Пораженный, удивленный офицеръ, какъ равно и его спутникъ, уходятъ. Маленкая дѣвочька, бывшая у В. на большихъ дипломатическихъ посылкахъ, летитъ ко мнѣ по дождю и слякоти съ запиской. Я для нея нарочно завелъ шоколадъ-en losenges, чтобъ чѣмъ нибудь утѣшить ее въ климатѣ и отечествѣ, а потому даю ей большую горсть и прибавляю: "скажите высокому gentleman'у, что я лично съ нимъ переговорю". Дѣйствительно, переписка оказывается излишней. Къ обѣду, т. е. черезъ часъ, является Б.

— Зачѣмъ 20 фунтовъ для **?

— Не для него, для дѣла; а что братъ, ** прекраснѣйшій человѣкъ?

— Я его знаю нѣсколько лѣтъ. Онъ бывалъ прежде въ Лондонѣ.

— Это такой случай, пропустить его грѣшно; я его посылаю въ Яссы. Да потомъ онъ осмотритъ Кавказъ.

— Въ Яссы? И оттуда на Кавказъ?

— Ты пойдешь сейчасъ острить. Каламбурами ничего не докажешь.

— Да вѣдь тебѣ ничего не нужно въ Яссахъ?

— Ты почемъ знаешь?

— Знаю потому во-первыхъ, что никому ничего не нужно въ Яссахъ; а во-вторыхъ, еслибъ нужно было, ты недѣлю бы постоянно мнѣ говорилъ объ этомъ. Тебѣ просто попался человѣкъ молодой, застѣнчивый, хотящій доказать свою преданность; ты и придумалъ послать его въ Яссы. Онъ хочетъ видѣть выставку, а ты ему покажешь Молдовалахію. Ну скажи-ка зачѣмъ?

— Какой любопытный. Ты въ эти дѣла со мной не входишь, какое-же ты имѣешь право спрашивать?

— Это правда, я даже думаю, что этотъ секретъ ты скроешь ото всѣхъ; ну а только денегъ давать на гонцовъ въ Яссы и Бухарестъ я нисколько не намѣренъ.

— Вѣдь онъ отдастъ, у него деньги будутъ.

— Такъ пусть умнѣе употребитъ ихъ; полно, полно; письмо пошлешь съ какимъ нибудь Петреско-Манон-Леско, а теперь пойдемъ ѣсть.

И Б., самъ смѣясь и качая головой, которая его все-таки перетягивала, внимательно и усердно принимался за трудъ обѣда, послѣ котораго всякій разъ говорилъ: "Теперь настала счастливая минута", и закуривалъ папироску. Онъ принималъ всѣхъ, всегда, во всякое время. Часто онъ еще, какъ Онѣгинъ, спалъ или ворочался на постели, которая хрустѣла; а ужъ два-три славянина въ его комнатѣ съ отчаянной торопливостью курили; онъ тяжело вставалъ, обливался водой и въ туже минуту принимался ихъ поучать; никогда не скучалъ онъ, не тяготился ими; онъ могъ не уставая говорить со свѣжей головой съ самымъ умнымъ и самымъ глупымъ человѣкомъ.

Отъ этой неразборчивости выходили иногда пресмѣшныя вещи.

Б. вставалъ поздно; нельзя было иначе и сдѣлать, употребляя ночь на бесѣду и чай.

Разъ, часу въ одинадцатомъ, слышитъ онъ, кто-то копышется въ его комнатѣ. Постель его стояла въ большомъ альковѣ, задернутомъ занавѣсью.

— Кто тамъ? кричитъ Б., просыпаясь.

— Русскій.

— Ваша фамилія.

— Такой-то.

— Очень радъ.

— Что вы это такъ поздно встаете, а еще демократъ.

... Молчаніе: слышенъ плескъ воды, каскады.

— Михаилъ Александровичъ!

— Что?

— Я васъ хотѣлъ спросить, вы вѣнчались въ церкви?

— Да.

— Не хорошо сдѣлали. Что за образецъ непослѣдовательности; вотъ и Т..... свою дочь прочитъ за мужъ. Вы старики должны насъ учить примѣромъ.

— Что вы за вздоръ несете.

— Да вы скажите, по любви женились?

— Вамъ что за дѣло?

— У насъ былъ слухъ, что вы женились отъ того, что невѣста ваша богата (*).

— Что вы это допрашивать меня пришли? ступайте къ черту.

— Ну вотъ вы и разсердились, а я право отъ чистой души. Прощайте. А я все таки зайду.

— Хорошо, хорошо: только будьте умнѣе.

Между тѣмъ польская гроза приближалась больше и больше. Осенью 1862 явился на нѣсколько дней въ Лондонъ Потебня. Грустный, чистый, беззавѣтно отдавшійся урагану, онъ пріѣзжалъ поговорить съ нами отъ себя и отъ товарищей, и все таки идти своей дорогой. Чаще и чаще являлись поляки изъ края; ихъ языкъ былъ опредѣленнѣе и рѣзче, они шли къ взрыву прямо и сознательно. Мнѣ съ ужасомъ мерещилось, что они идутъ на неминуемую гибель.

— Смертельно жаль Потебню и его товарищей, говорилъ я Б., и тѣмъ больше, что врядъ-ли имъ по дорогѣ съ поляками.

— По дорогѣ, по дорогѣ, — возражалъ Б. Не сидѣть-же намъ вѣчно сложа руки и рефлектируя. Исторію надобно принимать какъ представляется; не то всякій разъ будешь за урядъ то позади, то впереди.

(*) Б. ничего не взялъ за невѣстой.

Б. помолодѣлъ, онъ былъ въ своемъ элементѣ. Онъ любилъ не только ревъ возстанія и шумъ клуба, площади и барикады, онъ любилъ также и приготовительную агитацію. Эту возбужденную и вмѣстѣ съ тѣмъ задержанную жизнь конспираціи, консультацій, неспанныхъ ночей, переговоровъ, договоровъ, ректификацій, химическихъ чернилъ и условныхъ знаковъ. Кто изъ участниковъ не знаетъ, что репетиціи къ домашнему спектаклю и приготовленіе елки составляетъ одну изъ лучшихъ, изящныхъ частей. Но какъ онъ ни увлекался приготовленіями елки, у меня на сердцѣ скребли кошки; я постоянно спорилъ съ нимъ и, не хотя дѣлалъ не то, что хотѣлъ.

Здѣсь я останавливаюсь на грустномъ вопросѣ. Какимъ образомъ, откуда взялась во мнѣ эта уступчивость съ ропотомъ, эта слабость съ мятежемъ и протестомъ? Съ одной стороны достовѣрность, что поступать надо такъ; съ другой— готовность поступать совсѣмъ иначе. Эта шаткость, эта неспѣтость, dieses Zœgernde, надѣлали въ моей жизни бездну вреда и не оставили даже слабую утѣху въ сознаніи ошибки, невольной, несознанной; я дѣлалъ промахи à contre cœur; вся отрицательная сторона была у меня передъ глазами. Я разсказывалъ въ одной изъ предъидущихъ частей мое участіе въ 13 Іюнѣ 1849. Это типъ того, о чемъ я говорю. Ни на одну минуту я не вѣрилъ въ успѣхъ 13 Іюня; я видѣлъ нелѣпость движенья и его безсиліе; народное равнодушіе, освирѣпѣлость реакціи и мелкій уровень революціоперовъ. (Я писалъ объ этомъ и все-же пошелъ на площадь, смѣясь надъ людьми, которые шли).

Сколькими несчастіями было-бы меньше въ моей жизни, сколькими ударами, еслибъ я имѣлъ во всѣхъ важныхъ случаяхъ силу слушаться самого себя. Меня упрекали въ увлекающемся характерѣ; увлекался и я, но это не составляетъ главнаго. Отдаваясь по удобовпечатливости, я тотчасъ останавливался; мысль, рефлекція и наблюдательность всегда

почти брали верхъ въ теоріи, но не въ практикѣ. Тутъ и лежитъ вся трудность задачи, почему я давалъ себя вести nolens volens.....

Причиною быстрой сговорчивости былъ ложный стыдъ, а иногда и лучшія побужденія любви, дружбы, снисхожденія; но почему-же все это побѣждало логику?

Послѣ похоронъ Ворцеля, 5 Февраля 1857, когда всѣ провожавшіе разбрелись по домамъ, и я, воротившись въ свою комнату, сѣлъ грустно за свой письменный столъ, мнѣ пришелъ въ голову печальный вопросъ: не опустили-ли мы въ землю вмѣстѣ съ этимъ праведникомъ и не схоронили-ли съ нимъ всѣ наши отношенія съ польской эмиграціей?

Кроткая личность старика, являвшаяся примиряющимъ началомъ при безпрерывно возникавшихъ недоразумѣніяхъ, исчезла, а недоразумѣнія остались. Частно, лично, мы могли любить того-другаго изъ поляковъ, быть съ ними близкими; но вообще одинаковаго пониманья между нами было мало, и оттого отношенія наши были натянутыми, добросовѣстно неоткровенными; мы дѣлали другъ другу уступки, т. е. ослабляли сами себя, уменьшали другъ въ другѣ чуть-ли не лучшія силы. Договориться до одинаковаго пониманія было невозможно. Мы шли съ разныхъ точекъ и пути наши только пересѣкались въ общей ненависти къ петербургскому самовластію. Идеалъ поляковъ былъ *за ними*, они шли къ своему прошедшему, насильственно срѣзанному, и только оттуда могли продолжать свой путь. У нихъ было бездна мощей, а у насъ пустыя колыбели. Во всѣхъ ихъ дѣйствіяхъ и во всей поэзіи столько-же отчаянія, сколько яркой вѣры.

Они ищутъ воскресенья мертвыхъ, мы хотимъ поскорѣе схоронить своихъ. Формы нашего мышленія, упованія — не тѣ; весь геній нашъ, весь складъ не имѣетъ ничего сходнаго. Наше соединеніе съ ними казалось имъ то mésalliance'омъ, то разсудочнымъ бракомъ. Съ нашей стороны было больше искренности, но не больше глубины: мы сознавали свою

косвенную вину, мы любили ихъ отвагу и уважали ихъ несокрушимый протестъ. Что они могли въ насъ любить? что уважать? Они переламывали себя, сближаясь съ нами; они дѣлали для нѣсколькихъ русскихъ почетное исключеніе.

Въ острожной темнотѣ Николаевскаго царствованія, сидя на заперти тюремными товарищами, мы больше сочувствовали другъ другу, чѣмъ знали. Но когда окно немного пріотворилось, мы догадались, что насъ привели по разнымъ дорогамъ и что мы разойдемся по разнымъ. Послѣ Крымской кампаніи, мы радостно вздохнули, а ихъ наша радость оскорбила: новый воздухъ въ Россіи имъ напомнилъ ихъ утраты, а не надежды. У насъ новое время началось съ заносчивыхъ требованій, мы рвались впередъ, готовые все ломать, у нихъ —съ панихидъ и упокойныхъ молитвъ. Но правительство второй разъ насъ спаяло съ ними. Передъ выстрѣлами по попамъ и дѣтямъ, по распятіямъ и дамамъ, передъ выстрѣлами по гимнамъ и молитвамъ, замолкли всѣ вопросы, стерлись всѣ различія. Со слезами и плачемъ написалъ я тогда рядъ статей, глубоко тронувшихъ поляковъ.

Старикъ Адамъ Чарторижскій съ смертнаго одра прислалъ мнѣ съ сыномъ теплое слово; въ Парижѣ депутація поляковъ поднесла мнѣ адресъ, подписанный четырмя стами изгнанниковъ, къ которому присылались подписи отовсюду, — даже отъ польскихъ выходцевъ, жившихъ въ Алжирѣ и въ Америкѣ. Казалось, во многомъ мы были близки; но шагъ глубже и рознь, рѣзкая рознь, бросалась въ глаза.

..... Разъ у меня сидѣли Ксаверій Браницкій, Хоецкій и еще кто-то изъ поляковъ; всѣ они были проѣздомъ въ Лондонѣ и заѣхали пожать мнѣ руку за статьи. Зашла рѣчь о выстрѣлѣ въ Константина. Выстрѣлъ этотъ, сказалъ я, страшно повредитъ вамъ. Можетъ правительство и уступило бы кое-что; теперь оно ничего не уступитъ и сдѣлается вдвое свирѣпѣе.

— Да мы только этого и хотимъ! Замѣтилъ съ жаромъ Ш. Е. — для насъ нѣтъ хуже несчастья, какъ уступки; мы хотимъ разрыва, открытой борьбы!

— Желаю отъ души, чтобъ вы не раскаялись.

Ш. Е. иронически улыбнулся, и никто не прибавилъ ни слова. Это было лѣтомъ 1861 года. А черезъ полтора года говорилъ тоже Падлевскій, отправляясь черезъ Петербургъ въ Польшу.

Кости были брошены!.....

Б. вѣрилъ въ возможность военно-крестьянскаго возстанія въ Россіи, вѣрили отчасти и мы; да вѣрило и само правительство, какъ оказалось впослѣдствіи рядомъ мѣръ, статей по казенному заказу и казней по казенному приказу. Напряженіе умовъ, броженіе умовъ было неоспоримо, и никто не предвидѣлъ тогда, что его свернутъ на свирѣпый патріотизмъ.

Б., не слишкомъ останавливаясь на взвѣшиваніи всѣхъ обстоятельствъ, смотрѣлъ на одну дальнюю цѣль и принялъ второй мѣсяцъ беременности за девятый. Онъ увлекалъ не доводами, а желаніемъ. Онъ хотѣлъ вѣрить и вѣрилъ, что Жмудь и Волга, Донъ и Украйна возстанутъ какъ одинъ человѣкъ, услышавъ о Варшавѣ; онъ вѣрилъ, что старовѣръ воспользуется католическимъ движеніемъ, чтобъ узаконить расколъ.

Въ томъ, что между офицерами войскъ, расположенныхъ въ Польшѣ и Литвѣ, общество, къ которому принадлежалъ Потебня, росло и крѣпло — сомнѣнія не могло быть; но оно далеко не имѣло той силы, которую ему преднамѣренно придавали поляки и наивно Б.

Какъ-то, въ концѣ Сентября, пришелъ ко мнѣ Б. особенно озабоченный и нѣсколько торжественный. "Варшавскій Центральный Комитетъ,—сказалъ онъ,—прислалъ двухъ членовъ, чтобъ переговорить съ нами. Одного изъ нихъ ты знаешь: это Падлевскій; другой Г., закаленый боецъ; онъ

изъ Польши прогулялся въ кандалахъ до рудниковъ и, только-что возвратился, снова принялся за дѣло. Сегодня вечеромъ я ихъ приведу къ вамъ, а завтра соберемся у меня : надобно окончательно опредѣлить наши отношенія".

Тогда набирался мой отвѣтъ офицерамъ (*).

— Моя программа готова; я имъ прочту мое письмо.

— Я согласенъ съ твоимъ письмомъ, ты это знаешь; но не знаю, все-ли понравится имъ ; во всякомъ случаѣ, я думаю, что этого имъ будетъ мало.

Вечеромъ Б. пришелъ съ тремя гостями вмѣсто двухъ. Я прочелъ мое письмо. Во время разговора и чтенія Б. сидѣлъ встревоженный, какъ бываетъ съ родственниками на экзаменѣ, или съ адвокатами, трепещущими, чтобъ ихъ кліентъ не проврался и не испортилъ всей игры защиты, хорошо наложенной, если не по всей правдѣ, то къ успѣшному концу.

Я видѣлъ по лицамъ, что Б. угадалъ и что чтеніе не то чтобъ особенно понравилось. Прежде всего, замѣтилъ Г., мы прочтемъ письмо къ вамъ отъ Центральнаго Комитета. Читалъ М.; документъ этотъ, извѣстный читателямъ "Колокола", былъ написанъ по русски, не совсѣмъ правильнымъ языкомъ, но ясно. Говорили, что я его перевелъ съ французскаго и переиначилъ : — это не правда. Всѣ трое говорили хорошо по русски.

Смыслъ акта состоялъ въ томъ, чтобъ черезъ насъ сказать Русскимъ, что слагающееся польское правительство согласно съ нами и кладетъ въ основаніе своихъ дѣйствій "Признаніе права крестьянъ на землю, обработываемую ими, и полную самоправность всякаго народа располагать своей судьбой". Это заявленіе, говорилъ М., — обязывало меня смягчить вопросительную и сомнѣ-

(*) "Колоколъ" 1862 года.

вающуюся форму моего письма. Я согласился на нѣкоторыя перемѣны и предложилъ имъ съ своей стороны посильнѣе оттѣнить и яснѣе высказать мысль о самозаконности провинцій; они согласились. Этотъ споръ изъ за словъ показывалъ, что сочувствіе наше къ однимъ и тѣмъ-же вопросамъ не было одинаково.

На другой день утромъ Б. уже сидѣлъ у меня. Онъ былъ недоволенъ мной, находилъ, что я слишкомъ холоденъ, какъ будто не довѣряю.

— Чего-же ты больше хочешь? Поляки никогда не дѣлали такихъ уступокъ. Они выражаются другими словами, принятыми у нихъ какъ катехизисъ; нельзя-же имъ, поднимая національное знамя, на первомъ шагѣ оскорбить раздражительное народное чувство.

— Мнѣ все кажется, что имъ до крестьянской земли въ сущности мало дѣла, а до провинцій слишкомъ много.

— Любезный другъ, у тебя въ рукахъ будетъ документъ, поправленный тобой, подписанный при всѣхъ насъ, чего-же тебѣ еще?

— Есть таки кое что.

— Какъ для тебя труденъ каждый шагъ! ты вовсе не практическій человѣкъ.

— Это уже прежде тебя говорилъ Сазоновъ.

Б. махнулъ рукой и пошелъ въ комнату къ Огареву. Я печально смотрѣлъ ему вслѣдъ; я видѣлъ, что онъ запилъ свой революціонный запой и что съ нимъ не столкуешь теперь. Онъ шагалъ семи-мильными сапогами черезъ горы и моря, черезъ годы и поколѣнія. За возстаніемъ въ Варшавѣ, онъ уже видѣлъ свою "славную и славянскую" федерацію, о которой поляки говорили не то съ ужасомъ, не то съ отвращеніемъ; онъ уже видѣлъ красное знамя "Земля и Воля", развѣвающимся на Уралѣ и Волгѣ, на Украйнѣ и Кавказѣ, пожалуй на Зимнемъ Дворцѣ и Петропавловской крѣпости, и торопился сгладить какъ нибудь затрудненія,

затушевать противорѣчія, не выполнить овраги, а бросить черезъ нихъ чертовъ мостъ.

"Нѣтъ освобожденія безъ земли".

— Ты точно дипломатъ на Вѣнскомъ конгрессѣ, повторялъ мнѣ съ досадой Б., когда мы потомъ толковали у него съ представителями жонда: — придираешься къ словамъ и выраженіямъ. Это не журнальная статья, не литература.

— Съ моей стороны, замѣтилъ Г., я изъ за словъ спорить не стану; мѣняйте какъ хотите, лишь бы главный смыслъ остался тотъ-же.

— Браво Г., радостно воскликнулъ Б.

Ну этотъ,—подумалъ я,—пріѣхалъ подкованный и по лѣтнему и на шипы; онъ ничего не уступитъ на дѣлѣ и оттого такъ легко уступаетъ все на словахъ.

Актъ поправили, члены жонда подписались; я его послалъ въ типографію.

Г. и его товарищи были убѣждены, что мы представляли заграничное средоточіе цѣлой организаціи, зависящей отъ насъ и которая по нашему приказу примкнетъ къ нимъ— или нѣтъ. Для нихъ дѣйствительно дѣло было не въ словахъ и не въ теоретическомъ согласіи; свое profession de foi они всегда могли оттѣнить толкованіями такъ, что его яркіе цвѣта пропали бы, полиняли и измѣнились.

Что въ Россіи клались первыя ячейки организаціи, въ этомъ не было сомнѣнія: первыя волокна, нити, были замѣтны простому глазу; изъ этихъ нитей, узловъ, могла образоваться при тишинѣ и времени обширная ткань. Все это такъ; но ея не было и каждый сильный ударъ грозилъ сгубить работу на цѣлое поколѣніе и разорвать начальныя кружева паутины.

Вотъ это то я и сказалъ, отправивъ печатать письмо Комитета, Г. и его товарищамъ, говоря имъ о несвоевременности ихъ возстанія. Падлевскій слишкомъ хорошо зналъ

Петербургъ, чтобъ удивиться моимъ словамъ; хотя и увѣрялъ меня, что сила и развѣтвленіе общества "Земли и Воли" идутъ гораздо дальше, чѣмъ мы думаемъ, но Г. призадумался. "Вы думали, — сказалъ я ему улыбаясь, — что мы сильнѣе? Да, Г., вы не ошиблись, сила у насъ есть большая и дѣятельная, но сила эта вся утверждается на общественномъ мнѣніи, т. е. она можетъ сейчасъ улетучиться; мы сильны сочувствіемъ къ намъ, унисономъ съ своими. Организаціи, которой бы мы сказали: иди на право или на лѣво, нѣтъ.

— Да, любезный другъ, однакоже, началъ Б., ходившій въ волненіи по комнатѣ...

— Что-же, развѣ есть? спросилъ я его и остановился.

— Ну, это какъ ты хочешь назвать; конечно, если взять внѣшнюю форму, это совсѣмъ не въ русскомъ характерѣ. Да видишь.....

— Позволь-же мнѣ кончить; я хочу пояснить Г., почему я такъ настаивалъ на словахъ. Если въ Россіи на вашемъ знамени не увидятъ надѣлъ земли и волю провинціямъ, то наше сочувствіе вамъ не принесетъ никакой пользы, а насъ погубитъ; потому что вся наша сила въ одинаковомъ біеніи сердца; у насъ оно можетъ бьется посильнѣе и потому ушло секундой впередъ, чѣмъ у друзей нашихъ; но они связаны съ нами сочувствіемъ, а не службой!

— Вы будете нами довольны, говорили Г. и Падлевскій.

Черезъ день двое изъ нихъ отправились въ Варшаву; третій уѣхалъ въ Парижъ.

Наступило затишье передъ грозой. Время темное, тяжелое, въ которое все казалось, что туча пройдетъ, а она все приближалась; тутъ явился указъ о "подтасованномъ" наборѣ: это была послѣдняя капля; люди, еще останавливавшіеся передъ рѣшительнымъ и невозвратнымъ шагомъ, рвались на бой. Теперь и бѣлые стали переходить на сторону движенья.

Пріѣхалъ опять Падлевскій, наборъ не отмѣнялся. Падлевскій уѣхалъ въ Польшу.

Б. собирался въ Стокгольмъ совершенно независимо отъ экспедиціи Лапинскаго, о которой тогда никто не думалъ. Мелькомъ явился Потебня и исчезъ вслѣдъ за Б. Въ тоже время какъ Потебня, пріѣхалъ черезъ Варшаву изъ Петербурга, уполномоченный отъ "Земли и Воли". Онъ съ негодованіемъ разсказывалъ, какъ поляки, пригласившіе его въ Варшаву, ничего не сдѣлали. Онъ былъ первый русскій, видѣвшій начало возстанія. Онъ разсказалъ объ убійствѣ солдатъ, о раненномъ офицерѣ, который былъ членомъ общества. Солдаты думали, что это предательство, и начали съ ожесточеніемъ бить поляковъ. Падлевскій, главный начальникъ въ Ковно, рвалъ волосы, но боялся ясно выступить противъ своихъ.

Уполномоченный былъ полонъ важности своей миссіи и пригласилъ насъ сдѣлаться агентами Общества "Земли и Воли". Я отклонилъ это къ крайнему удивленію не только Б., но и Огарева. Я сказалъ, что мнѣ не нравится это битое, французское названіе. Уполномоченный трактовалъ насъ такъ, какъ Комисары Конвента 1793 г. трактовали генераловъ въ дальнихъ арміяхъ. Мнѣ и это не понравилось.

— А много васъ? — спросилъ я.

— Это трудно сказать : нѣсколько сотъ человѣкъ въ Петербургѣ и тысячи три въ провинціяхъ.

— Ты вѣришь? спросилъ я потомъ Огарева. Онъ промолчалъ. — Ты вѣришь? спросилъ я Б.

— Конечно онъ прибавилъ: ну, нѣтъ теперь столько. такъ будутъ потомъ! и онъ расхохотался.

— Это другое дѣло.

— Въ томъ-то все и состоитъ, чтобъ поддержать слабыя начинанія; еслибъ они были крѣпки, они и не нуждались бы въ насъ, — замѣтилъ Огаревъ, въ этихъ случаяхъ всегда недовольный моимъ скептицизмомъ.

— Они такъ и должны бы были явиться передъ нами, откровенно слабыми, желающими дружеской помощи, а не предлагать глупое агентство.

— Это молодость, прибавилъ Б. и уѣхалъ въ Швецію. А вслѣдъ за нимъ уѣхалъ и Потебня. Удручительно горестно я простился съ нимъ; я ни одной секунды не сомнѣвался, что онъ прямо идетъ на гибель.

..... За нѣсколько дней до отъѣзда Б. пришелъ Мартьяновъ блѣднѣе обыкновеннаго, печальнѣе обыкновеннаго; онъ сѣлъ въ углу и молчалъ. Онъ страдалъ по Россіи и носился съ мыслью о возвращеніи домой. Шелъ споръ о возстаніи. Мартьяновъ слушалъ молча, потомъ всталъ, собрался идти и вдругъ, остановившись передомной, мрачно сказалъ мнѣ : — Вы не сердитесь на меня, Александръ Ивановичъ, так-ли, иначе-ли, а "Колоколъ-то" вы порѣшили. Что вамъ за дѣло мѣшаться въ польскія дѣла? Поляки можетъ и правы, но ихъ дѣло шляхетное — не ваше. Не пожалѣли вы насъ, богъ съ вами, Александръ Ивановичъ. Попомните, что я говорилъ. Я то самъ не увижу, я ворочусь домой. Здѣсь мнѣ нечего дѣлать.

— Ни вы не поѣдете въ Россію, ни "Колоколъ" не погибъ, отвѣтилъ я ему.

Онъ молча ушелъ, оставляя меня подъ тяжелымъ гнетомъ втораго пророчества и какого-то темнаго сознанія, что что-то ошибочное сдѣлано.

Мартьяновъ какъ сказалъ, такъ и сдѣлалъ; онъ воротился весной 1863 и пошелъ умирать на каторгу, сосланный своимъ "земскимъ царемъ" за любовь къ Россіи, за вѣру въ него.

Къ концу 1863 года расходъ "Колокола" съ 2500, 2000, сошелъ на 500 и ни разу не подымался далѣе 1000 экземпляровъ.

Шарлота Кордэ изъ Орлова и Данилъ изъ крестьянъ были правы!

Писано въ Montreux и Lausanne, въ концѣ 1865 года.

Друзья,

Съ глубокой любовью и глубокой печалью провожаемъ мы къ вамъ вашего товарища; только тайная надежда, что это возстаніе будетъ отложено, сколько-нибудь успокоиваетъ и за вашу участь и за судьбу всего дѣла. Мы понимаемъ, что вамъ нельзя не примкнуть къ польскому возстанію, какое бы оно ни было; вы искупите собой грѣхъ русскаго императорства; да сверхъ того, оставить Польшу на побіеніе, безъ всякаго протеста со стороны русскаго войска, также имѣло бы свою вредную сторону безмолвно покорнаго, безнравственнаго участія Руси въ Петербургскомъ палачествѣ.

Тѣмъ неменѣе, ваше положеніе трагично и безвыходно. Шанса на успѣхъ мы никакого не видимъ. Даже еслибъ Варшава на одинъ мѣсяцъ была свободна, то оказалось-бы только, что вы заплатили долгъ своимъ участіемъ въ движеніи національной независимости, но что воздвигнуть русскаго соціальнаго знамени Земли и Воли — Польшѣ не дано; а вы слишкомъ малочисленны.

При теперешнемъ преждевременномъ возстаніи, Польша, очевидно, погибнетъ, а русское дѣло на долго потонетъ въ чувствѣ народной ненависти, идущей въ связи съ преданностью царю, и воскреснетъ только послѣ, долго послѣ, когда вашъ подвигъ перейдетъ въ такое-же преданье, какъ 14 Декабря, и взволнуетъ умы поколѣнія, теперь еще не зачатаго.

Выводъ отсюда ясенъ: отклоните возстаніе до лучшаго времени соединенія силъ, отклоните его вашимъ вліяніемъ на Польскій Комитетъ и вліяніемъ на само правительство, которое со страха еще можетъ отложить несчастный наборъ, отклоните его всѣми средствами, отъ васъ зависящими.

Если ваши усилія останутся безплодны, тутъ больше дѣлать нечего, какъ покориться судьбѣ и принять неизбѣжное мученичество, хотя бы его послѣдствіемъ былъ застой Россіи на десятки лѣтъ. По крайней мѣрѣ, сберегите по возможности людей и силы, чтобъ изъ несчастнаго, проиграннаго боя оставались элементы для будущей отдаленной побѣды. Если-же вы успѣете и возстаніе будетъ отложено, тогда вы должны начертить себѣ твердую линію поведенія и не уклоняться отъ нея.

Тогда вамъ надо имѣть одно въ виду: дѣлать общее русское дѣло, а не исключительно польское; составить цѣлую неразрывную цѣпь тайнаго союза во всѣхъ войскахъ, во имя Земли и Воли и Земскаго Собора, какъ сказано въ вашемъ письмѣ къ Русскимъ Офицерамъ. Для этого надо, чтобъ Русскій Офицерскій Комитетъ сталъ самобытно; поэтому центръ его долженъ быть внѣ Польши. Вы должны внѣ себя организовать центръ, которому сами подчинитесь; тогда вы будете командовать положеніемъ и поведете стройно организацію, которая прійдетъ къ возстанію не во имя исключительно польской національности, а во имя Земли и Воли, и которая прійдетъ къ возстанію не вслѣдствіе минутныхъ потребностей; а тогда, когда всѣ силы разсчитаны и успѣхъ несомнителенъ.

Для насъ этотъ планъ такъ ясенъ, что и вы не можете не сознавать того, что надо дѣлать.

Добейтесь его какихъ бы трудовъ ни стоило.

Н. Огаревъ.

Друзья и братья,

Строки, писанныя другомъ нашимъ, Николаемъ Платоновичемъ Огаревымъ, проникнуты искреннею и безконечною преданностью къ великому дѣлу нашего народнаго да и общеславянскаго освобожденія. Нельзя не согласиться съ нимъ, что общему, мѣрному ходу славянскаго и въ особенности русскаго поступательнаго движенія, преждевременное и частное возстаніе Польши грозитъ перерывомъ. Признаться надо, что, при настоящемъ настроеніи Россіи и цѣлой Европы, надежда на успѣхъ такого возстанія слишкомъ мала, и что пораженіе партіи движенія въ Польшѣ будетъ имѣть непремѣннымъ послѣдствіемъ временное торжество царскаго деспотизма въ Россіи. Но съ другой стороны, положеніе поляковъ до того невыносимо, что врядъ-ли у нихъ станетъ на долго терпѣнія.

Само правительство гнусными мѣрами систематическаго и жестокаго притѣсненія вызываетъ ихъ, кажется, на возстаніе, отложить которое было бы по этому самому столько-же нужно для Польши, какъ и необходимо для Россіи. Отложеніе его до болѣе дальняго срока было бы безъ всякаго сомнѣнія и для нихъ и для насъ спасительно. Къ этому вы должны устремить всѣ усилія свои, не оскорбляя однако ни ихъ священнаго права, ни ихъ національнаго достоинства. Уговаривайте ихъ сколько можете и доколѣ обстоятельства позволяютъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ не теряйте времени, пропаганди-

руйте и организуйтесь, дабы быть готовыми къ рѣшительной минутѣ, и, когда выведенные изъ послѣдней мѣры возможнаго терпѣнія, наши несчастные польскіе братья встанутъ, встаньте и вы, не противъ нихъ а за нихъ,—встаньте во имя русской чести, во имя славянскаго долга, во имя русскаго народнаго дѣла съ кликомъ: Земля и Воля. И, если вамъ суждено погибнуть, сама погибель ваша послужитъ общему дѣлу... А богъ знаетъ! можетъ быть геройскій подвигъ вашъ, въ противность всѣмъ расчетамъ холоднаго разсудка, неожиданно увѣнчается и успѣхомъ.....

Что-же до меня касается, чтобъ васъ ни ожидало, успѣхъ или гибель, я надѣюсь, что мнѣ будетъ дано раздѣлить вашу участь.

Прощайте — и, можетъ быть, до скораго свиданія.

М. Б.

I.

ПАРОХОДЪ WARD JACKSON

R. WETERLI & C°

Вотъ что случилось мѣсяца за два до польскаго возстанія: одинъ полякъ, пріѣзжавшій не на долго изъ Парижа въ Лондонъ, Іосифъ Цверчакѣвичъ, по пріѣздѣ въ Парижъ, былъ схваченъ и арестованъ вмѣстѣ съ Х. и М., о которомъ я упомянулъ при свиданьи съ членами жонда.

Во всей арестаціи было много страннаго. Х. пріѣхалъ въ десятомъ часу вечера; онъ никого не зналъ въ Парижѣ и прямо отправился на квартиру М. Около одинадцати явилась полиція.—Вашъ пасъ, спросилъ комисаръ Х.

— Вотъ онъ, и Х. подалъ исправно визированный пасъ на другое имя. — Такъ, такъ, сказалъ комисаръ : я зналъ, что вы подъ этимъ именемъ. Теперь вашъ портфель, спросилъ онъ Цверчакѣвича : онъ лежалъ на столѣ. Полицейскій вынулъ бумаги, посмотрѣлъ ихъ и, передавая своему товарищу небольшое письмо съ надписью Е. А., прибавилъ : Вотъ оно.

Всѣхъ трехъ арестовали, забрали у нихъ бумаги, потомъ выпустили. Дольше другихъ задержали Х. Для полицейскаго изящества, имъ хотѣлось, чтобъ онъ назвался своимъ именемъ. Онъ имъ не сдѣлалъ этого удовольствія. Выпустили и его черезъ недѣлю.

Когда, годъ или больше спустя, прусское правительство дѣлало нелѣпѣйшій познанскій процессъ, прокуроръ въ числѣ обвинительныхъ документовъ представилъ бумаги, присланныя изъ русской полиціи и принадлежавшія Цверчакѣвичу. На возникнувшій вопросъ, какимъ образомъ бумаги эти очутились въ Россіи? прокуроръ спокойно объяснилъ, что, когда Цверчакѣвичъ былъ подъ арестомъ, нѣкоторыя изъ его бумагъ были сообщены французской полиціей русскому посольству.

Выпущеннымъ полякамъ велѣно было оставить Францію; они поѣхали въ Лондонъ. Въ Лондонѣ они сами разсказывали мнѣ подробности ареста и по справедливости всего больше дивились тому, что комисаръ зналъ, что у нихъ есть письмо съ надписью Е. А. Письмо это изъ рукъ въ руки Цверчакѣвичу далъ Маццини и просилъ его вручить Этьену Араго.

— Говорили-ли вы кому нибудь о письмѣ? спросиль я.

— Никому, рѣшительно никому, отвѣчалъ Цверчакѣвичъ.

— Это какое-то колдовство; не можетъ-же пасть подозрѣніе ни на васъ, ни на Маццини. Подумайте-ка хорошенько.

Цверчакѣвичъ подумалъ. "Одно знаю я, замѣтилъ онъ, что я выходилъ на короткое время со двора и, помнится, портфель оставилъ въ незапертомъ ящикѣ.

— Cloud! Cloud! теперь позвольте, гдѣ вы жили?

— Тамъ-то, въ furnished appartements.

— Хозяинъ англичанинъ?

— Нѣтъ, полякъ.

— Еще лучше. А имя его?

— Туръ, онъ занимается агрономіей.

— И многимъ другимъ, коли отдаетъ меблированныя квартиры. Тура этого я немножко знаю. Слыхали-ли вы когда нибудь исторію о нѣкоемъ Михаловскомъ?

— Такъ мелькомъ.

— Ну, я вамъ разскажу ее. Осенью 1857 года, я получилъ черезъ Брюссель письмо изъ Петербурга. Незнакомая особа извѣщала меня со всѣми подробностями о томъ, что одинъ изъ сидѣльцевъ у Трюбнера, Михаловскій, предложилъ свои услуги III отдѣленію, шпіонничать за нами, требуя за трудъ 200 фунтовъ, что въ доказательство того, что онъ достоенъ и способенъ, онъ представлялъ списокъ лицъ, бывшихъ у насъ въ послѣднее время и обѣщалъ доставить образчики рукописей изъ типографіи. Прежде чѣмъ я хорошенько обдумалъ что дѣлать, я получилъ второе письмо того-же содержанія черезъ домъ Ротшильда.

Въ истинѣ свѣденія я не имѣлъ ни малѣйшаго сомнѣнія. Михаловскій, полякъ изъ Галиціи, низкопоклонный, безобразный, пьяный, расторопный и говорящій на четырехъ языкахъ, имѣлъ всѣ права на званіе шпіона и ждалъ только случая pour se faire valoir.

Я рѣшился ѣхать съ Огаревымъ къ Трюбнеру и уличить Михаловскаго, сбить на словахъ и, во всякомъ случаѣ, прогнать отъ Трюбнера. Для большей торжественности я пригласилъ съ собой Піанчани и двухъ поляковъ. Михаловскій былъ наглъ, гадокъ, запирался; говорилъ, что шпіонъ Наполеонъ Шестаковскій, который жилъ съ нимъ на одной квартирѣ. Въ половину я готовъ былъ ему вѣрить, т. е. что и пріятель его тоже шпіонъ. Трюбнеру я сказалъ, что требую немедленной высылки его изъ книжной лавки. Негодяй путался и не умѣлъ ничего серьезнаго привести въ свое оправданіе. — Это все зависть, говорилъ онъ, у кого изъ нашихъ заведется хорошее пальто, сейчасъ другіе кричатъ шпіонъ! — Отъ чего-же, — спросилъ его Зено Свентославскій,—у тебя никогда не было хорошаго пальто, а тебя всегда считали шпіономъ? Всѣ захохотали. — Да обидьтесь-же наконецъ, — сказалъ Чернецкій. — Не первый разъ, — отвѣтилъ философъ, — я имѣю дѣло съ такими безумными. — Привыкли, замѣтилъ Чернецкій.

Мошенникъ вышелъ вонъ.

Всѣ порядочные поляки оставили его, за исключеніемъ совсѣмъ спившихся игроковъ и совсѣмъ проигравшихся пьяницъ. Съ этимъ Михаловскимъ въ дружескихъ отношеніяхъ остался одинъ порядочный человѣкъ, и этотъ человѣкъ вашъ хозяинъ, Туръ.

— Да, это подозрительно. Я сей часъ....

— Что сей часъ? Дѣла теперь не поправите, а имѣйте этого человѣка въ виду. Какія у васъ доказательства?

Вскорѣ послѣ этого Цверчакѣвичъ былъ назначенъ жондомъ въ свои дипломатическіе агенты въ Лондонъ. Пріѣздъ въ Парижъ ему былъ позволенъ; въ это время Наполеонъ чувствовалъ то пламенное участіе къ судьбамъ Польши, которое ей стоило цѣлаго поколѣнія и можетъ стоить всего будущаго.

Б. былъ уже въ Швеціи, знакомясь со всѣми, открывая пути въ Землю и Волю черезъ Финляндію, слаживая посылку "Колокола" и книгъ и видаясь съ представителями всѣхъ польскихъ партій. Принятый министрами и братомъ короля, онъ всѣхъ увѣрилъ въ неминуемомъ возстаніи крестьянъ и въ сильномъ волненіи умовъ въ Россіи. Увѣрилъ тѣмъ больше, что самъ искренно вѣрилъ, если не въ такихъ размѣрахъ, то вѣрилъ въ растущую силу. Объ экспедиціи Лапинскаго тогда никто не думалъ. Цѣль Б. состояла въ томъ, чтобъ, устроивши все въ Швеціи, пробраться въ Польшу и Литву.

Цверчакѣвичъ возвратился изъ Парижа съ Демонтовичемъ. Въ Парижѣ они и ихъ друзья придумали снарядить экспедицію на балтійскіе берега. Они искали парохода, искали дѣльнаго начальника и за тѣмъ пріѣхали въ Лондонъ. Вотъ какъ шла тайная негоціація.

Какъ-то получаю я записочку отъ Цверчакѣвича: онъ просилъ меня зайти къ нему на минуту, говорилъ, что очень нужно и что самъ онъ распростудился и лежитъ въ злой

мигрени. Я пошелъ. Дѣйствительно засталъ его больнымъ и въ постели. Въ другой комнатѣ сидѣлъ С. Тхоржевскій. Зная, что Цверчакѣвичъ писалъ ко мнѣ и что у него есть дѣло, Тхоржевскій хотѣлъ выйти, но Цверчакѣвичъ остановилъ его, и я очень радъ, что есть живой свидѣтель нашего разговора.

Цверчакѣвичъ просилъ меня, оставивъ всѣ личныя отношенія и консидераціи, сказать ему по чистой совѣсти и, само собой разумѣется, въ глубочайшей тайнѣ, объ одномъ польскомъ эмигрантѣ, рекомендованномъ ему Маццини и Б., но къ которому онъ полной вѣры не имѣетъ. — Вы его не очень любите, я это знаю, но теперь, когда дѣло идетъ первой важности, жду отъ васъ истины, всей истины.

— Вы говорите о Л.-Б.? спросилъ я.

— Да.

Я призадумался. Я чувствовалъ, что могу повредить человѣку, о которомъ все таки не знаю ничего особенно дурнаго; и съ другой стороны, понимая какой вредъ принесу общему дѣлу, споря противъ совершенно вѣрной антипатіи Цверчакѣвича. — Извольте, я вамъ скажу откровенно и все. Что касается до рекомендаціи Маццини и Б., я ее совершенно отвожу. Вы знаете, какъ я люблю Маццини; но онъ такъ привыкъ изъ всякаго дерева рубить и изъ всякой глины лѣпить агентовъ и такъ умѣетъ ихъ въ итальянскомъ дѣлѣ ловко держать въ рукахъ, что на его мнѣніе трудно положиться. Къ тому-же, употребляя все, что попалось, Маццини знаетъ до какой степени, кому и что поручить. Рекомендація Б. еще хуже: это большой ребенокъ, "большая Лиза", какъ его назвалъ Мартьяновъ; ему всѣ нравятся. "Ловецъ человѣковъ", онъ такъ радуется, когда ему попадется "красный", да притомъ Славянинъ, что онъ далѣе не идетъ. Вы помянули о моихъ личныхъ отношеніяхъ къ Л.-Б., слѣдуетъ-же сказать и объ этомъ. З. и Л.-Б. хотѣли меня эксплоатировать; иниціатива дѣла принадлежала не ему, а

3. Имъ это не удалось, они разсердились, и я это давно бы забылъ; но они стали между Ворцелемъ и мной, и этого я имъ не прощалъ. Ворцеля я очень любилъ, но, слабый здоровьемъ, онъ подтакнулъ имъ, и только спохватился (или признался, что спохватился) за день до кончины. Умирающей рукой сжимая мою руку, онъ шепталъ мнѣ на ухо : — Да, вы были правы; (но свидѣтелей не было, а на мертвыхъ ссылаться легко). За тѣмъ, вотъ вамъ мое мнѣніе : перебирая все, я не нахожу ни одного поступка, ни одного слуха даже, который-бы заставлялъ подозрѣвать политическую честность Л.-Б.; но я бы не замѣшалъ его ни въ какую серьезную тайну. Въ моихъ глазахъ онъ избалованный фразеръ, наполненный французскими фразами и безмѣрно высокомѣрный, желающій во что бы то ни было играть роль. онъ все сдѣлаетъ, чтобъ испортить піесу, если она ему не выпадетъ.

Цверчакѣвичъ привсталъ. Онъ былъ блѣденъ и озабоченъ.

— Да, вы у меня сняли камень съ груди; если не поздно теперь, я все сдѣлаю. Взволнованный Цверчакѣвичъ сталъ ходить по комнатѣ. Я ушелъ вскорѣ съ Тхоржевскимъ.

— Слышали вы весь разговоръ? спросилъ я у него идучи.

— Слышалъ.

— Я очень радъ; не забывайте его : можетъ придетъ время, когда я сошлюсь на васъ... А знаете что? мнѣ кажется, онъ ему все сказалъ, да потомъ и догадался повѣрить свою антипатію.

— Безъ всякаго сомнѣнія. И мы чуть не расхохотались, не смотря на то, что на душѣ было вовсе не смѣшно.

1ое Нравоученіе

..... Недѣли черезъ двѣ Цверчакѣвичъ вступилъ въ переговоры съ Blackwood'a компаніей пароходства о наймѣ парохода для экспедиціи на Балтикъ.

— За чѣмъ-же, спрашивали мы, вы адресовались именно къ той компаніи, которая десятки лѣтъ исполняетъ всѣ комиссіи по части судоходства для Петербургскаго адмиралтейства?

— Это мнѣ самому не такъ нравится, но компанія такъ хорошо знаетъ Балтійское море. Къ тому-же она слишкомъ заинтересована, чтобъ выдать насъ; да и это не въ англійскихъ нравахъ.

— Все такъ, да какъ вамъ въ голову пришло обратиться именно къ ней?

— Это сдѣлалъ нашъ комисіонеръ.

— То есть?

— Туръ.

— Какъ? тотъ Туръ!

— О, на счетъ его можно быть покойнымъ. Его самымъ лучшимъ образомъ намъ рекомендовалъ Л.-Б.

Мнѣ на минуту вся кровь бросилась въ голову. Я смѣшался отъ чувства негодованія, бѣшенства, оскорбленія; да, да, личнаго оскорбленія. А делегатъ Рѣчи-Посполитой, ничего незамѣчавшій, продолжалъ: онъ превосходно знаетъ по англійски.

— И языкъ и законодательство.

— Въ этомъ я не сомнѣваюсь.

— Туръ какъ-то сидѣлъ въ тюрьмѣ въ Лондонѣ, за какія то не совсѣмъ ясныя дѣла, и употреблялся присяжнымъ переводчикомъ въ судѣ.

— Какъ такъ?

— Вы спросите у Л.-Б., или у Михаловскаго; вы не знакомы съ нимъ?

— Нѣтъ.

— Каковъ Туръ! занимался земледѣліемъ, а теперь занимается вододѣліемъ; но общее вниманіе обратилъ на себя взошедшій начальникъ экспедиціи, полковникъ Лапинскій.

II.

LAPINSKI-COLONEL.—POLLES-AIDE DE CAMP

Въ началѣ 1863 года я получилъ письмо, написанное мелко, необыкновенно калиграфически, и начинавшееся текстомъ Licite venire parvulos. Въ самыхъ изысканно льстивыхъ, стелящихся выраженіяхъ, просилъ у меня parvulus, называвшійся Polles, позволенія пріѣхать ко мнѣ. Письмо мнѣ очень не понравилось. Онъ самъ—еще больше. Низкопоклонный, тихій, вкрадчивый, бритый, напомаженный, онъ мнѣ разсказалъ, что былъ въ Петербургѣ въ театральной школѣ и получилъ какой-то пансіонъ, прикидывался сильно полякомъ и, просидѣвши четверть часа, сообщилъ мнѣ, что онъ изъ Франціи, что въ Парижѣ тоска и что тамъ узелъ узловъ—Наполеонъ.

— Знаете-ли, что мнѣ приходило часто въ голову, и я больше и больше убѣждаюсь въ вѣрности этой мысли : надобно рѣшиться убить Наполеона.

— За чѣмъ-же дѣло стало?

— Да вы какъ объ этомъ думаете? спросилъ Parvulus, нѣсколько смутившись.

— Я никакъ. Вѣдь это вы думаете. И тотчасъ я разсказалъ ему исторію, которую я всегда употреблялъ въ случаяхъ кровавыхъ бредней и совѣщаній о нихъ.

— Вы вѣрно знаете, что Карла V водилъ въ Римѣ по пантеону пажъ. Пришедши домой, онъ сказалъ отцу, что ему приходила въ голову мысль столкнуть императора съ верхней галлереи внизъ. Отецъ взбѣсился : — вотъ (тутъ я варьирую крѣпкое слово, соображаясь съ характеромъ

цареубійцы in spe)(*)—негодяй, мошенникъ, дуракъ, такой разсякой. — Какъ могутъ такія преступныя мысли приходить въ голову, а если могутъ, то ихъ иногда исполняютъ, но никогда объ этомъ не говорятъ.

Когда Поллесъ ушелъ, я рѣшился его не пускать больше. Черезъ недѣлю онъ встрѣтился со мной близь моего дома; говорилъ, что два раза былъ и не засталъ, натолковалъ какого-то вздора и прибавилъ : я между прочимъ заходилъ къ вамъ, чтобъ сообщить какое я сдѣлалъ изобрѣтеніе, чтобъ по почтѣ сообщить что нибудь тайное, на пр. въ Россію. Вамъ вѣрно случается часто необходимость что нибудь сообщать.

— Совсѣмъ напротивъ, никогда. Я вообще ни къ кому тайно не пишу. Будьте здоровы.

— Прощайте. Вспомните, когда вамъ или Огареву захочется послушать кой какой музыки, я и мой віолончель къ вашимъ услугамъ.

— Очень благодаренъ. И я потерялъ его изъ виду съ полной увѣренностью, что это шпіонъ; русскій-ли, французскій-ли, я не зналъ; можетъ интернаціональный, какъ Nord журналъ международный.

— Въ польскомъ обществѣ онъ никогда не являлся, и его тамъ никто не зналъ.

Послѣ долгихъ исканій, Демонтовичъ и парижскіе друзья его остановились на полковникѣ Лапинскомъ, какъ на способнѣйшемъ военномъ начальникѣ экспедиціи. Онъ былъ долго на Кавказѣ со стороны Черкесовъ, и такъ хорошо зналъ войну въ горахъ, что о морѣ и говорить было нечего. Дурнымъ выбора назвать нельзя.

(*) — Я къ вамъ пришелъ спросить совѣта, — сказалъ мнѣ одинъ юный грузинъ, похожій на молодаго тигра по внѣшности, — я хочу поколотить Скарятина.—Вы вѣрно знаете, что Карла V и проч.—Знаю, знаю, бога ради не разсказывайте.

И тигръ съ млекомъ въ жилахъ ушелъ.

Лапинскій былъ въ полномъ словѣ кондотьеръ. Твердыхъ политическихъ убѣжденій у него не было никакихъ. Онъ могъ идти съ бѣлыми и красными, съ чистыми и грязными. принадлежа — по рожденію, къ Галиційской шляхтѣ, — по воспитанію къ Австрійской арміи, онъ сильно тянулъ къ Вѣнѣ. Россію и все русское онъ ненавидѣлъ—дико, безумно, неисправимо. Ремесло свое вѣроятно онъ зналъ, велъ долго войну и написалъ замѣчательную книгу о Кавказѣ.

— Какой случай разъ былъ со мной на Кавказѣ, — разсказывалъ Лапинскій : русскій маіоръ, поселившійся съ цѣлой усадьбой своей недалеко отъ насъ, не знаю какъ и за что, захватилъ нашихъ людей. Узнаю я объ этомъ и говорю своимъ : что-же это,—стыдъ и срамъ; васъ какъ бабъ крадутъ? Ступайте въ усадьбу, берите что попало и тащите сюда. Горцы, знаете, имъ не нужно много толковать. На другой или третій день привели ко мнѣ всю семью и слугъ, и жену, и дѣтей, только самаго маіора дома не застали. Я послалъ повѣстить, что, если нашихъ людей отпустятъ, да дадутъ такой-то выкупъ, то мы сей часъ доставимъ обратно плѣнныхъ. Разумѣется, нашихъ прислали, разсчитались, и мы отпустили московскихъ гостей. На другой день приходитъ ко мнѣ черкесъ : вотъ, говоритъ, что случилось; мы, говоритъ, вчера, какъ отпускали русскихъ, забыли мальчика лѣтъ четырехъ : онъ спалъ, такъ его и забыли. Какъ-же быть?

— Ахъ вы, собаки, не умѣете ничего въ порядкѣ сдѣлать. Гдѣ ребенокъ?

— У меня; кричалъ, кричалъ, ну, я сжалился и взялъ его.

— Видно тебѣ Аллахъ счастье послалъ; мѣшать не хочу. Дай туда знать, что они ребенка забыли, а ты его нашелъ; ну, и спрашивай выкупа. У моего черкеса такъ глаза и разгорѣлись. Разумѣется мать—отецъ въ тревогѣ, дали все, что хотѣлъ черкесъ. Пресмѣшной случай.

— Очень.

Вотъ черта для характеристики будущаго героя въ Самогитіи.

Передъ своимъ отправленіемъ Лапинскій заѣхалъ ко мнѣ. Онъ взошелъ не одинъ и, нѣсколько озадаченный выраженіемъ моего лица, поспѣшилъ сказать : позвольте вамъ представить моего адъютанта.

— Я уже имѣлъ удовольствіе съ нимъ встрѣчаться.

Это былъ Поллесъ.

— Вы его хорошо знаете, спросилъ Огаревъ у Лапинскаго на единѣ.

— Я его встрѣтилъ въ томъ же Boarding hous'ѣ, гдѣ теперь живу; онъ кажется славный малый и росторопный.

— Да вы увѣрены-ли въ немъ?

— Конечно. Къ тому-же онъ отлично играетъ на віолончели и будетъ насъ тѣшить во время плаванья. Онъ, говорятъ, тѣшилъ полковника кой-чѣмъ другимъ.

Мы впослѣдствіи сказали Демонтовичу, что для насъ Поллесъ очень подозрительное лицо.

Демонтовичъ замѣтилъ : — да я имъ обоимъ не очень вѣрю, но шалить они не будутъ. И онъ вынулъ револьверъ изъ кармана.

Приготовленія шли тихо; слухъ объ экспедиціи все больше и больше распространялся. Компанія дала сначала пароходъ, оказавшійся негоднымъ по осмотру хорошаго моряка, графа С. Надобно было начать перегрузку. Когда все было готово, и часть Лондона знала обо всемъ, случилось слѣдующее : Цверчакѣвичъ и Демонтовичъ повѣстили всѣхъ участниковъ экспедиціи, чтобъ они собирались къ десяти часамъ на такомъ-то амбаркадерѣ желѣзной дороги, чтобъ ѣхать до Гуля въ особомъ train, который давала имъ компанія. И вотъ, къ десяти часамъ стали собираться будущіе воины. Въ ихъ числѣ были итальянцы и нѣсколько французовъ; бѣдные, отважные люди, которымъ надоѣла ихъ доля въ бездомномъ скитаніи, и люди истинно любившіе Польшу. И 10

и 11 часовъ проходятъ, но train'a нѣтъ какъ нѣтъ. По домамъ, изъ которыхъ таинственно вышли наши герои, мало по малу стали распространятся слухи о дальнемъ пути, и часовъ въ 12, къ будущимъ бойцамъ въ сѣняхъ амбаркадера присоединилась стая женщинъ, неутѣшныхъ дидонъ, оставленныхъ свирѣпыми поклонниками, и свирѣпыхъ хозяекъ домовъ, которымъ они не заплатили, вѣроятно, чтобъ онѣ не дѣлали огласки. Растрепанныя, онѣ неистово кричали, хотѣли жаловаться въ полицію; у нѣкоторыхъ были дѣти; всѣ они кричали, и всѣ матери кричали. Англичане стояли кругомъ и съ удивленіемъ смотрѣли на картину "Исхода". Напрасно старшіе изъ ѣхавшихъ спрашивали, скоро-ли пойдетъ особый train? показывали свои билеты. Служители желѣзной дороги не слыхали ни о какомъ train'ѣ. Сцена становилась шумнѣе и шумнѣе..... Какъ вдругъ прискакалъ гонецъ отъ шефовъ сказать ожидавшимъ, что они всѣ съума сошли, что отъѣздъ вечеромъ въ 10, а не утромъ, и что это до того понятно, что они и не написали. Пошли съ узелками и котомочками къ своимъ оставленнымъ дидонамъ и смягченнымъ хозяйкамъ бѣдные воины.

Въ 10 часовъ вечера они уѣхали. Англичане имъ даже прокричали три раза ура.

На другой день утромъ рано пріѣхалъ ко мнѣ знакомый морской офицеръ съ одного изъ русскихъ пароходовъ. Пароходъ получилъ вечеромъ приказъ утромъ выступить на всѣхъ парахъ и слѣдить за Ward Jackson'омъ.

Между тѣмъ Ward Jackson остановился въ Копенгагенѣ за водой, прождалъ нѣсколько часовъ въ Мальме Б., собиравшагося съ ними для поднятія крестьянъ въ Литвѣ, и былъ захваченъ по приказанію шведскаго правительства.

Подробности дѣла и второй попытки Лапинскаго, разсказаны были имъ самимъ въ журналахъ. Я прибавлю только то, что капитанъ уже въ Копенгагенѣ сказалъ, что онъ пароходъ къ русскому берегу не поведетъ, не желая его и себя

подвергнуть опасности; что еще до Мальме доходило до того, что Демонтовичъ пригрозилъ своимъ револьверомъ не Лапинскому, а капитану. Съ Лапинскимъ Демонтовичъ все таки поссорился, и они заклятыми врагами поѣхали въ Стокгольмъ, оставляя несчастную команду въ Мальме.

— Знаете-ли вы, сказалъ мнѣ Цверчакѣвичъ, или кто-то изъ близкихъ ему: что во всемъ этомъ дѣлѣ остановки въ Мальме становится всего подозрительнѣе лицо Тугенбольда.

— Я его вовсе не знаю. Кто это?

— Ну какъ не знаете, вы его видѣли у насъ: молодой малый безъ бороды. Лапинскій былъ разъ у васъ съ нимъ.

— Вы говорите стало о Поллесѣ.

— Это его псевдонимъ; настоящее имя его Тугенбольдъ.

— Что вы говориге? и я бросился къ моему столу. Между отложенными письмами особенной важности я нашелъ одно, присланное мнѣ мѣсяца два передъ тѣмъ. Письмо это было изъ Петербурга; оно предупреждало меня, что нѣкій докторъ Тугенбольдъ состоитъ въ связи съ III отдѣленіемъ, что онъ возвратился, но оставилъ своимъ агентомъ меньшаго брата, что меньшой братъ долженъ ѣхать въ Лондонъ.

Что Поллесъ и онъ было одно лицо, въ этомъ сомнѣнія не могло быть. У меня опустились руки.

— Знали вы передъ отъѣздомъ экспедиціи, что Поллесъ былъ Тугенбольдъ?

— Зналъ. Говорили, что онъ перемѣнилъ свою фамилію потому, что въ краѣ его брата знали за шпіона.

— Что-же вы мнѣ не сказали ни слова?

— Да такъ, не пришлось.

И Селифанъ Чичикова зналъ, что бричка сломана, а сказать не сказалъ.

Пришлось телеграфировать послѣ захвата въ Мальме. И тутъ ни Демонтовичъ, ни Б., (*) не умѣли ничего поряд-

(*) Демонтовичъ послѣ долгихъ споровъ съ Б., говорилъ: — а вѣдь это

комъ сдѣлать, перессорились. Поллеса сажали въ тюрьму за какіе-то брильянты, собранные у шведскихъ дамъ для поляковъ и употребленные на кутежъ.

Въ то самое время, какъ толпа вооруженныхъ поляковъ, бездна дорого купленнаго оружія и Ward Jackson оставались почетными плѣнниками на берегу Швеціи, собиралась другая экспедиція, снаряженная б ѣ л ы м и; она должна была идти черезъ Гибралтарскій проливъ. Ее велъ графъ Сбышевскій, братъ того, который писалъ замѣчательную брошюру "La Pologne et la Cause de l'ordre". Отличный морской офицеръ, бывшій въ русской службѣ, онъ ее бросилъ, когда началось возстаніе, и теперь велъ тайно снаряженный пароходъ въ Черное море. Для переговоровъ онъ ѣздилъ въ Туринъ, чтобъ тамъ секретно видѣться съ начальникомъ тогдашней оппозиціи, и между прочимъ, съ Мордини.

На другой день послѣ моего свиданья съ Сбышевскимъ, — разсказывалъ мнѣ самъ М о р д и н и, — вечеромъ въ Палатѣ министръ внутреннихъ дѣлъ отвелъ меня въ сторону и сказалъ: пожалуйста, будьте осторожнѣе; у васъ вчера былъ польскій эмиссаръ, который хочетъ провести пароходъ черезъ Гибралтарскій проливъ; какъ бы дѣло ни было, да за чѣмъ-же они прежде болтаютъ?

Пароходъ впрочемъ и не дошелъ до береговъ Италіи: онъ былъ захваченъ въ Кадиксѣ испанскимъ правительствомъ. По минованіи надобности, оба правительства дозволили полякамъ продать оружіе и отпустили пароходъ.

Огорченный и раздосадованный пріѣхалъ Лапинскій въ Лондонъ. — Остается одно, говорилъ онъ, составить общество убійцъ и перебить большую часть всѣхъ царей и ихъ совѣтниковъ; или ѣхать опять на востокъ, въ Турцію.

господа, какъ ни тяжело съ русскимъ правительствомъ, а все-же наше положеніе при немъ лучше чѣмъ то, которое намъ приготовятъ эти фанатики-соціалисты.

Огорченный и раздосадованный пріѣхалъ Сбышевскій.

— Что-же, и вы бить королей, какъ Лапинскій?

— Нѣтъ, поѣду въ Америку... буду драться за республику. Кстати,— спросилъ онъ Тхоржевскаго,— гдѣ здѣсь можно завербоваться, со мной нѣсколько товарищей и всѣ безъ куска насущнаго хлѣба.

— Просто у консула.

— Да нѣтъ, мы хотѣли на югъ, у нихъ теперь недостатокъ въ людяхъ и они предлагаютъ болѣе выгодныя условія.

— Не можетъ быть, вы не пойдете на югъ!

..... По счастію Тхоржевскій отгадалъ. На югъ они не пошли.

3 Мая 1869 года.

ДОКТОРЪ

УМИРАЮЩІЙ и МЕРТВЫЕ

(Ницца, Мартъ 1869 года).

I.

ДОКТОРЪ

— Ну, что новаго, любезный Гипербореецъ? Выраженія въ родѣ "любезный гипербореецъ" принадлежали у доктора къ послѣднимъ запоздалымъ листочкамъ старо-французскаго древа познанія добра и зла.

— Новаго ничего нѣтъ, кромѣ того, что въ журналахъ ваше правительство такъ честятъ, какъ этого съ 2 Декабря не бывало. Да не зовите вы меня, бога ради, гиперборейцомъ. Во-первыхъ, мнѣ отъ этого слова всякій разъ становится холодно, а во-вторыхъ, жутко: такъ и кажется, что мы живемъ во времена Монтескье, близь отель Ледисьеръ, гдѣ останавливался le Grand Tzar hyperboréen.

— Все забываю, что по новымъ учебникамъ васъ слѣдуетъ называть не гиперборейцами, а туранцами.

— Это все-же лучше.

— Еще-бъ..... тутъ сверхъ моды комплиментъ.

— Конечно непредумышленный!

— Въ этомъ то и букетъ. Наши мудрецы выдумали это имя вамъ на смѣхъ, на зло, чтобъ васъ филологически

обругать. Это была единственная помощь, которую Франція оказала Польшѣ. Нечего сказать, ловко придумали. Назвать васъ туранцами, имѣющими аріанскіе элементы, значитъ признать ваши притязанія на Азію и на Европу. Вотъ обидѣли то. Въ одномъ мы съ вами никогда не спорили—это въ томъ, что люди еще очень глупы. Какъ у васъ должны хохотать надъ нами. Все, что мы противъ васъ дѣлаемъ, вамъ-же идетъ въ прокъ. Наша ненависть полезнѣе для васъ всѣхъ союзовъ. Мы вамъ не можемъ простить взятія Парижа, хотя себя никогда не упрекали за вступленіе въ Москву; это еще понятно, но не удивительно-ли, что и нѣмцы, взявшіе съ вами Парижъ, тоже сердятся на васъ за это. Изъ нелюбви къ вамъ, Европа всклепала на васъ неслыханную силу, а вы и повѣрили ей. Англія до того болтала о вашихъ замыслахъ въ Индіи, что вы въ самомъ дѣлѣ пошли въ какую то Самарканду..... Гдѣ-же здравый смыслъ?... Стоитъ Петербургскому кабинету забыть на недѣлю Турцію; двадцать европейскихъ газетъ напомнятъ ему восточный вопросъ и поддразнятъ Константинополемъ и всевозможными Сербами и Булгарами. Въ отмщеніе за Польшу выдумали, что у васъ съ поляками нѣтъ славянскаго сродства, что вамъ стало и жалѣть ихъ нечего. Я завидую вамъ, мой милый Монголъ.

— Вы таки придерживаетесь grattez un Russe.

— И скоблить не надобно. Татарскія степи такъ и сквозять сквозь французскія обои et cela à son charme. Я это не въ вину вамъ ставлю; напротивъ : съ вами, т. е. съ удавшимися, оттого и легко, что ступай куда хочешь, ни забора, ни запрета, ни надгробнаго креста, ни верстоваго столба; однѣ пустоты, да разиѣры...

— Добавьте кое гдѣ вѣхи, кое гдѣ верблюды съ Европейской кладью второй руки, немного подсохнувшей, немного подмоченной... кругомъ спитъ какое-то многое множество непробуднымъ сномъ.

— Спящіе еще проснутся. Вотъ мы такъ на яву бредимъ, это плохо; мозги такъ парализированы, что новой мысли прохода нѣтъ. Голова загружена какъ мѣняльная лавка; все, что не идетъ вмѣстѣ, навалено рядомъ; чего не набито тутъ! дѣйствительныя богатства и курьезная ненужная мебель, неудавшіяся машины воспоминаній, заклинаній, проклятій, химическіе сосуды и церковные снаряды, микроскопы, ороскопы, допотопные звѣри, нежившіе уродцы, мыльные пузыри надутые утопіями лопаются въ облакахъ архивной пыли... Кабы у насъ въ головѣ да ваши пустыри!..... вы извините меня, вы еще народъ лѣнивый, не умѣете ими пользоваться. Съ нашей дѣятельностью, съ нашей привычкой, мы чудеса бы настроили.....

— Еслибъ посчастливилось не наткнуться на дикихъ звѣрей.

— Дикіе звѣри выведутся, они отступаютъ передъ образованіемъ. Много-ли у васъ осталось бѣловѣжскихъ зубровъ?

— Бѣда въ томъ, что наши дикіе звѣри, все звѣри высоко образованные.

— Это-то и хорошо. Опасно не то, когда звѣрь остается звѣремъ, а когда онъ отъ образованія становится скотиной и бьется между двумя крайними типами—русскаго плута и кроткаго дурака. Цивилизація подчистила у насъ все дикое, по крайней мѣрѣ засыпала песочкомъ да землицей, изъ нихъ и образовался толстый пластъ грязи, въ которомъ пропадаетъ всякое движенье и вязнутъ всякія колеса. Кое гдѣ по этимъ болотамъ есть досточки; но горе, если вы ступили возлѣ : васъ затянетъ съ головой, и вы незамѣтно сдѣлаетесь лягушкой, и вамъ покажется хорошо, какъ дома, въ этой вязкой глинѣ; въ ней все есть : своя глупость и свой умъ, свои герои и свои геніи, свои интересы и заботы. Можетъ дренажъ и возможенъ, но поди расчищай такія понтинскія болота. Исторія не крѣпка землѣ. Еслибъ это было не такъ, цивилизація не переѣзжала бы съ мѣста на мѣсто. Старые мозги труднѣе двигать, чѣмъ города и народы; новый

умъ на нихъ не дѣйствуетъ. Особенно трудно двигать нравственныхъ людей, знающихъ, что они нравственны и честны. Подите, объясните какому нибудь не лицепріятному судьи, что глупо, закрывши книгу Кетле, прикидывать на своемъ безмѣнѣ справедливости, сколько годовъ каторжной работы вытягиваетъ какой нибудь бѣшенный или отчаянный поступокъ. Эти господа опаснѣе всѣхъ дикихъ звѣрей вмѣстѣ. Будь у насъ въ 1848 году дикіе звѣри на мѣсто честнѣйшаго Ламартина и честнѣйшихъ товарищей его, не то бы было.

— Возвратились докторъ къ вашимъ баранамъ.

— Ужъ конечно въ этомъ случаѣ не къ козламъ. Ха, ха, ха. Вотъ вы меня и сбили. О чемъ бишь рѣчь то шла? Какъ этотъ Ламартинъ попадется на языкъ, такъ нить мысли и потеряна. Ну, да оно и хорошо : я что-то заврался. Кстати... ну, т. е., оно не совсѣмъ кстати, но такъ и быть, я лучше разскажу вамъ по поводу Ламартина пресмѣшную вещь. Вы знаете, что осенью 1848, я былъ на югѣ Франціи. Какъ то въ торговый день сижу я послѣ завтрака въ маленькомъ кафе и читаю; крестьянъ бездна, толкуютъ о выборахъ, о политикѣ. Услышавъ, что я докторъ и изъ Парижа, одинъ высокій старикъ въ вязаномъ колпакѣ, должно быть человѣкъ солидный и съ авторитетомъ, подсѣлъ ко мнѣ и сталъ распрашивать меня о новостяхъ. Выслушавъ, онъ подвинулся поближе, чекнулся стаканомъ, утеръ носъ и, понизивъ голосъ, сказалъ мнѣ въ полслуха и глядя на меня испытующими глазами : У насъ поговариваютъ, что все дѣло мутитъ одна особа... Самъ то дюкъ.....

Я посмотрѣлъ на него.

— Ну, le duc Rollin очень хорошій человѣкъ, да его то полюбовница, что-ли, очень забрала силу и сбиваетъ его.

— Не слыхалъ я, говорю ему, ни разу не слыхалъ.

Старикъ хитро улыбнулся и прибавилъ—“ а мы вотъ и

вдали живемъ, да не только слышали объ этомъ, но и имя этой Иродіады знаемъ—ее прозываютъ la Martine".

Не выдержалъ я и, — какъ старика ни жаль было, — расхохотался. Что мнѣ пуще всего понравилось, это названіе Иродіады Ла-Мартинъ. Иродіада, добро бы уже Нинонъ де Ланкло. Да-съ, милостивый государь, этотъ вопросъ былъ сдѣланъ не въ Рязани, не въ Казани, а въ какихъ нибудь ста километрахъ отъ Марселя и Авиньона. И это въ то самое время, когда у тѣхъ-же крестьянъ готовились спрашивать, нуженъ-ли республикѣ президентъ и, если нуженъ, то кого они хотятъ въ президенты? Ну, какъ-же послѣ этого не бросить весь политическій хламъ... А что вы давеча поминали о газетахъ?

— Старая пѣсня, только голоса погромче. Винятъ правительство за все, за послабленія и за деспотизмъ, за разливы и за засухи.

— То-то чай доволенъ, потираетъ себѣ руки.

— Ну, думаю, ужъ очень бранятся.

— Что ему брань, когда отъ него ждутъ урожая и теплой погоды? Религія правительства и страсть къ опекѣ былибъ цѣлы. Вѣра во власть : вотъ въ чемъ все дѣло и вся сила. Я разъ посадилъ блоху въ голову одной старушкѣ, у которой лечилъ золотушныхъ внучатъ. Жаль,—говорю ей,— что наши короли утратили цѣлебную силу лечить золотуху. Будь по старому, вмѣсто того, чтобъ меня звать да на аптеку тратиться, добѣжали бы со внучатами до оперы, сегодня король ѣдетъ слушать Малибранъ... дѣтей посадили бы на столбики да на ступеньки. Онъ бы передъ Figaro qua, Figaro là, погладилъ бы ихъ по головкѣ и снялъ бы золотуху какъ рукой. Что вы,—отвѣчаетъ мнѣ старушка,— развѣ тогда короли были такіе, развѣ они ѣздили въ оперу; тогда какое житье то ихъ было! Это—говорю я— извините, я небольшой охотникъ до Людвика Филиппа, ну а все-же ведетъ онъ себя почище. Тѣ то, матушка, были

все страшные блудники, да норовили все съ насиліемъ, съ убійствомъ. Старушка только качаетъ головой. Я тогда молодъ былъ, языкъ то чесался.....

— Ну, докторъ, я не замѣчаю, чтобъ и теперь переставалъ.

— Досада беретъ. Кричатъ себѣ о рабствѣ, о притѣсненіяхъ, а сами то такъ и наклевываютъ на него. Интегралъ, взятый отъ тридцати милліоновъ безконечно малыхъ бонапартистовъ, по неволѣ долженъ быть Наполеономъ. Поговорите четверть часа съ любымъ французомъ о чемъ хотите, что его занимаетъ : о Рейнѣ, о почетномъ легіонѣ, о будущемъ его дочери, о притязаніяхъ его работниковъ; и вы возстановите по зубу, по косточкѣ, по волоску, по чешуйкѣ — и допотопныхъ маршаловъ, и флецовыхъ архіереевъ, и легистовъ deluvii testes, и трепетныхъ мѣщанъ либераловъ, и весь кодексъ, писанный Камбасересомъ съ компаніей раскаявшихся Якобинцевъ, и coup d'état, и вчерашній день. Отъ чешуйки до чешуйки, отъ плебисцита до плебисцита, отъ сенатскаго рѣшенья до сенатскаго рѣшенья — вы невольно дойдете до постояннаго соотвѣтствія правительства или полиціи съ темпераментомъ французовъ, такъ какъ онъ выработался революціонными горячками, военными кровопусканіями à la Бруссе, романтическимъ постомъ и діетой во время реставраціи, и жирнымъ разговѣньемъ при королѣ гражданинѣ и при пѣсняхъ Беранже.

— Вы хотите сказать, что Франція имѣетъ право на имперію такъ, какъ виновный на наказанье.

— Нѣтъ, не хочу и вамъ не совѣтую употреблять этотъ жаргонъ уголовныхъ палатъ и прокурорскихъ рѣчей. Какія тутъ наказанія, какія вины; простая логическая фактическая послѣдовательность, идущая по пятамъ за событіями и дѣлами. Человѣкъ напился пьянъ, на другой день у него болитъ голова : это вовсе не наказаніе, а послѣдствіе. Откуда это, изъ какой нѣмецкой философіи откопали вы такое чудовище, какъ "право на казнь?"

— Докторъ, вы забыли вашихъ классиковъ : это сказалъ не нѣмецъ, а Платонъ.

— "Божественный", такъ и видно, что не простой смертный. Онъ совѣтовалъ поэтовъ выгонять изъ своего воспитательнаго дома, возведеннаго въ образцовую республику; а не бось не догадался дать имъ въ безвозвратныхъ провожатыхъ всѣхъ идеалистовъ, любомудровъ. Я сколько ни принимался читать философскіе трактаты, изданные послѣ Вольтера и Дидро, все вздоръ. Они мнѣ всегда напоминаютъ философскій камень, худшій изъ всѣхъ камней, потому что онъ вовсе не существуетъ, а его ищутъ. Въ наукѣ-ли, въ засѣданіи какомъ, если человѣкъ хочетъ городить пустяки, общіе взгляды, недосказанныя гипотезы, онъ сейчасъ оговаривается тѣмъ, что это только философское, т. е. не дѣльное воззрѣніе.

— Какія вамъ книги, докторъ! вы величайшій философъ безъ книгъ, вы все по зубу, да по косточкѣ.

— А какъ-же иначе? Геологи не берутъ цѣлый Монбланъ въ лабораторію, а такъ верешки, да осколочки. Мелочь то, мелочь то надобно обсудить, да понять; а крупное само дается. Къ этому то и ведетъ врачебная наука. Медицинская практика великое дѣло. Насъ зовутъ, когда машина совсѣмъ испортилась, такъ какъ часы отдаютъ чистить, когда колеса свинтились да перетерлись; а съ нами не худо бы было совѣтываться прежде болѣзни, да и не объ однихъ завалахъ да почечныхъ разстройствахъ.

Еслибъ передъ революціями, вмѣсто того, чтобъ собирать адвокатовъ и журналистовъ, дѣлали консиліумы, не было бы столько промаховъ! Люди, видящіе сотни человѣкъ въ день не одѣтыхъ, а раздѣтыхъ, — люди, щупающіе сотни разныхъ рукъ, ручекъ, рученокъ и ручищъ, повѣрьте мнѣ, знаютъ лучше всѣхъ, какъ бьется общественный пульсъ. Публично на банкетахъ и собраніяхъ, въ камерахъ и академіяхъ, все театральные греки и римляне, что тутъ узнаешь? Посмо-

трите-ка на нихъ съ точки зрѣнія врача. Куда дѣнутся ваши Бруты и Фабриціи! Гнилаго зуба, мигрени достаточно, чтобъ ихъ свести au naturel. Доктору все раскрыто; что больной не доскажетъ, то здоровые добавятъ; что и здоровые умолчатъ, стѣны, мебель, лица дополнятъ. Духовника боятся, съ нимъ и умирающій и всѣ другіе кокетничаютъ; съ докторомъ никто. Ему ничего не говорятъ на духу, но во всемъ исповѣдуются.

Подумайте, какіе медики нашли бы вамъ пульсъ девяностыхъ годовъ у нашихъ либераловъ сорокъ восьмаго. Возьмите портреты тѣхъ..... Мирабо, Дантонъ felis leo..... Мара собака, бульдогъ, Робеспьеръ felis catus... барсъ, кошка, да какая кошка! Черты, глаза, разъ замѣченные, остаются на вѣки въ мозгу. Гошъ, Марсо..... въ этихъ лицахъ горитъ огонь, эти люди объяты страстью; они отдались, они всѣ тутъ, у нихъ нѣтъ дома, семьи, неба; у нихъ нераздѣльная республика и отечество въ опасности, у нихъ все въ общемъ ураганѣ, на трибунѣ, на полѣ битвы. Дантонъ погибъ за то, что на мигъ забылъ со своей молодой красавицей женой, что "отечество въ опасности". Робеспьеръ усталый отъ казней пріостановился на минуту, призадумался, пошелъ прогуляться въ поле, за городъ, и очутился безъ головы. Какъ въ такой горячкѣ не надѣлать чудесъ, не разрушить міръ и не сотворить другой. Головы валятся, ряды солдатъ валятся, стѣны валятся, а небосклоны становятся все шире и шире. Одно преступленіе за другимъ, одно безуміе за другимъ, и ихъ никто не замѣчаетъ изъ за величія лицъ, изъ за свѣта событій. Всѣ диссонансы, все свирѣпое, кровавое, темное, тонетъ въ яркихъ краскахъ восходящаго солнца.

— Докторъ, дайте вашу руку; я пульса щупать не буду.

— Вспомните теперь напримѣръ сводный портретъ временнаго правительства 48 года. Людямъ этимъ надобно было себѣ сшить бѣлые жилеты съ отворотами à la Robespièrre,

чтобъ ихъ приняли за якобинцевъ; одинъ крошечный Луи-Бланъ по человѣчески одѣтъ, а тѣ—круглая шляпа, сюртукъ и по сюртуку трехцвѣтный шарфъ..... вмѣсто "отцевъ отечества" вышли какіе-то квартальные на слѣдствіи. Впереди сухая фигура Ламартина... зачѣмъ онъ тутъ? Какого "падшаго ангела" пришелъ отпѣвать или подымать старый Нарциссъ? а тутъ эти не сами, а братья..... Съ кѣмъ имѣю честь говорить, съ вами или съ вашимъ братомъ? — Съ моимъ братомъ, — отвѣчаетъ Гарнье Пажесъ jun., Каваньякъ не Годефруа.

Вы не подумайте, что я врагъ этихъ людей. — Я ихъ почти всѣхъ зналъ, кого лечилъ, съ кѣмъ спорилъ, съ кѣмъ соглашался. Честные люди, добрые люди; но люди попавшіе не на мѣсто, люди, ну знаете—люди безъ sacré feu, какъ выражается одинъ нѣмецкій потентатъ, пьющій съ нами воды.

У иныхъ сердце было золотое; да золотое-то для домашняго обихода, для жены, для пріятелей. Дѣти нашли брошенное безъ надзора ружье и храбро схватились за него, никакъ не думая, что оно заряжено, — ружье выстрѣлило, они переполошились; сперва испугались шума, надзиратели какъ бы не услышали; потомъ испугались другъ друга, что выдадутъ. Это не я! кричатъ одни. И не я, — кричатъ другіе. Ружье само выстрѣлило, кричатъ третіе. И въ голову ни одному не пришло, что старые надзиратели сами давно убѣжали, и что надзирателей, кромѣ ихъ, совсѣмъ нѣтъ. Ну какъ-же имъ было дѣлать республики? Вы когда нибудь на досугѣ почитайте двѣ книжки : изъ нихъ многому научитесь. Одна изъ нихъ называется "Буржскій процессъ", а другая "Донесеніе слѣдственной коммисіи".

— Господи, какое русское заглавіе!

— Составленное Бошаромъ объ Іюньскихъ дняхъ. Прочитавши ихъ, вы перестанете многому дивиться; а это очень важно. Человѣкъ дивится только тому, чего не понимаетъ;

— а вѣдь сознаться надобно, какъ ни горько, намъ только остается, что кой что понять.

— И другимъ объяснить, докторъ.

— Это дѣлается само собою. Вы зажигаете спичку для себя, а человѣкъ посмотритъ который часъ... Кстати, дайте-ка посмотрѣть и на свои. Поздно. Прощайте. Доброй вамъ ночи.

— И вамъ докторъ, хорошаго сна.

II.

УМИРАЮЩІЙ

I.

— Докторъ, а вы все время февральской революціи были въ Парижѣ?

— Все время.

— Вотъ бы разсказали.

— Что я могу разсказать. Я никогда не бралъ прямаго участія въ политикѣ.

— Тѣмъ лучше, вы то и можете разсказывать, какъ безпристрастный свидѣтель.

— Я не говорилъ, что я не имѣлъ своихъ пристрастій... Впрочемъ, я какъ-то печально встрѣтился съ 24 Февралемъ. Совершенная случайность, но она имѣла на меня вліяніе, ее то я вамъ и разскажу вмѣсто исторической лекціи.

... Сильно не въ духѣ пробирался я между каменьями барикады. На моихъ рукахъ часъ тому назадъ умеръ старикъ, котораго я очень любилъ, очень уважалъ. Обстоятельства, при которыхъ онъ умеръ, перевернули всю внутренность мою. Нашего брата трудно удивить агоніей. Мы съ молодыхъ лѣтъ привыкаемъ къ смерти, нервы крѣпнутъ, притупляются въ больницахъ, на военныхъ перевязкахъ, во время заразъ; а

смерть моего пацієнта такъ перетряхнула меня, что я нѣсколько дней не могъ съ ней справиться, потомъ махнулъ рукой, какъ человѣкъ машетъ на все, когда видитъ свое безсиліе.

Пока я искалъ куда поставить ногу между каменьями, гляжу—бѣжитъ нашъ лаборантъ изъ Hôtel Dieu, съ веселымъ лицомъ, безъ шляпы, съ пукомъ какихъ-то листовъ. Увидѣвъ меня, онъ прокричалъ мнѣ : — Побѣда, докторъ, побѣда. Nous l'avons. Вотъ читайте, и знаете кто набиралъ? самъ Прудонъ, въ типографіи "Реформы". Я сейчасъ оттуда, несу раздавать нашимъ! Прощайте! — Онъ-было ударился бѣжать, но натѣнулся въ упоръ на двухъ всадниковъ, которые хотѣли тоже проѣхать по разгороженному мѣсту барикады. Одинъ былъ въ кепи и кабанѣ; другой въ круглой шляпѣ, надвинутой на брови. Vive la République! закричалъ имъ во всю горловую мочь лаборантъ и приставилъ пальцы къ носу. Военный схватился за рукоятку сабли, всадникъ въ круглой шляпѣ остановилъ его руку; оба пожали плечами. Лаборантъ громко и звонко хохоталъ. Всадники, словно передумали, поворотили лошадей и тихо поѣхали назадъ. Военный показывалъ что-то пальцемъ вдали и объяснялъ; штатскій слегка качалъ головой.

Исхудалое, мрачное лицо, мѣстами почернѣвшее какъ бронза, умирающаго старика не выходило у меня изъ головы.

Прежде чѣмъ продолжать, я васъ вотъ что спрошу : Вы вѣрно встрѣчали въ Россіи послѣднихъ могиканъ нашей революціи, непримиримыхъ, неисправимыхъ стариковъ девяностыхъ годовъ?

— Встрѣчалъ и не одного, и признаюсь вамъ, имѣю къ нимъ пристрастіе...

— Тѣмъ лучше... я ихъ ставлю ужасно высоко. Такихъ людей больше нѣтъ. Должно быть на людей бываетъ урожай, какъ на виноградъ. Кажется условія тѣже, а одинъ годъ изъ десяти вино лучше, говорятъ отъ кометы. Въ Англіи

комета на людей была во время Кромвеля; а у насъ въ концѣ XVIII вѣка. И замѣтьте, что люди этихъ двухъ crus, похожи другъ на друга. Пуритане, доканчивавшіе свой вѣкъ въ Швейцаріи и Голландіи, сильно сбивались на старыхъ Якобинцевъ, только что одни все говорили по Исаію и Эзекіилу, а другіе по Тациту и Плутарху. Въ началѣ моей практики, нашихъ стариковъ еще было много; теперь чуть-ли не всѣ ушли, да и пора: новая Франція для нихъ чужая. Они страдали, были въ тягость другимъ, были просто не на мѣстѣ. Дѣло въ томъ, что они въ сущности были моложе внучатъ. Тѣ все ихъ учили уму-разуму, а старики учились дурно. Какъ сохранили эти люди свѣжесть души, своего рода наивность и вѣру? это потерянный секретъ. Я бывало смотрю и дивлюсь, какъ — сѣдой, пожелтѣлый старикъ, едва двигающій ноги, а туда-же, какъ влюбленный мальчикъ, хранитъ свою святыню, имѣетъ свои завѣтныя на памяти и свои завѣтныя слова, отъ которыхъ въ семдесятъ, въ восемдесятъ лѣтъ, ихъ глаза горятъ и голосъ дрожитъ; привычные утописты, они вѣрили въ свой практическій смыслъ и, отдавши все общему дѣлу, серьезно считали себя эгоистами. Ихъ жиденькіе наслѣдники скучали съ ними, думали, что они позируютъ; а этотъ поднятый тонъ происходилъ просто отъ того, что душа ихъ была поднята и привыкла гордо хранить свое убѣжденье въ тяжелое время. Теперь я долженъ вамъ сказать нѣсколько словъ о жизни человѣка, со смерти котораго я началъ мой разсказъ. Умершаго паціента моего звали по крещенью и метрикѣ Лукасъ Ральеромъ, но по собственному усовершенствованію, гражданиномъ Тразеасъ-Гракхомъ Ральеръ. Лѣтъ двадцати онъ попался въ тюрьму по дѣлу "послѣднихъ Римлянъ"; это было въ 1796, какъ вы знаете. Судъ, приговорившій Рома и Гужона съ товарищами къ гильотинѣ, испугался ихъ великаго самоубійства и на скорую руку объявилъ Тразеаса-Гракха, вмѣстѣ съ множествомъ людей, захваченныхъ для уголовнаго corps de ballet,

невинными. Ральеръ вовсе не хотѣлъ быть оправданнымъ, а самъ явиться обвинителемъ; съ этой цѣлью онъ писалъ судьямъ записки съ разными нѣжностями, въ родѣ "Убійцы республики, изверги и измѣнники рода человѣческаго"; но его не слушали: жертвъ было больше не нужно. Ральера вытолкали противъ воли изъ тюрьмы. Онъ бросился въ журнализмъ и мстилъ своимъ перомъ за смерть Рома и его друзей, à la sequelle corrompue de l'infâme Caïarus. Бараса и Таліен онъ не подорвалъ, а самъ посидѣлъ еще раза два въ тюрьмѣ и чуть не отправился въ одну изъ депортацій, которыя дѣлались тогда на томъ разсчетѣ, на которомъ давали элексиръ Леруа, для героическаго очищенія общественнаго организма. Призадумался мой Тразеасъ-Гракхъ, видя, какъ всякій день "Наполеонъ больше и больше просвѣчивалъ сквозь Бонапарта", и наконецъ какого-то Нивоза an VIII или IX, взялъ паспортъ во имя "единой и не раздѣльной республики" и оставилъ Францію. Паспортъ этотъ онъ потомъ переплелъ въ сафьянъ, берегъ всю жизнь, иногда показывая близкимъ знакомымъ. Ральеръ отправился прямо въ Петербургъ. Въ оригинальномъ рѣшеніи этомъ помогъ ему опять таки указующій перстъ du grand maître. Какъ то вечеромъ въ 92 году Ральеръ сидѣлъ у Терони де Меркуръ; туда пришелъ Ромъ и съ нимъ какой-то юноша. Юношу Ромъ воспитывалъ и любилъ какъ сына. Онъ говорилъ объ немъ съ восторгомъ, какъ о будущемъ представителѣ безсмертныхъ началъ революціи въ Россіи. Мальчикъ этотъ долженъ былъ получить тысячь тридцать крестьянъ и клялся Рому ихъ освободить. Ральеръ сблизился съ нимъ. Молодой человѣкъ много разъ звалъ Ральера въ Россію просвѣщать полуварваровъ; онъ рѣшился воспользоваться его приглашеніемъ. Это было въ концѣ царствованія Павла. C'était un fameux farceur, votre empereur Paul, у меня слабость къ нему. Прежде, чѣмъ Ральеръ отыскалъ le citoyen comte Strogonoff, онъ однимъ добрымъ утромъ встрѣ-

тилъ па улицѣ Павла. Замѣтивъ что-то якобинское въ покроѣ его кафтана, онъ осмотрѣлъ его съ головы до ногъ и велѣлъ узнать кто онъ такой? Узнавъ, что онъ гражданинъ французской республики, Тразеасъ-Гракхъ по имени, императоръ не то чтобъ особенно обрадовался и тутъ-же велѣлъ отставить одного генерала, одного полковника, двухъ таможенныхъ приставовъ и десятокъ квартальныхъ, за допущеніе въ столицу такаго Тразеаса-Гракха. Ральера схватили, свезли въ крѣпость. Черезъ часъ въ крѣпость явился оберъ-полицмейстеръ; черезъ часъ и пять минутъ—тройка съ фельдъегеромъ. Оберъ-полицмейстеръ объявилъ, что государь приказалъ его отправить на житье въ Пермь, и потомъ сталъ допрашивать его, зачѣмъ онъ пріѣхалъ, какого званія и проч. "Справедливѣе было бы, — замѣтилъ Ральеръ, — сперва спросить, а потомъ ссылать". Полицмейстеръ испугался, писарь записалъ. Ральера усадили въ кибитку, адъютантъ проводилъ до заставы, и они помчались... На другой день они были километровъ за триста отъ Петербурга, когда другая тройка нагнала ихъ, скакавшая во весь опоръ. Адъютантъ, сидѣвшій въ ней, кричалъ фельдъегеру, чтобъ онъ остановился, и билъ ямщика, чтобъ тотъ обгонялъ. Подскакавши, онъ соскочилъ съ телеги, велѣлъ Ральеру выйдти и объявилъ ему слѣдующее отъ имени императора: государь находитъ замѣчаніе французскаго подданнаго Ральера совершенно вѣрнымъ, относитъ къ глупости и нерадѣнію по службѣ оберъ-полицмейстера, что онъ сперва не допросилъ его, въ силу чего всемилостивѣйше приказываетъ выслать означеннаго Ральера за границу, давъ ему сто червонцевъ на дорогу. Ральеръ отказался отъ денегъ и помчался тѣмъ-же порядкомъ въ Петербургъ; на заставѣ его уже ждалъ третій адъютантъ съ третимъ приказомъ Павла. "За отказъ отъ денегъ слѣдовало бы иностранца Ральера строжайше наказать, но, такъ какъ онъ показываетъ столько-же безкорыстія, сколько первое замѣчаніе разсудительности, предложить

ему на выборъ — ѣхать въ ссылку въ Сибирь, или опредѣлиться въ женское учебное заведеніе учителемъ французскаго языка, съ обязанностью носить армейскій прапорщичій мундиръ". Думать надобно, что такое странное сходство павловскихъ мѣръ съ мѣрами Комитета Общественнаго Спасенія не совсѣмъ было антипатично Ральеру : онъ не поѣхалъ и заказалъ себѣ мундиръ, который оказался не нужнымъ, потому-что, если Тразеасъ-Гракхъ неожиданно остался въ Петербургѣ, то Павелъ оставилъ этотъ городъ тоже невзначай, по экстренному поѣзду. Послѣ смерти Павла Ральеръ добрался до Строгонова. Онъ тотчасъ сообщилъ ему проэктъ преобразованія Россіи, основанный на уничтоженіи крѣпостнаго состоянія, дворянства, чиновъ, привиллегій, на превращеніи церквей въ школы, а аршиновъ въ метры.

Строгоновъ находилъ его проэктъ замѣчательнымъ, но преждевременнымъ. Ральеръ надулся и воспользовался первой войной съ Франціей, чтобъ уѣхать въ Молдо-Валахію. Тамъ онъ проповѣдывалъ Рома и монтаньяровъ дѣтямъ какого-то владѣтельнаго принца, обучалъ ясскихъ аристократовъ французскому языку и пѣнію марсельезы. Изъ Яссъ онъ поѣхалъ въ Польшу, къ какому то магнату, князю и поклоннику Робеспьера; въ его домѣ онъ встрѣтилъ сироту француженку, ея красота тронула моего героя, онъ предложилъ ей руку и сердце на томъ условіи, чтобъ въ церкви не вѣнчаться. La belle enfant разсудила, что, чѣмъ менѣе цѣпей, тѣмъ лучше, и согласилась. Черезъ три года она его бросила, уѣхавъ съ сыномъ поклонника Робеспьера, оставляя въ знакъ памяти новорожденнаго; черезъ тринадцать лѣтъ она сама, брошенная магнатомъ, поселилась въ Парижѣ и упросила Ральера отпустить къ ней le cher fils для воспитанія въ la belle France. Въ Парижѣ она умерла, обобранная до нитки какимъ-то высокимъ итальянскимъ баритономъ и двумя тощими аббатами. Сынъ остался въ школѣ.

Наконецъ, послѣ всѣхъ скитаній и Ральеръ, какъ на-

стоящій французъ, все таки очутился въ Парижѣ послѣ 1830 года, смягченный возстановленіемъ трехъ цвѣтовъ. Онъ съ высока смотрѣлъ на конституціонную монархію и былъ увѣренъ, что новая измѣна Мотье (онъ иначе не называлъ Лафайета) и "узурпація" старшаго сына Филиппа Егалите непрочны, и что республика настоящая, la bonne et la vraie, за плечами. Но видно интриги Бараса и Кабаргосъ пережили ихъ, и Ральера, замѣшаннаго въ дѣло Барбеса и Бланки, усадили въ Mont Saint Michel. Ему было тогда уже за шестьдесятъ.

... A propos къ Mont Saint Michel, я помню въ старые годы, въ Версали или въ Сенъ-Клу, въ комнатѣ Маріи Амеліи, висѣлъ превосходный видъ Mont Saint Michel. Для меня всегда было странно, почему она выбрала именно этотъ видъ, а не что нибудь другое... морское и гористое, ну Сенъ-Мало, что-ли? Какъ будто пріятно засыпать съ такими Memento власти передъ глазами и просыпаться, думая: а вотъ нашъ добрый cousin Пакье еще вчера законопатилъ въ это птичье гнѣздо на скалѣ двѣ-три безпокойныя головы; а Барбесъ тамъ сидитъ столько-то; мой мужъ можетъ выпустить ихъ всѣхъ, онъ добрый человѣкъ, но затрудняется въ выборѣ, и чтобъ не сдѣлать несправедливости, не выпускаетъ никого...

— А мнѣ кажется, докторъ, она вовсе этого не думала, а просто смотрѣла, да любовалась на волны и камни. Такъ какъ люди, ѣдящіе страсбургскіе пироги, не думаютъ о разныхъ непріятностяхъ, причиняемыхъ гусямъ для ожиренья ихъ печени.

— J'aime ça... вы правы; и это уже чистый туранизмъ: въ самомъ дѣлѣ, ей и въ голову, вѣроятно, не приходило, что за этими стѣнами томятся люди, она все на чаекъ смотрѣла.

И такъ, снабдивши старика ревматизмомъ во всѣхъ суставахъ, правительство лѣтъ черезъ шесть возвратило сколько его осталось "семьѣ и обществу". Старика взялъ къ себѣ

его сынъ, который уже успѣлъ сдѣлаться большимъ дѣльцомъ и извѣстымъ нотаріусомъ въ Парижѣ. Я лечилъ у него въ домѣ и меня призвали къ старику. Старикъ очень привязался ко мнѣ, ему не съ кѣмъ было души отвести, а я слушалъ его съ любовью. За то, могу васъ увѣрить, рѣдко кто знаетъ больше меня подробностей о процессѣ Рома и Гужона. Молодой Ральеръ, Изидоръ, былъ не глупый, не злой человѣкъ, даже либеральничалъ, но при этомъ онъ все-же былъ больше нотаріусъ, чѣмъ что нибудь другое. Ему и въ голову не приходило становиться на дорогѣ реакціи; онъ сторонился передъ ней, пожимая плечами и предоставляя исторіи самой выробатываться какъ знаетъ. Къ тому-же онъ былъ въ ложномъ положеніи. Онъ ничего не имѣлъ, кромѣ кой какихъ знаній и того п я т н а, которое въ глазахъ честныхъ и умѣренныхъ людей положилъ на него нераскаянный старикъ. Мѣсто свое, тепло насиженное со всей кліентеліею тестя, онъ получилъ въ приданное за женой. Жена его во всю жизнь имѣла одинъ капризъ : ей вздумалось выйдти за мужъ за Изидора. Ральеръ былъ хорошъ собой, какъ-то удачно чесался à la Louis Philippe и могъ танцовать отъ 10 вечера безъ устали до 5 утра. Капризъ былъ не силенъ, но отецъ сначала поперечилъ, тогда она рѣшила во чтобъ ни стало поставить на своемъ и поставила. Это была чистая парижанка средняго круга, не хуже, не лучше тысячи другихъ. Она была правильно красива, имѣла видъ образованія, большой эгоизмъ, бездну тщеславія и совершеннѣйшую пустоту внутри. Мужу она не позволяла ни на минуту забывать, что она ему вмѣстѣ съ своей персоной, сладкой и холодной, какъ meringue russe, съ своей правильной любовью, безъ излишествъ и отказовъ, принесла очень "хорошое общественное положеніе". Мысль поселить старика у нихъ въ домѣ принадлежала ей, она смертельно боялась, что онъ на волѣ скомпрометируетъ опять ея Изидора и его общественное положеніе. Матерьяльно она ему все приготовила, обчистила

его и пріодѣла. Она, понимая, что между старикомъ и ею не было ничего общаго, высказывала тѣмъ сильнѣе свои чувства. Мнѣ приходилось не разъ внутренно улыбаться, когда Mme Матильдъ, провожая послѣ обѣда прищуренными глазами старика, уходившаго къ себѣ, опираясь на костыль, подъ предлогомъ трубки, говорила мнѣ: "Какъ это мило имѣть въ домѣ такого почтеннаго старика, vénérable vieillard; я такъ люблю, когда "papa" за столомъ, это такъ трогательно, такъ патріархально. Старикъ съ почтенными сѣдинами такъ-же необходимъ для семейной картины, какъ дѣтскія бѣлокурыя головки. Жаль, что у папа такіе нехорошіе принципы, но онъ жилъ въ ужасное время, когда все было ниспровергнуто, и тронъ, и алтарь.—Мнѣ, знаете, просто страшно, когда онъ говоритъ о религіи и о всемъ такомъ, я стараюсь просто не слушать. Это такъ прекрасно имѣть религію, неправда-ли?"—Нотаріусъ не перечилъ ей, не перечилъ и отцу. Онъ сидѣлъ весь день и часть вечера въ своемъ студіумѣ, искалъ законы, писалъ черновые и принималъ разныхъ княгинь и маркизъ въ первую минуту зачатія подложной духовной, исправленнаго брачнаго контракта, и безъ шума откладывалъ плоды своихъ совѣтовъ въ разныя желѣзныя дороги. Старику было не по себѣ у нихъ, онъ не шелъ ни къ кабинету сына, ни къ гостинной его жены, скучалъ, слабѣлъ, становился мрачнѣе и, мнѣ кажется, жалѣлъ Mont St. Michel. Раза два ему хотѣлось уйти куда нибудь на свободу и покой, но жена нотаріуса и слышать не хотѣла; она рѣшительно находила неприличнымъ имѣть старика отца на сторонѣ. "То положеніе, которое занимаетъ (и съ такимъ достоинствомъ) мой Изидоръ,—говорила она,—положеніе, которое создать и упрочить стоило жизни моему бѣдному отцу, обязываетъ ко многому; оно требуетъ des ménagements и великій тактъ поведенія. Это не капиталъ, съ котораго рента ростетъ, какъ трава, пока мы спимъ; тутъ все зависитъ отъ нравственнаго кредита. Что-же вы думаете—хорошо,

когда пальцемъ укажутъ на рара, прибавляя, что это отецъ Изидора, и тутъ пойдутъ всѣ эти комментаріи, распросы. "Отъ чего онъ не ужился у своего сына, и какъ онъ его отпустилъ, вѣрно его сноха выжила?" Къ тому-же нашъ добрый старикъ, онъ опасенъ внѣ дома съ своими идеями съ того свѣта и фразами изъ Chevaliers de la maison rouge Дюма. Его посадятъ, если не опять въ тюрьму, то въ сумашедшій домъ. За нимъ надобно смотрѣть какъ за ребенкомъ, и я со всей охотой, со всей преданностью дѣлаю все это для отца моего Изидора. Жена плакала, Изидорь принимался умолять старика; старикъ угрюмо соглашался и шелъ къ себѣ читать по новому изданію Монитера девяностыхъ годовъ процессъ Рома, дѣлая на маржахъ отмѣтки, поправки и собираясь торжественно уличить въ криводушіи редакторовъ, изъ которыхъ ни одного не было въ живыхъ.

II.

Пока старикъ собиралъ неопровержимыя доказательства, что гарантіи, даваемыя закономъ всякому преступнику, не были взяты въ уваженіе при процессѣ послѣднихъ римлянъ "и великихъ патріотовъ", онъ получилъ первое предостереженіе. У него отнялись рука и нога. Не много спустя, какъ всегда бываетъ, когда судьба или ея представители хотятъ прекратить человѣка или журналъ, второе предостереженіе. Я намекнулъ Mme Ральеръ, что положеніе не безъ опасности; она вскочила съ какимъ-то ужасомъ. — Боже мой! я всегда этого боялась. — Разсудите. замѣтилъ я: семдесятъ шестой годъ. — Нѣтъ, нѣтъ. вы этого, докторъ, не поймете, онъ кончитъ такъ; и она побѣжала къ мужу въ какомъ-то истерическомъ раздраженіи.

— Пріѣзжаю я разъ къ старику утромъ и застаю его очень печальнымъ и неспокойнымъ. — Мнѣ. говоритъ онъ, съ вами надобно особо поговорить.

— Къ услугамъ вашимъ, у меня времени довольно.

— Посмотрите сперва не подслушиваетъ-ли кто?

Я посмотрѣлъ : разумѣется, никто не подслушивалъ.

— Теперь заприте дверь и сядьте ко мнѣ поближе. Вотъ въ чемъ дѣло, я думаю, почти увѣренъ...

— Ваше положеніе, замѣтилъ я, не безъ опасности (старикъ презрительно улыбнулся); но живутъ и не такіе больные годы цѣлые у насъ теперь въ Hôtel Dieu.

Ральеръ строго посмотрѣлъ на меня изъ подъ нависшихъ бровей : Извините, сказалъ онъ, у меня нѣтъ достаточно силъ и времени, чтобъ дослушать эту, вѣроятно, очень интересную исторію о вашемъ паціентѣ. Вы, докторъ, кажется человѣкъ умный и меня немного знаете; не можете-же вы думать, что я не умѣю покориться неизмѣннымъ законамъ естества? Я пожилъ довольно, слишкомъ довольно. Меня занимаетъ совсѣмъ другое. Съ того дня, когда великій учитель мой Ромъ прижалъ меня къ своей груди и сказалъ мнѣ : “Храни эти чувства”, я ихъ хранилъ во всѣхъ обстоятельствахъ моей трудной, скитальческой жизни. Съ ними я хотѣлъ бы отойти. Пока машина исправна, я ничего не боюсь; ну, а сломается (онъ указалъ пальцемъ на свой высокій, покрытый морщинами лобъ) — что-же я сдѣлаю? Изидоръ хорошій человѣкъ, но слабый, и не туда направленъ умъ..... Матильда женщина добрая, хорошая мать, но женщина не свободная отъ фанатическихъ предразсудковъ, и еще меньше, отъ мнѣнія пустыхъ людей. Послѣ перваго случая со мной, я какъ-то послѣ обѣда возвратился опять въ столовую; дверь въ гостинную была отворена, тамъ сидѣлъ молодой откормленный абатъ; Матильда съ жаромъ говорила съ нимъ и наливала ему въ рюмку ликеру. Абатъ слегка качалъ головой и то закрывалъ глаза, то поднималъ ихъ къ небу. Увидя меня, Матильда сконфузилась, да сконфузился и я; показалъ ей пальцемъ, чтобъ она меня не замѣчала, и ушелъ къ себѣ.

... Черезъ нѣсколько минутъ я подхожу къ окну. Абатъ стоялъ на тротуарѣ и дружески толковалъ съ нашей Бабетой.

— Вы знаете?

— Какъ-же не знать.

— Абатъ благословилъ ее и подарилъ ей какую-то медальку. Эге, да это комплотъ,—подумалъ я,—и комплотъ противъ меня. Они хотятъ загнать въ папское стадо потерянную овцу. Дѣло лестное, овца недюженная... Но они считаютъ безъ хозяина... меня смертью не испугаешь. — Старикъ началъ сердиться и повторялъ: — нѣтъ, нѣтъ, вѣдь я не принцъ Беневентскій, я никогда не примирялся съ конкордатомъ,—нѣтъ, я не принцъ Беневентскій!—И, выбившись изъ силъ, онъ заснулъ середь рѣчи. Во снѣ больной вѣроятно продолжалъ туже нить мыслей..... Раскрывши глаза онъ сказалъ мнѣ: Докторъ,—вы честный человѣкъ, вы не были равнодушны ни ко мнѣ, ни къ великимъ началамъ революціи. Могу-ли я считать на васъ, что вы не оставите меня въ послѣднія минуты, что вы будете здѣсь... возлѣ моей кровати, что вы не позволите опозорить чистую жизнь старика, — что вы не допустите къ моему одру чернаго таракана (Caffard).

— Здѣсь я буду, сказалъ я ему, за это я вамъ отвѣчаю и сдѣлаю все человѣчески возможное, чтобъ желаніе ваше исполнилось. — Но теперь успокойтесь; вамъ необходимо отдохнуть, вы очень взволнованы. Вечеромъ я опять заѣду. Больной взялъ меня за руку и сколько могъ сжалъ ее, чтобъ поблагодарить.

— Не безпокойтесь объ устали; скоро я буду имѣть досугъ для того, чтобъ отдохнуть отъ всего. А теперь дайте мнѣ вотъ эту шкатулку, что стоитъ на комодѣ.

Я подалъ; онъ съ уваженіемъ отперъ, вынулъ изъ нея черепаховую табатерку, портретъ въ этюи и еще что-то въ кожанномъ мѣшочкѣ. "Табатерка Рома, его портретъ дѣланный

ученникомъ измѣнника Давида, "барона Давида", и шейный платокъ Гужон'а, покрытый его кровью... Это всѣ мои сокровища. Я съ ними не разлучался съ 96 года;—я ихъ завѣщаю вамъ, докторъ, берегите ихъ и оставьте при мнѣ до тѣхъ поръ, пока не потухнетъ мое зрѣніе". Старикъ отеръ слезу. Да, признаюсь вамъ, и не одинъ старикъ. Я опять старался его успокоить, но угомонить его было трудно; онъ не отпускалъ меня и держалъ то за руку, то за сюртукъ. "Ну спасибо вамъ; что я безъ васъ могъ бы сдѣлать въ моемъ положеніи противъ заговора, въ которомъ участвуютъ всѣ? Вчера Бабета приноситъ мнѣ изображеніе казни одного великаго мученника и говоритъ мнѣ : Я пришпилю это изображеніе къ вашей занавѣси; это облегчитъ васъ и заставитъ подумать о спасеніи души вашей. Когда мой отецъ былъ очень болѣнъ, ему бабушка положила такое изображеніе на подушку и ему стало легче.—Бабета, — сказалъ я ей,—искренно жалѣю, что вашъ родитель кончилъ жизнь въ мракѣ предразсудковъ. Я этого казненнаго человѣка уважаю : онъ твердо, какъ наши великіе учители, умеръ за свои убѣжденія, убитый судейскими барасами и римскими военно-судными комиссіями; но, когда вы приносите его изображеніе какъ лекарство или колдовство, я прошу васъ удалиться съ нимъ; у меня въ комнатѣ не мѣсто знакамъ фанатизма, ниспровергающимъ право ума человѣческаго и гармоніи законовъ природы... На мои слова Бабета отвѣчаетъ мнѣ : "Ужъ хоть бы Богъ передъ смертью раскрылъ ваше сердце.—Я вамъ изъ жалости говорю : —вы кончите безъ покаянія и попадете въ адъ, словно вы не крещеный". Madame Куртилье,—говорю я ей,—человѣкъ не отвѣчаетъ за дѣйствіе, сдѣланное надъ нимъ въ младенчествѣ, но отвѣчаетъ за свою старость и смерть, пока не сошелъ съума. Что касается до Бога и ада,—это вопросы нерѣшенные и вовсе меня незанимающіе, какъ выходящіе изъ круга нашей дѣятельности.—"Такъ вы еретикомъ и пойдете туда", при-

бавила она, ворча и убираясь вонъ. Это, все абатъ ее научилъ; іезуиты вездѣ ищутъ себѣ агентовъ и соглядатаевъ.

Старикъ уснулъ, бормоча что-то о Лойолѣ..... а я на цыпочкахъ вышелъ вонъ, тихо — тихо притворивши дверь.

III.

Прямо отъ старика я прошелъ въ студію нотаріуса. Въ канцеляріи былъ величайшій безпорядокъ. Ни одного ожидающаго, зѣвающаго, скучающаго посѣтителя на лавкахъ, ни одного писца на своемъ мѣстѣ. Самого Изидора не было въ кабинетѣ, несмотря на то, что это былъ пріемный часъ. Я имѣю непреодолимое отвращеніе къ конторамъ, канцеляріямъ и всякимъ мастерскимъ и людскимъ бюрократіи,— и самое ненавистное для меня въ нихъ, это ихъ бездушный порядокъ, ихъ запыленное и потертое однообразіе; потому я почти обрадовался, увидя анархію Изидоровой готовальни. Молодой клеркъ стоялъ на столѣ и читалъ громко газету; около него собрались всѣ писцы, положивъ перья свои за ухо, въ томъ родѣ какъ ружья берутъ отъ дождя. Одинъ старшій письмоводитель, старичекъ крошечнаго роста, съ сморщившимися мелкими складочками, которыя придавали ему видъ печенаго яблока, сидѣлъ поодаль. Беззубый, въ красномъ парикѣ, подобранномъ полосками всѣхъ рыжихъ цвѣтовъ, отъ темно-бураго до красно-желтаго, онъ постоянно жевалъ какія то зернышки — и журилъ молодыхъ писарей. Теперь онъ для сохраненія уваженія къ своему общественному положенію сидѣлъ одинъ на своемъ мѣстѣ и говорилъ шамшая: "Шалунъ, перестань читать; здѣсь не кафе. Перестань, сорванецъ. Сейчасъ воротится самъ — и увидитъ...

Мое появленіе остановило чтеніе и смѣхъ.— "Что у васъ за mardi gras сегодня?"— Вы, докторъ, развѣ не знаете,

что творится на свѣтѣ,—замѣтилъ стоявшій на столѣ, соскочилъ на полъ и подалъ мнѣ торжественно газету. — Я вамъ совѣтую ѣхать домой, вы вѣрно найдете приглашеніе. Тюйлрійской дворецъ занемогъ и ему надобно поставить горчишникъ.

— Перестанешь-ли ты, проклятый болтунъ. Совсѣмъ отъ рукъ отбился; вотъ, докторъ, что значитъ подрывать авторитеты,—замѣтилъ старикъ, сердясь какъ сердятся нянюшки на рѣзвыхъ дѣтей.

Я взялъ газету, съ утра дѣло банкета разыгралось и принимало огромные размѣры. Оппозиція требовала отдать министровъ подъ судъ. Гизо шпынялъ надъ ней, президентъ камеры бросилъ петицію подъ столъ, а тонъ журналовъ и оппозиціи поднимался, грозилъ. На улицахъ, на перекресткахъ собирались группы.

— И вотъ, докторъ, эдакой праздникъ doyen d'age не позволяетъ намъ праздновать, болталъ клеркъ : Вѣрно нашъ père Бонкокъ,—подхватилъ другой, въ половинѣ съ Гизо въ какихъ нибудь акціяхъ и боится потерять. Какъ нашъ Бертранъ совсѣмъ оборвется со своимъ Роберъ Макеромъ.

— Кто, кто, Роберъ Макеръ?—спрашивалъ не на шутку разсердившійся и испугавшійся старикъ.

— Будто вы не знаете, — père Бонкокъ : Фредерикъ Лемэтръ.

Снова взрывъ смѣха, — и вдругъ все умолкло, вошелъ Изидоръ. Онъ хотѣлъ быстро пройти въ кабинетъ, но, увидя меня, остановился и, мягко указывая рукой на дверь, пропустилъ меня впередъ. Тамъ онъ устало опустился въ большое сафьянное кресло, указалъ мнѣ на другое и, пробормотавъ : "Что за день! что за день!" спросилъ объ отцѣ.—Я не скрою отъ васъ, отвѣчалъ я, больной плохъ.—Всего хуже то, что онъ поддерживаетъ себя въ тревожномъ состояніи, въ раздраженіи;—на это быстро потратятся очень сочтенныя силы его.

— Какъ такъ?

— Я разсказалъ ему, что счелъ нужнымъ. Нотаріусъ всталъ, прошелся раза два по комнатѣ, потомъ остановился передо мной и, скрестивши руки на груди, сказалъ: — Ей Богу, голова идетъ кругомъ, есть отъ чего съума сойти. Кажется я привыкъ къ всякаго рода самымъ запутаннымъ положеніямъ; но это слишкомъ; все разомъ—и нѣтъ времени сообразить... Тутъ разваливается цѣлый общественный строй отъ упрямства двухъ стариковъ; уличный безпорядокъ и шумъ грозитъ богъ знаетъ чѣмъ. Дома умираетъ отецъ, котораго я люблю, но котораго несчастный ригоризмъ, совсѣмъ непринадлежащій нашему времени, ставитъ меня въ страшнѣйшую альтернативу. — Я съ вами, докторъ, буду откровененъ, мы люди нашего вѣка; вы не можете думать, чтобъ у меня были какіе нибудь предразсудки..... Между нами будь сказано, я полагаю, что во всемъ домѣ одна Бабета въ самомъ дѣлѣ имѣетъ дѣтскую вѣру и держится церкви; но тутъ одно проклятое обстоятельство..... Если я могу его устранить, я сдѣлаю все такъ, чтобъ кончина старика была тиха и покойна;—только сладить трудно.

— Въ чемъ-же дѣло?

— Какъ въ чемъ, любезный докторъ? слухъ о тяжелой болѣзни отца разнесся, не могу-же я сказать тогда, что онъ кончилъ скоропостижно—не успѣлъ исполнить обряды. Его прошедшее, его мнѣнія слишкомъ извѣстны, чтобъ они захотѣли смотрѣть сквозь пальцы. Будь это просто такъ кто нибудь, я поѣхалъ бы къ Афру, прекраснѣйшій и прелюбезнѣйшій человѣкъ. Я сладилъ бы съ нимъ въ четверть часа; но тутъ онъ упрется: почитатель Рома, нераскаянный Якобинецъ, умеръ безъ отреченья, безъ примиренья—онъ для примѣра другимъ, для угрозы, не позволитъ его хоронить съ должной церемоніей.

— Что-же, отецъ вашъ этого-то и хочетъ.

Нотаріусъ поднялъ голову на верхъ, какъ это дѣлаютъ лошади въ упряжи.

— Въ моемъ общественномъ положеніи это безусловно невозможно — безусловно. Есть обязанности, которымъ слѣдуетъ подчинять самыя справедливыя стремленія сердца. У меня дѣти, я долженъ объ нихъ думать — и это далеко не все: — мое положеніе, мое достояніе, это депо, ввѣренное мнѣ женщиной, ихъ матерью, я его именно потому долженъ хранить какъ святыню, что съ меня нельзя требовать никакого отчета. Понимаете теперь?.....

— Нѣтъ, не понимаю.

— Вамъ хорошо, вы одни и васъ зовутъ, когда тѣло нездорово; отъ васъ хотятъ только физической помощи. Наши паціенты посложнѣе, отъ насъ требуютъ не одного знанія, но неукоризненной нравственности, огромнаго такта въ поведеніи и самаго строгаго соблюденія приличій. Ну, какъ-же имя, особенно женское, аристократическое, пойдетъ въ мою студію послѣ гражданскихъ похоронъ моего отца? Вы не подозрѣваете чудовищную силу предразсудковъ въ нашемъ обществѣ! На словахъ мы всѣ кощунствуемъ; а на дѣлѣ — величайшіе трусы. Незаконнорожденному, подкидышу — скорѣе простятъ его рожденіе, чѣмъ отцу, который бы не окрестилъ своихъ дѣтей. Да что тутъ толковать, я душевныя немощи знаю столько, сколько вы тѣлесныя. Отца я люблю, уважаю, хотя и не дѣлю его эксцентричностей, и сдѣлаю все, что могу — nul n'est tenu à l'impossible.

— Я всталъ.

— А что? Отецъ не говорилъ вамъ, что онъ писалъ свою волю? — Вы понимаете, добавилъ нотаріусъ, подымая плечи, я не за наслѣдство боюсь: оно кажется состоитъ изъ Ромовой табатерки и его портрета.

— Ими вашъ отецъ распорядился, онъ ихъ завѣщалъ мнѣ.....

— Спорить изъ за наслѣдства, надѣюсь, мы не будемъ,

замѣтилъ онъ съ невыразимо сдержанной улыбкой. Нѣтъ, я на счетъ письменнаго заявленія о похоронахъ.

— Можетъ и писалъ, замѣтилъ я, желая его помучить.

Туча пробѣжала по лицу нотаріуса. — Онъ вамъ читалъ?

— Нѣтъ.

Лицо нотаріуса прояснилось; мы разстались.

IV.

..... На другой день весь Парижъ былъ на ногахъ, били рапель; все шло и двигалось. Министерство Одильона Баро было смыто мгновенно, какъ глина и грязь первой волной. Правительство уступало, никто не зналъ куда идти, и всѣ шли скорыми шагами. Пріемный часъ мой проходилъ; ни одного больнаго : въ такіе дни, я всегда замѣчалъ, всѣ бываютъ здоровы. Въ 49 году, 13 Іюня сдѣлало перерывъ въ холерѣ. Я хотѣлъ выйти взглянуть, взялъ уже шляпу, вдругъ колокольчикъ и самъ Изидоръ in prorria persona явился передо мной. Онъ никогда не бывалъ у меня. — Я къ вамъ заѣхалъ, говоритъ онъ, на минуту, чтобъ сказать, что дѣло я почти уладилъ, и легче чѣмъ думалъ. Вотъ что намъ помогло... и онъ указалъ пальцемъ на улицу, по которой шли колонны вооруженныхъ людей, громко покрикивая : — Vive la réforme! A bas Guizot. Духовенство сконфужено до высочайшей степени, боится революціи, какъ огня, и со страху кокетничаетъ съ нами. Если н а ш а возьметъ, а въ этомъ почти нѣтъ сомнѣнья. все сойдетъ съ рукъ безъ хлопотъ. "Успокойтесь, сказалъ мнѣ самъ Архіерей, я поговорю съ вашимъ священникомъ и постараюсь убѣдить его. Если состояніе больнаго препятствуетъ, мы охотно возьмемъ на себя спасеніе его души. Церковь volentem ducit, nolentem trahit. Скажите вашей доброй супругѣ, что я молюсь за него и чтобъ и она молилась; скажите, что я посылаю ей пастыр-

ское благословеніе и очень цѣню, что въ нашъ суетный вѣкъ она прибѣжна къ храму господню. Вклады ея мнѣ извѣстны и такъ-же то, что ея мѣсто въ церкви рѣдко бываетъ пусто въ воскресные дни". Онъ очень, очень милый человѣкъ.

— А хорошо, сказалъ я ему, что вашъ батюшка не будетъ присутствовать на своихъ похоронахъ.

— Вы не къ намъ-ли? Мой экипажъ у вашего подъѣзда, я васъ довезу

— Благодарю васъ, мнѣ хочется пройтись.

— Ходить теперь не совсѣмъ удобно, il y a trop de peuple souverain на улицахъ. До свиданья.

..... Утромъ я засталъ старика въ забытьи. Жизнь отступала тихо, надежды не было никакой. Мнѣ говорили, что онъ слышалъ шумъ на улицѣ, рапель, спрашивалъ —что такое? узналъ Марсельезу, билъ тактъ и двигалъ губами; потомъ опять заснулъ. Я поѣхалъ къ двумъ-тремъ больнымъ, съѣлъ котлету и воротился въ сумеркахъ къ старику. У дверей больнаго стояла добрая Бабета и горько плакала. Этотъ агентъ римской церкви и алгвазилъ ордена Игнатія Лойолы любила старика и жалѣла его отъ чистаго сердца. — Докторъ, говорила она мнѣ, онъ отходитъ; не берите на вашу душу часть грѣха, уговорите его, пока время есть, покаяться и примириться съ святой церковью. У него вѣдь было золотое сердце, онъ любилъ насъ бѣдныхъ и безъ всякой гордости, сколько могъ, всегда помогалъ. За что-же, помилуйте, за что-же его праведная душа должна идти въ адъ? Неужели вы такой безчувственный, что вамъ не жаль?

— Бабета, успокойтесь, chère enfant, душа его въ адъ не пойдетъ; сами-же говорите, что она праведная.

— Безъ отпущенія никакая не войдетъ въ рай, говорила она, и бѣдная заливалась слезами. Во время моего отсутствія у старика былъ еще ударъ. Сынъ сидѣлъ возлѣ на креслахъ и, все что-то обдумывая, глядѣлъ на потолокъ. Онъ во время моего отсутствія привелъ въ порядокъ бумаги

отца. Я, осмотрѣвши больнаго, сказалъ Изидору, что остаюсь по обѣщанію до послѣдняго дыханія старика, что надежды нѣтъ никакой и, что это вопросъ нѣсколькихъ часовъ больше или меньше...

Изидоръ замѣтилъ, что онъ ничего письменнаго на счетъ распоряженій не нашелъ.

Старикъ только минутами приходилъ въ себя и то не совсѣмъ. Разъ, всмотрѣвшись въ меня, онъ узналъ, обрадовался и сказалъ: —а вы слышали Марсельезу на улицѣ и барабанъ? Ихъ оправдаютъ! съ торжествомъ прибавилъ онъ.

Въ комнатѣ было совершенно тихо; вдругъ брякнулъ залпъ и за нимъ опять тишина. Старикъ раскрылъ мутные глаза, прислушался и сказалъ — "Вандемьеръ; я не вѣрю корсиканцу".—Это былъ знаменитый залпъ на бульварѣ. Часа черезъ два народное море заревѣло по улицамъ. Изидоръ пошелъ узнать что дѣлается. Старикъ много разъ раскрывалъ глаза, будто припоминалъ что-то... Изидоръ возвратился взволнованный. Онъ мнѣ сказалъ, что строятъ баррикады и покрикиваютъ : Да здравствуетъ Республика. Мнѣ хотѣлось сообщить это умирающему и въ минуту, когда онъ снова услышалъ шумъ и барабанъ, я, сказалъ ему : — Республика, Республика. — Une et indivisible, повторилъ онъ слабо, но внятно. За тѣмъ началась послѣдняя борьба жизни. Сынъ подошелъ къ кровати, опустился на колѣни и взялъ старика за руку. Бабета тихо вошла въ комнату и плакала, удерживая рыданья; Матильды, по нашему обычаю, не было въ комнатѣ. Изидоръ сдѣлалъ какой-то знакъ, Бабета бросилась вонъ и забыла затворить дверь.

Послѣ сильнаго вздоха, больной открылъ большіе глаза, видно было, что сознаніе на минуту возвратилось. Онъ узналъ опять меня и сына. Толпы народа шумѣли больше прежняго; старикъ указалъ головой и потомъ обвелъ глазами комнату, и вдругъ, какъ ужаленный змѣей или преслѣдуемый звѣремъ, вскрикнулъ; лицо его исказилось отъ ужаса, онъ вырвалъ

руку у сына и, усиливаясь спрятаться подальше въ постели, указывалъ мнѣ въ противуположную сторону. — Черный! черный! проговорилъ онъ, и голова его склонилась, рука повисла; пульса не было.

Я взглянулъ на то мѣсто, на которое онъ указалъ. Въ дверяхъ, не входя въ комнату, стоялъ абатъ, за нимъ Матильда; Бабета держала свѣчу. Сынъ показалъ, что все кончено, и покрылъ глаза платкомъ. Абатъ развернулъ маленькую книжку, которая у него была въ рукахъ, и сталъ въ носъ бормотать по латыни.....

Привыкнувшій ко всему, этого я не могъ выдержать, и глядя въ упоръ на Изидора, сказалъ ему : Это уже изъ Лукреціи Боржія, только постановка не удалась, поторопились! Я закрылъ покойнику глаза, поцѣловалъ его святой, честный лобъ; на лицѣ его осталось выраженіе гнѣва и отвращенія, можетъ, умирая, онъ и меня считалъ однимъ изъ заговорщиковъ, однимъ изъ негодяевъ!

Съ плитой на сердцѣ вышелъ я на улицу и встрѣтилъ, какъ вамъ сказалъ, лаборанта и двухъ всадниковъ.

III.

МЕРТВЫЕ

I.

— Вчера, началъ докторъ, разставшись съ вами, я долго рылся въ бумагахъ и нашелъ тамъ наконецъ старую газету, которую искалъ. Статья клерикальнаго журнала и моя назидательная бесѣда съ Марастомъ хорошо замкнутъ мой разсказъ о старомъ якобинцѣ.

Докторъ развернулъ листъ и прибавилъ : — позвольте прочесть, я ужасно люблю эту статейку.

— Сдѣлайте одолженіе.

— Чего стоитъ одно заглавіе : “ Le catholicisme est-il démocratique et républicain? Католическая церковь не можетъ быть связана ни съ какой формой земной и проходящей власти; она связана съ небомъ и властью, которая не проходитъ? Католическаа церковь не враждуетъ съ свободой, она сама основана на высшемъ изъ всѣхъ освобожденій, на освобожденіи отъ грѣхопаденія; она не враждуетъ съ равенствомъ, призывая малыхъ, сирыхъ и неимущихъ рядомъ съ сильными міра сего; она не враждуетъ съ братствомъ, называя братомъ во Христѣ каждаго христіанина и повелѣвая любить ближняго и врага. Нечестивыя стѣны, отдѣлявшія жизнь гражданскую отъ жизни церкви, разлетаются какъ прахъ въ такіе великіе дни, въ которые гласъ божій смѣшивается съ гласомъ народнымъ. И вотъ почему для насъ не было ничего удивительнаго въ томъ, что вожди народнаго движенія послѣ побѣды пришли къ алтарю, воздать Богу богово, и нашли архипастыря возносящаго къ небу теплыя молитвы о народѣ и народныхъ властяхъ. Domine fac salvam Rempublicam—раздалось въ тоже время во всѣхъ церквахъ великаго града.

“Да, времена, въ которыя мы живемъ, глубокознаменательны, и еще на дняхъ мы видѣли торжественное зрѣлище, которое сильно потрясло насъ и на долго запечатлѣлось въ сердцахъ нашихъ. Едва бушующее народное море отступило съ львинымъ ревомъ своимъ въ берега, какъ на Монмартрскую пажить господню постучался новый гость, сопровождаемый неутѣшнымъ сыномъ, опиравшимся на руку подруги своей. Она-то примирила почившаго старца съ тѣмъ, который принимаетъ всякое раскаяніе и прощаетъ всякій грѣхъ за ревность о дѣлѣ ближняго. Хоронили по всѣмъ правиламъ католическаго культа Люкаса Ральера, отца извѣстнаго въ Парижѣ нотаріуса и легиста. Родившись въ тѣ несчастныя времена, когда легкомысліе Аруэта и вѣрующее невѣріе Жанъ-Жака

считались наукой, а ненависть къ церкви—любовью къ народу и образованію, Ральеръ въ молодыхъ годахъ дерзко закрылъ себѣ врата церкви. Гордость полвѣка воспрещала ему сознаться въ своей ошибкѣ, и только въ послѣдніе дни, благодаря кроткому вліянію добродѣтельной жены своего сына, старецъ смирился передъ Искупителемъ, и церковь поспѣшила принять духъ его съ миромъ. Отецъ Амарантъ произнесъ нѣсколько (но какихъ) словъ на текстъ : " Онъ сказалъ виноградарю, что не пойдетъ на работу — и пошелъ "... — Да, заключилъ краснорѣчивый абатъ С. Сульпиція : усопшій гражданинъ работалъ въ виноградѣ Христа, зане работалъ для страждущихъ... Ты былъ нашъ, враждуя на ны. Мы ждали тебя долготерпѣливо и дождались, гряди-же какъ невѣста Ливанская на пріуготовленное ложе... А мы повторимъ отъ всей души и всего помышленія литію архипастыря... И еще помолимся о державномъ народѣ французскомъ и испросимъ благословенія господня на нашу христолюбивую республику, на ея градоначальниковъ, военачальниковъ и представителей. Народъ, сильно тронутый словами Амаранта, разошелся съ крикомъ : Vive la République! Vive l'eglise!"

II.

..... Мѣсяца три спустя, мнѣ было нужно повидаться по очень важному дѣлу съ Марастомъ. Я былъ съ нимъ хорошо знакомъ и помѣщалъ время отъ времени обозрѣнія медицинскихъ книгъ и отчеты о засѣданіяхъ Медицинской Академіи въ " National'ѣ ". Это былъ медовый мѣсяцъ его президентства; добраться до президента было нелегко. Пріѣзжаю въ первый разъ, — отказываютъ; пріѣзжаю во второй, — дома нѣтъ.

— А какъ вы думаете, гдѣ онъ?

— Въ собраніи.

— Я сейчасъ оттуда, его тамъ нѣтъ.

— Стало уѣхалъ.

— Очень вѣроятно, а когда онъ воротится?

— Да вамъ который часъ назначенъ?

— Никакого; мнѣ нужно видѣть Мараста по дѣлу, я докторъ такой-то. Одинъ huissier съ цѣпью позвалъ другаго huissier съ цѣпью; этотъ былъ важнѣе и слѣдственно грубѣе: высокій, плѣшивый, рыхлый подагрикъ, павшій на ноги, въ заношевыхъ сапогахъ, съ тѣмъ театральнымъ величіемъ, за которымъ человѣкъ прячетъ совершенную пустоту своего ремесла, онъ объявилъ, глядя не на меня, а куда-то въ уголъ, что у Monsieur le Président надобно письменно просить свиданья и прибавилъ: — еслибъ президентъ всѣхъ принималъ, ему надобно было-бы 48 часовъ въ сутки, да и тѣхъ можетъ не хватило-бы. Хотите бумаги и чернилъ? вотъ все, что нужно, прибавилъ онъ и указалъ маленькимъ пальцемъ на столъ. Я вынулъ изъ кармана свою карточку и написалъ на ней: Мнѣ васъ нужно по дѣлу; меня къ вамъ не пускаютъ. Я прійду завтра въ девять утра узнать, когда васъ можно видѣть? Huissier улыбнулся и не могъ удержаться чтобъ не сказать: — это не дѣлается такъ.

На другое утро таже исторія. Huissier говорилъ, что онъ карточку положилъ съ другими, что приказа никакого не было. Шутка эта стала мнѣ надоѣдать. Позовите кого нибудь изъ секретарей, — сказалъ я, немного приподнявъ голосъ. — Ни одного еще нѣтъ. — Зачѣмъ нѣтъ, долженъ быть дежурный; что за безпорядокъ. Я сажусь здѣсь и буду ждать часъ, два; а потомъ, прошу покорно замѣтить, что, если не прійдетъ секретарь, я не возвращусь, а послѣдствіе этого вы возьмете на себя.

Подагрикъ, нѣсколько огорошенный, отправился во внутреннія комнаты, беззвучно ступая по паркету съ осторожностью слона, идущаго по льду. Черезъ минуту онъ воротился съ чернымъ фракомъ, видимо заряженнымъ на всякую дерзость; онъ еще издали, для тону громко сморкаясь, спро-

силъ : Гдѣ онъ? que diable, и срѣзался. Я его зналъ корректоромъ въ "Насіоналѣ" и вмѣстѣ съ нимъ поправлялъ мои статьи. — За чѣмъ, говорю я ему, Марастъ играетъ въ прятки и поставилъ какихъ-то гипопотамовъ съ цѣпями въ свою охрану. Мнѣ его нужно видѣть по дѣлу, которое столько-же интересуетъ его, какъ меня.

— Видѣть теперь президента невозможно; у него Ламартинъ и Гарнье Пажесъ, поѣзжайте домой; я черезъ два часа пришлю вамъ отвѣтъ. Черезъ два часа, даю честное слово. Вы слышали, что затѣваютъ Косидьеръ и Луи-Бланъ?

— Не слыхалъ, но не хочу у васъ отнимать времени. И такъ, черезъ два часа...

Эксъ-корректоръ сдержалъ слово. Хоть не черезъ два часа, но въ тотъ-же день явился ко мнѣ, гремя палашемъ и шпорами, зацѣпляясь каской за двери, драгунъ, и подалъ огромный пакетъ, въ которомъ лежала крошечная бумажка, и на ней : "Г. президентъ проситъ васъ пріѣхать завтра въ 11 часовъ утра, время его утренней закуски".

Когда я на другой день вошелъ въ пріемную залу, тамъ стояли, сидѣли, ходили, говорили, молчали — обычныя лица всѣхъ оффиціальныхъ передникъ. У дверей во внутреннія комнаты красовались часовые изъ національной гвардіи съ ружьями у ногъ, лакеи въ ливреяхъ сновали взадъ и впередъ, какіе-то офицеры главнаго штаба пробѣгали въ такомъ вооруженіи и такъ озабоченно и быстро по залѣ, какъ будто сейчасъ начнется канонада, и непріятель уже занялъ Монмартрскія высоты. Нѣсколько человѣкъ въ нечищенныхъ пальто и ярко красныхъ шейныхъ платкахъ сильно ораторствовали; полагаю, что эти представители демократическаго равенства сословій были просто шпіоны, которыхъ Марастъ захватилъ съ собой изъ Hôtel de Ville. Словомъ, это была пріемная временщика, Метерниха, при царѣ-народѣ; но пріемная не обходившаяся, не обтершаяся; словно въ ней пахло краской и двери скрипѣли на петляхъ.

Офиціантъ громко назвалъ меня по фамиліи и пригласилъ въ столовую. Въ углу большой залы былъ накрытъ столъ на четыре прибора, ломившійся отъ тяжелаго серебряннаго плато. У окна стоялъ Паньеръ, я подошелъ къ нему и едва успѣлъ улыбаясь сказать : — tempora mutantur, какъ двери отворились à deux battans и, предшествуемый главнымъ huissier, сопровождаемый секретаремъ и офиціантами, вошелъ Марастъ. Часовые брякнули на караулъ; щегольски одѣтый, въ небрежномъ утреннемъ костюмѣ, раздушенный, съ пышно взбитыми сѣдыми волосами, Марастъ былъ свѣжъ и румянъ, какъ американское яблоко; въ лицѣ его, отъ природы очень красивомъ, была какая-то фосфоричность отъ упоенія собою. Онъ слегка извинился передо мной и, указавъ рукой на стулъ, прибавилъ : — Мы, любезный докторъ, переговоримъ за котлеткой, если вы думаете, что дѣло не повредитъ пищеваренію. Офиціантъ торжественно снялъ какую-то крышку и передалъ ее другому, который торжественно понесъ ее на другой столъ. Я взглянулъ на Паньера и подумалъ : съ какимъ-бывало веселымъ апетитомъ ужинали мы съ нимъ въ небольшой столовой третьяго этажа, у издателя “Насіоналя”, и какъ интересно болтали съ милой, умной Mme Marast, которой, видно, не по этикету было являться такъ рано...

О дѣлѣ мы переговорили. “Romanée gelée”, сказалъ хозяинъ, тихо и ни къ кому не обращаясь; и въ туже минуту выросъ какъ изъ подъ земли мажоръ д'омъ, у котораго въ рукахъ была бутылка, покоившаяся на боку въ тростниковой колыбели. — Знаете, докторъ, кого я часто поминаю и кого ужасно жаль : это нашего папа Ральера. И какъ странно, что онъ умеръ въ ту самую минуту, когда воскресала Республика, которой онъ такъ ждалъ, которую такъ любилъ. Славный былъ старикъ, и какъ бы онъ былъ счастливъ; мѣсяцъ бы пожить какой нибудь. Это былъ удивительный человѣкъ, прибавилъ онъ, обращаясь къ Паньеру : вы его знали?

— Очень, отвѣчалъ Паньеръ.

— Такихъ-то людей, непоколебимыхъ и сильныхъ, намъ теперь очень, очень нужно.

— Будто? замѣтилъ я, улыбаясь.

Едва уловимое движеніе пробѣжало по лицу Мараста.

— А вы знаете подробности о его кончинѣ и похоронахъ?

— Ничего не знаю кромѣ того, что онъ умеръ въ ночь 24 Февраля; что-же особеннаго?

Я передалъ ему вамъ извѣстныя подробности, не забылъ даже упомянуть и о статьѣ въ клерикальномъ журналѣ.

По мѣрѣ того какъ я разсказывалъ, фосфоричность Мараста исчезла, онъ безпокоился, дѣлалъ видъ мигрени и наконецъ, нетерпѣливо кроша двумя пальцами хлѣбъ, сказалъ: — Вы мнѣ позвольте замѣтить, любезнѣйшій докторъ, мнѣ кажется, что вы напрасно такъ обвиняете Изидора Ральера. Вы дѣйствительно не вошли въ его положеніе; я его знаю очень хорошо за прекраснаго человѣка и преданнаго республиканца.....

Я улыбнулся.

— Я говорю, что я его знаю, сказалъ нѣсколько прищуривая глаза Марастъ.

— Въ нашемъ царствѣ всеобщей подачи голосовъ позвольте мнѣ имѣть мое смиренное мнѣніе.

— У васъ взглядъ непрактическій, докторъ. Исполненіе религіозныхъ обрядовъ большинства народа до нѣкоторой степени обязательно для всѣхъ. Здѣсь не можетъ быть рѣчи о притѣсненіи совѣсти, это дѣло декорума. За чѣмъ человѣку высокомѣрно выдѣлять себя въ какое-то оскорбительное à parte..... Это очень хорошо понималъ человѣкъ, котораго авторитетъ трудно отвести: Робеспьеръ. Онъ говорилъ, что атеизмъ—аристократія.

— И выдумалъ свою церковь, въ которую вербовалъ гильотиной; да и то не навербовалъ.....

— Вы знаете, что я гильотину не оправдываю, но все-же его религія была лучше атеизма Гебера.

— Какъ кому, это дѣло вкуса; а послѣдній крикъ умирающаго Ральера у меня въ ушахъ; и католическую галиматью, въ которой подхваливаютъ христолюбивую республику, я считаю обиднымъ и для честнаго республиканца, и для второй республики.

— Что-же, вы думаете, что мы могли бы, какъ въ 93, закрыть церкви, дѣйствительно насилуя совѣсть огромнаго большинства французовъ? Хороши мы были бы, еслибъ съ самаго начала затронули такую опасную струну съ народомъ, который надобно всѣми средствами пріучить къ республикѣ, воспитать къ свободѣ и пониманью права.

— Вы были не совсѣмъ того мнѣнья о немъ три мѣсяца тому назадъ, въ вашихъ энергическихъ premiers Paris.

— Три мѣсяца не много времени, а посмотрите, сколько у меня прибавилось сѣдыхъ волосъ. Перо публициста и дѣятельность государственнаго человѣка могутъ имѣть общую цѣль; но они далеки, какъ практика и теорія; а эту даль только тотъ можетъ измѣрить, кто самъ окунулся въ омутъ дѣлъ.

За тѣмъ Марастъ быстро всталъ и пригласилъ меня въ кабинетъ. Когда мы проходили въ двери, часовые опять взяли на караулъ. Вѣроятно Марасту это не было непріятно; имѣлъ же онъ, вѣроятно, право сказать имъ, чтобъ они стояли смирно и не дурачились.

Ему было совѣстно и досадно; онъ подалъ Паньеру и мнѣ сигары и, потрепавъ меня дружески по плечу, сказалъ ему : — Что намъ дѣлать съ нашимъ неисправимымъ эскулапомъ, вотъ enfant terrible съ сѣдыми волосами?

— Скажите, спросилъ я смѣясь : гражданинъ Паньеръ, давно-ли это нашъ президентъ сдѣлался изъ Вольтеріянцевъ клерикаломъ и проповѣдуетъ церковные обряды?

— Что вы дурачитесь, докторъ! Ну какой тутъ клери-

кализмъ; а вотъ вамъ что за охота говорить при секретарѣ. Онъ очень хорошій молодой человѣкъ, но въ душу не заглянешь, а въ нашемъ положеніи надобна осторожность и осторожность; да тутъ офиціанты еще. Неужели вы не понимаете, что мое общественное положеніе, которое только и держится на нравственномъ вліяніи.....

— И священное депо, ввѣренное вамъ, сказалъ я, невольно вспоминая фразеологію Изидора.

— Да, да депо, ввѣренное самимъ народомъ мнѣ и моимъ товарищамъ, накладываетъ на меня обязанности, и во-первыхъ не дозволяетъ мнѣ ссориться съ духовенствомъ. A au bout du compte мнѣ все равно, будетъ-ли идти за моимъ гробомъ какой нибудь шутъ въ четвероугольной шляпѣ и бѣлой манишкѣ сверхъ черной сутаны, или нѣтъ, лишь бы они мнѣ живому не мѣшали.

— Я не подумалъ объ этомъ за столомъ, сказалъ я откланиваясь.

Марастъ любезно проводилъ меня за двери. Часовые бряknули на караулъ.

25 Марта 1869. Ницца.

IV.

ЭПИЛОГЪ

— Мнѣ, докторъ, хочется вамъ повторить вопросъ, который сдѣлалъ какой-то математикъ, прослушавши очень внимательно симфонію : — Что-же это доказываетъ?

— И музыкантъ не умѣлъ ему вѣроятно ничего отвѣтить. Не легко и мнѣ, а все таки я думаю, что моя симфонія, или Marche funèbre, доказываетъ кое что; доказываетъ хоть бы напримѣръ и то, что Франція совсѣмъ не такая уже революціонная страна, какой себѣ представляли

ее иностранцы и мы сами. Мы взбалмошные консерваторы и капризные рутинисты. Мы часто стоимъ на одномъ мѣстѣ съ видомъ скораго марша и отступаемъ съ крикомъ атаки. Малѣйшій вѣтеръ колышетъ и рябитъ наше море, но на вершокъ, не больше. Девяностые годы захватили глубже, такъ мы восемьдесятъ лѣтъ пятимся, чтобъ войти въ старое, узкое и жесткое русло. Революціонная пьэса доиграна, но костюмы намъ понравились и мы мирно ходили въ нихъ на улицахъ, какъ дѣти въ мундирахъ. Входъ за кулисы только легокъ въ театрахъ. Нигдѣ не хранятъ лучше семейныя тайны и физическія недостатки, какъ у насъ. Насъ ужасно трудно застать врасплохъ. Что мудренаго узнать англичанина, не дающаго себѣ труда играть роль; или нѣмца, довѣряющаго свои чувствованія знакомому по table d'hôte'у. Раскусите-ка насъ. Мы для ближайшихъ знакомыхъ дѣлаемъ туалетъ, и такія неглиже всегда по модѣ и къ лицу. Бываютъ иногда "дурные четверть часа", когда все, спрятанное подъ манишками, выступаетъ наружу; тутъ и ловите. Пропустили — ваша бѣда. Я самъ дожилъ до сѣдинъ, плохо понимая что дѣлается вокругъ, и потомъ въ три дня выучился больше, чѣмъ во всю жизнь — и выучился на всю жизнь.

— Вы говорите?.....

— Разумѣется объ Іюньскихъ дняхъ.

— Вы соціалистъ?

— Я докторъ медицины.

— Это не мѣшаетъ.

— Мѣшаетъ, и очень. Быть разомъ больнымъ и врачемъ, дѣло плохое. Одильонъ Баро говорилъ, что законъ не знаетъ Бога; а ужъ врачь и подавно не долженъ имѣть никакой религіи; иначе онъ неодинаково будетъ относиться къ больнымъ.

— Вольно вамъ соціализмъ считать религіей?

— А какъ-же? Можетъ онъ когда нибудь и выростетъ изъ стихаря, даже есть обѣщающіе зачаточки; но это еще нерѣшенное дѣло; великая революція имѣла не меньше его

зачатковъ, а тамъ и состарилась на своихъ цивическихъ литургіяхъ и политическихъ процессіяхъ. Все тѣже идолопоклонники и иконоборцы; только иконы другія; а средства защиты и нападенія, какъ встарь, чисто богословскія, основанныя на вѣрѣ во что нибудь невѣроятное, подтверждаемой доказательствами, ничего недоказывающими, и силой, доказывающей, что разсужденіемъ ничего не сдѣлаешь, а кулакомъ очень много. Религіи всегда учреждались и держались на горячемъ сердцѣ и крѣпкомъ кулакѣ.

— Ничего подобнаго нѣтъ въ современной борьбѣ капитала съ работой; какія тутъ литургіи, да крестные ходы?

— Помилуйте, да тутъ все литургія, кромѣ самаго предмета. Одни хотятъ увѣрить другихъ, что эти другіе..... имъ-же нѣтъ числа, не имѣютъ права на необходимое, тогда какъ они сами имѣютъ лишнее, и дивятся какъ тѣ въ проголодь не понимаютъ, что въ этомъ-то и состоитъ свобода. Другіе укоряютъ въ грабежѣ тѣхъ, которые также безсознательно имѣютъ деньги, какъ укоряющіе ихъ не имѣютъ. Гдѣ-же тутъ логика? одно богословіе, примѣненное къ земнымъ предметамъ. Иконоборцы капитала и его идолопоклонники такъ и стоятъ на своемъ диспутѣ, все больше и больше отравляя его и поддразнивая другъ друга,

— Куда-же это приведетъ?

— Туда, куда приводятъ всѣ религіозныя препинанія: не къ дѣлу, а къ крови.

— И будто это такъ неминуемо?

— Я не фаталистъ, но кажется миновать трудно. Одинъ станъ ростетъ не по днямъ, а по часамъ; другой свирѣпѣетъ, и оба не понимаютъ другъ друга.....

— Надобно посредниковъ.

— А гдѣ-же ихъ взять? Примирившихся и непримиримыхъ бездна, но примирителей нѣтъ. Примирившіеся резонеры всего хуже; что они примутся объяснять, то остается на вѣки мутнымъ и безжизненнымъ, какъ замерзнувшая лужа.

Это наша язва. Вы ее найдете почти во всѣхъ журналахъ. Мишле говоритъ о томъ, какъ схоластика и монашеское воспитаніе образовали цѣлую породу дураковъ. Журнализмъ, парламентаризмъ, неудавшіяся революціи и революціонное похмѣлье, выростили въ наше время слой умниковъ, заговаривающихъ всякое дѣло до безсмыслія. Они все объясняютъ, все понимаютъ; но всякій жизненный вопросъ выходитъ изъ ихъ мозговой реторты какъ зеленый листъ, опущенный въ хлоръ, блѣднымъ, увядшимъ. Ихъ неистощимая верва, запугивающее умничанье однихъ, дѣловая наторѣлость другихъ, дѣлаютъ изъ нихъ казовый конецъ нашего времени; и это большое несчастіе. Это не дилеттанты, а адвокаты всего на свѣтѣ. Ихъ задача состоитъ въ томъ, чтобъ одержать верхъ въ преніи, выиграть дѣло; а въ чемъ оно, имъ все равно.

..... Я прерываю философствованіе моего доктора, или лучше, не продолжаю его; потому, что и тутъ, какъ почти во всемъ, обстоятельства нагнали насъ и опередили.....

Разсказъ доктора о гражданинѣ Ральеръ я писалъ въ началѣ Марта 1869. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, гроза, давно собиравшаяся, разразилась безъ ударовъ и потрясеній. Удушливая тяжесть атмосферы Парижа и Франціи измѣнилась. Равновѣсіе, устроившееся отъ начала реакціи послѣ 1848, нарушилось окончательно.

Явились новыя силы и люди.

THIERS-DANIEL

(Deuxième circonscription. — Discours électoral).

"L'Europe, dit M. Thier d'un accent pénétré et sombre, marche à la république; mais il ne faut pas que les jeunes hommes se fassent illusion. Par la faute des gouvernements, qui tantôt cèdent lorsqu'ils devraient tenir ferme, qui tantôt résistent quand ils devraient diriger et contenir—ce siècle ne connaîtra que la période de transition brusque, sanglante, terrible à tous, et que je remercie Dieu de ne pas être appelé à voir.

"L'enchevêtrement des problèmes sociaux et politiques, intérieurs et internationaux, est tel aujourd'hui, que les peuples sont fatalement amenés à tout trancher en supprimant tout.

"Mais suppression violente et solution sont deux, et pour être déplacées, les questions n'en subsisteront pas moins toujours menaçantes. Ce n'est que lorsque le monde nouveau, qui déjà déchire les flancs de l'Europe, aura acquis assez de virilité et de sagesse pour vaincre et pour résoudre, que la république économique ramènera l'ordre et la paix au sein de la société.

"Vous êtes jeunes, messieurs, ajouta-t-il, mais dussiez-vous atteindre l'extrême limite de la vie, vous n'aurez vu que le prologue de la civilisation de l'avenir".

ДАНІИЛЪ-ТЬЕРЪ

Двадцать одинъ годъ тому назадъ соціализмъ былъ побитъ на голову и похороненъ рядомъ съ анабаптизмомъ и другими утопіями, имѣвшими цѣлью благосостояніе большинства и общественное пересозданіе на его основахъ. Увѣренность въ побѣдѣ была велика и не мудрено, побѣдили больше чѣмъ хотѣли, побѣдили вмѣстѣ съ врагомъ самихъ себя. Хотѣли усмирить, подавить химеру соціализма, а усмирили всякое свободное движеніе и подавили всякую независимость, всякое человѣческое достоинство.

Надъ тѣми, которые утверждали, что соціализмъ только оглушенъ, и указывали на ростущій ропотъ заѣдаемыхъ индустріей работниковъ, смѣялись, — смѣялись даже у насъ въ Россіи, несмотря на то, что соціальный вопросъ у насъ совсѣмъ иначе поставленъ. Ни колосальныя соединенія англійскихъ работниковъ, ни движеніе работниковъ въ Германіи, ни лиги, ни гревы, ни международные союзы не могли увѣрить счастливыхъ побѣдителей, что ихъ побѣда, не въ самомъ дѣлѣ такъ полна какъ имъ кажется. Правительствующее сословіе продолжало заниматься своимъ дѣломъ и призрачными вопросами.

А между тѣмъ, достаточно было слабаго, перелетнаго вѣтра выборовъ, чтобъ мѣстами сдунуть золу и показать надъ садовыми клумбами и гладко убитыми дорожками, рдѣющіе волчьими глазами угли..... и кто ихъ увидѣлъ и заявилъ, кто Даніиломъ вышелъ впередъ испугать пирующихъ, сказать второй разъ въ жизни свое "приливъ подымается" и признаться, что онъ опять обойденъ событіями? Тотъ-же маленькій, тотъ-же большой Тьеръ, геніальный Фигаро тридцатыхъ годовъ, ораторъ парламентаризма, либералъ, убившій

двадцать лѣтъ тому назадъ соціализмъ въ образѣ Прудона, Тьеръ вдругъ превратился изъ Іоанна Златоуста буржуазіи въ Іоанна Предтечу соціализма.

"Европа идетъ къ республикѣ, сказалъ онъ передъ выборами 1869, но молодые люди не должны ошибаться. По винѣ правительствъ, которыя то уступаютъ, когда слѣдовало бы твердо противодѣйствовать, то противодѣйствуютъ, когда слѣдовало бы направлять и умѣрять, нашъ вѣкъ увидитъ только періодъ крутаго, кроваваго, грознаго для всѣхъ перехода и который, благодаря бога, я не призванъ видѣть.

"Заступленіе (l'enchevêtrement) другъ въ друга соціальныхъ и политическихъ, международныхъ и внутреннихъ вопросовъ таково, что народы роковой необходимостью приводятся къ тому, чтобъ все разрѣшать, уничтожая все. Но насильственное уничтоженіе и рѣшеніе не одно и тоже, и переставленные вопросы останутся угрожающими по прежнему. Надобно, чтобъ новый міръ, который уже раздираетъ лоно Европы, пріобрѣлъ много совершеннолѣтія и мудрости для того, чтобъ Республика экономическая привела снова порядокъ и миръ въ обществѣ.

"Вы—молодые господа, но еслибъ вы достигли до послѣдняго предѣла жизни, то и тогда вы ничего не увидите кромѣ пролога будущей цивилизаціи".

Поздно старый дѣлецъ разглядѣлъ будущее, невольно признался въ ошибкѣ, продолжавшейся цѣлую жизнь и жизнь очень длинную. Что за трагическое безсиліе въ упованіи на близкую смерть, какъ на средство ускользнуть отъ неминуемаго будущаго! Старый человѣкъ и новое человѣчество, лицо и исторія, настоящее и будущее, такъ разошлись, что нѣтъ перехода, кромѣ бѣгства въ могилу.

Суетный даже въ эту минуту отчаяннаго пророчества, Тьеръ пытается промахами правительства объяснить опасность, грозящую государственному строю.

Какъ будто міровыя явленія зависятъ отъ канцелярскихъ

ошибокъ и полицейскихъ распоряженій..... къ звукамъ трубы, зовущей на послѣдній судъ цѣлую цивилизацію, двѣ цивилизаціи, онъ прибавилъ звукъ театральнаго свистка..... и музыка вышла еще ужаснѣе. Хорошо Тьеру, что онъ старъ и скоро умретъ. Цѣлое поколѣніе, цѣлыхъ два поколѣнья не могутъ бѣжать въ смерть отъ совершенія необходимыхъ судебъ : на кладбищѣ будетъ слишкомъ тѣсно; что-же имъ дѣлать? Чѣмъ-же наконецъ будить людей, если и это предостереженіе пройдетъ даромъ, какими еще зарницами и молніями?... Заспанные, отяжелѣвшіе, они не умѣютъ никогда во время проснуться, они тогда придутъ въ себя, когда бѣда разразится надъ головой, т. е. когда не только поздно понимать, уступать, но поздно спасаться.

Можетъ на насъ, людяхъ принадлежащихъ къ обоимъ мірамъ, къ одному—по случайности рожденія, къ другому—по избирательству сродства, лежитъ долгъ повторять сторожевой крикъ и призывъ къ разуму упорствующихъ. Если онъ и не устранитъ страшное столкновеніе, то можетъ смягчить его удары, а это само по себѣ великое дѣло.

Пока вы спали съ закрытыми ставнями, все перемѣнилось, новый міръ переросъ васъ, не вѣритъ въ ваши права и скоро не будетъ вѣрить въ силу. Вглядитесь, хочется имъ сказать, въ то что дѣлается, и не отстаивайте того, чего нельзя отстоять, для того чтобъ уцѣлѣла хоть часть изъ того, что не должно погибнуть, но погибнуть можетъ.

КЪ СТАРОМУ ТОВАРИЩУ

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Одни мотивы, какъ бы они ни были достаточны, не могутъ быть дѣйствительны безъ достаточныхъ средствъ.

Іеремія Бэнтамъ.
(Письмо къ Александру I).

Насъ занимаетъ одинъ и тотъ-же вопросъ. Впрочемъ одинъ серьезный вопросъ и существуетъ на историческомъ череду. Все остальное или его растущія силы, или болѣзни, сопровождающія его развитіе, т. е. страданія, которыми новый и болѣе совершенный организмъ выработывается изъ отжившихъ и тѣсныхъ формъ, примѣшивая ихъ къ высшимъ потребностямъ. Конечное разрѣшеніе у насъ обоихъ одно. Дѣло между нами вовсе не въ разныхъ началахъ и теоріяхъ, а въ разныхъ методахъ и практикахъ, въ оцѣнкѣ силъ, средствъ, времени, въ оцѣнкѣ историческаго матерьяла. Тяжелыя испытанія съ 1848 г. розно отозвались на насъ. Ты больше остался какъ былъ, тебя жизнь сильно помучила —меня только помяла, но ты былъ вдали—я стоялъ возлѣ. Но если я измѣнился, то вспомни, что измѣнилось все. Экономически-соціальный вопросъ становится теперь иначе, чѣмъ онъ былъ двадцать лѣтъ тому назадъ. Онъ пережилъ свой религіозный и идеальный, юношескій возрастъ, также какъ возрастъ натянутыхъ опытовъ и экспериментацій въ

маломъ видѣ, самый періодъ жалобъ, протеста, исключительной критики и обличенія приближается къ концу. Въ этомъ великое знаменіе его совершеннолѣтія. Оно достигается наглядно, но не достигнуто, не отъ однихъ внѣшнихъ препятствій, не отъ одного отпора, но и отъ внутреннихъ причинъ. Меньшинство, идущее впередъ, не доработалось до ясныхъ истинъ, до практическихъ путей, до полныхъ формулъ будущаго экономическаго быта. Большинство, наиболѣе страдающее, стремится одною частью городскихъ работниковъ выйти изъ него, но удержано старымъ, традиціоннымъ міросозерцаніемъ другой и самой многочисленной части. Знанія и пониманья не возмешь никакими coup d'état и никакими coup de tête. Медленность, сбивчивость историческаго хода пониманья насъ бѣситъ и душитъ, она намъ невыносима, и многіе изъ насъ, измѣняя собственному разуму, торопятся и торопятъ другихъ. Хорошо-ли это или нѣтъ? Въ этомъ весь вопросъ.

Слѣдуетъ-ли толчками возмущать съ цѣлью ускоренія внутренней работы, которая очевидна? Сомнѣнія нѣтъ, что акушеръ можетъ ускорять, облегчать, устранять препятствія, но въ извѣстныхъ предѣлахъ; а ихъ трудно установить и страшно переступать. На это, сверхъ логическаго самоотверженія, надобенъ тактъ и вдохновенная импровизація. Сверхъ того, не вездѣ одинакая работа и одни предѣлы. Петръ I, Конвентъ, научили насъ шагать семимильными сапогами, шагать изъ перваго мѣсяца беременности въ девятый, и ломать безъ разбора все, что попадется на дорогѣ. Die Zerstörende Lust ist eine schaffende Lust—и впередъ за неизвѣстнымъ богомъ-истребителемъ, спотыкаясь на разбитыя сокровища вмѣстѣ со всякимъ мусоромъ и хламомъ.

... Мы видѣли грозный примѣръ кроваваго возстанія, въ минуту отчаянія и гнѣва сошедшаго на площадь и спохватившагося на барикадахъ, что у него нѣтъ знамени. Сплоченный въ одну дружину, міръ консервативный побилъ его,

въ слѣдствіе этого было то ретроградное движенье, котораго слѣдовало ожидать. Но что было бы, еслибъ побѣда стала на сторону баррикадъ? Въ двадцать лѣтъ грозные бойцы высказали-ли все, что у нихъ было за душой? Ни одной построяющей, органической мысли мы не находимъ въ ихъ завѣтѣ, а экономическіе промахи, некосвенно, какъ политическіе, а прямо и глубже ведутъ къ раззоренію, къ застою, къ голодной смерти.

Наше время—именно время окончательнаго изученія, того изученія, которое должно предшествовать работѣ осуществленія, такъ какъ теорія паровъ предшествовала желѣзнымъ дорогамъ. Прежде дѣло хотѣли взять грудью, усердіемъ, отвагой и шли зря на авось;—мы на авось не пойдемъ.

Ясно видимъ мы, что дальше дѣла не могутъ идти такъ, какъ шли, что наконецъ, исключительному царству капитала и безусловному праву собственности также пришелъ конецъ, какъ нѣкогда пришелъ конецъ царству феодальному и аристократическому. Какъ передъ 1789 обмиранье міра средневѣковаго началось съ сознанія несправедливаго подчиненія средняго сословія, такъ и теперь переворотъ экономическій начался сознаніемъ общественной неправды относительно работниковъ. Какъ тогда упрямство и вырожденіе дворянства помогло собственной гибели, такъ и теперь упрямая и выродившаяся буржуазія тянетъ сама себя въ могилу.

Но общее постановленіе задачи не даетъ ни путей, ни средствъ, ни даже достаточной среды. Насильемъ ихъ не завоюешь. Подорванный порохомъ весь міръ буржуазный, когда уляжется дымъ и расчистятъ развалины, снова начнетъ съ разными измѣненіями — какой нибудь буржуазный міръ. Потому, что онъ внутри не конченъ и потому еще, что ни міръ построяющій, ни новая организація не на столько готовы, чтобъ пополниться осуществляясь. Ни одна основа изъ тѣхъ, на которыхъ покоится современный порядокъ, изъ тѣхъ, которыя должны рухнуть

и пересоздаться, не настолько почата и расшатана, чтобъ ее достаточно было вырвать силой, чтобъ исключить изъ жизни. Государство, церковь, войско, отрицаются точно также логически, какъ богословіе, метафизика и пр. Въ извѣстной научной сферѣ онѣ осуждены, но внѣ ея академическихъ стѣнъ онѣ владѣютъ всѣми нравственными силами.

Пусть каждый добросовѣстный человѣкъ самъ себя спроситъ, готовъ-ли онъ? Такъ-ли ясна для него новая организація, къ которой мы идемъ, какъ общіе идеалы коллективной собственности, солидарности,—и знаетъ-ли онъ процессъ (кромѣ простаго ломанья), которымъ должно совершиться превращеніе въ нее старыхъ формъ? И пусть, если онъ лично доволенъ собой, пусть скажетъ, готова-ли та среда, которая по положенію должна первая ринуться въ дѣло?

Знаніе неотразимо, но оно не имѣетъ принудительныхъ средствъ. Излеченье отъ предразсудковъ медленно, имѣетъ свои фазы и кризисы. Насильемъ и терроромъ распространяются религіи и политики, учреждаются самодержавныя имперіи и нераздѣльныя республики; насильемъ можно разрушать и расчищать мѣсто — небольше. Петроградизмомъ соціальный переворотъ дальше каторжнаго равенства Гракха Бабефа и коммунистической барщины Кабе не пойдетъ. Новыя формы должны все обнять и вмѣстить всѣ элементы современной дѣятельности и всѣхъ человѣческихъ стремленій. Изъ нашего міра не сдѣлаешь ни Спарту, ни бенедиктинскій монастырь. Не душить одни стихіи въ пользу другихъ слѣдуетъ грядущему перевороту, а умѣть всѣ согласовать къ общему благу.

Экономическій переворотъ имѣетъ необъятное преимущество передъ всѣми религіозными и политическими революціями въ трезвости своей основы. Таковы должны быть и пути его, таково обращеніе съ данными. По мѣрѣ того, какъ онъ выростаетъ изъ состоянія неопредѣленнаго страданія и недовольства, онъ невольно становится на реальную почву.

Тогда какъ всѣ другіе перевороты постоянно оставались одной ногой въ фантазіяхъ, мистицизмахъ, вѣрованіяхъ и неоправданныхъ предразсудкахъ патріотическихъ, юридическихъ и пр., экономическіе вопросы подлежатъ математическимъ законамъ.

Конечно, математическій, какъ и всякій научный законъ, носитъ доказательство въ самомъ себѣ и не нуждается ни въ эмпирическомъ оправданіи, ни въ большинствѣ голосовъ. Но для приложенія, эмпирическая сторона и всѣ внѣшнія условія осуществленія выступаютъ на первый планъ. "Мотивы могутъ быть истинны, но безъ достаточныхъ средствъ они не осуществятся". Все это принято во всѣхъ дѣлахъ человѣческихъ и обходится слишкомъ сангвиническими людьми въ дѣлѣ такого значенія, какъ общественное пересозданіе. Какой механикъ не знаетъ, что его выкладка, формула, не перейдетъ въ дѣйствительность, пока въ ряду явленій захватываемыхъ имъ, будутъ элементы неподчиняющіеся, посторонніе, или подлежащіе другимъ законамъ. Большей частью въ физическомъ мірѣ, эти возмущающіе элементы несложны и легко вводятся въ формулу, какъ вѣсъ линіи маятника, упругость среды, въ которой дѣлаются его размахи и пр. Въ мірѣ историческаго развитія это не такъ просто. Процессы общественнаго роста, ихъ отклоненія и уклоненія, ихъ послѣдніе результаты, до того переплелись, до того неразмчато вошли въ глубочайшую глубь народнаго сознанія, что приступъ къ нимъ вовсе не легокъ, что съ ними надобно очень считаться, и однимъ реестромъ отрицаемаго, отданнымъ какъ въ "приказѣ по соціальной арміи", ничего кромѣ путаницы не сдѣлаешь.

Противъ ложныхъ догматовъ, противъ вѣрованій, какъ бы онѣ ни были безумны, однимъ отрицаніемъ, какъ бы оно ни было умно, — бороться нельзя. Сказать: "не вѣрь!" также авторитетно и въ сущности нелѣпо, какъ сказать: "вѣрь". Старый порядокъ вещей крѣпче признаніемъ его, чѣмъ

матеріальной силой, его поддерживающей. Это всего яснѣе тамъ, гдѣ у него нѣтъ ни карательной, ни принудительной силы, гдѣ онъ твердо покоится на невольной совѣсти, на неразвитости ума и на незрѣлости новыхъ воззрѣній(*), какъ въ Швейцаріи и Англіи.

Народное сознаніе, такъ какъ оно выработалось, представляетъ естественное, само собой сложившееся, безотвѣтственное, сырое произведеніе разныхъ усилій, попытокъ, событій, удачь и неудачь людскаго сознанія, разныхъ инстинктовъ и столкновеній; его надобно принимать за естественный фактъ и бороться съ нимъ, какъ мы боремся со всѣмъ безсознательнымъ, изучая его, овладѣвая имъ и направляя его-же средства сообразно нашей цѣли.

Вообще въ соціальныхъ нелѣпостяхъ современнаго быта никто невиноватъ и никто не можетъ быть казненъ съ большей справедливостью, чѣмъ море, которое сѣкъ персидскій царь, или вѣчевой колоколъ, наказанный Іоанномъ Грознымъ. Винить, наказывать, отдавать на копье—все это становится ниже нашего пониманья. Надобно проще смотрѣть, физіологичнѣе, и окончательно пожертвовать уголовной точкой зрѣнія, а она по несчастью прорывается и мѣшаетъ понятія, вводя личныя страсти въ общее дѣло и превратную перестановку невольныхъ событій въ преднамѣренный заговоръ. Собственность, семья, церковь, государство — были огромными воспитательными формами человѣческаго освобожденія и развитія, мы выходили изъ нихъ по минованіи надобности.

(*) Что говорить о папскихъ силабусахъ и индексахъ, о полицейскихъ наказаніяхъ за такія-то и такія-то мнѣнія, о сенатскихъ рѣшеніяхъ философскихъ вопросовъ, когда неясность, сбивчивость самыхъ элементарныхъ понятій, поражаютъ въ мірѣ *свободнаго мышленія*, въ высшихъ сферахъ оппозиціи и революціи.... Вспомни старый споръ Маццини противъ Прудона и новое препирательство о вмѣненіи, о волѣ, объ идеализмѣ, о позитивизмѣ Жирардена, Луи-Блан'а, Жюль-Симона.

Обрушивать отвѣтственность за былое и современное на послѣднихъ представителей "прежней правды", дѣлающейся "настоящей неправдой"—также нелѣпо, какъ было нелѣпо и несправедливо казнить французскихъ маркизовъ за то, что они не якобинцы; и еще хуже, потому что мы за себя не имѣемъ якобинскаго оправданія: наивной вѣры въ свою правоту, въ свое право. Мы измѣняемъ основнымъ началамъ нашего воззрѣнія, осуждая цѣлыя сословія, и въ тоже время отвергая уголовную отвѣтственность отдѣльнаго лица. Это мимоходомъ, для того, чтобъ не возвращаться.

Прежніе перевороты дѣлались въ сумеркахъ, сбивались съ пути, шли назадъ, спотыкались и, въ силу внутренней неясности, требовали бездну всякой всячины, разныхъ вѣръ и геройства, множество выспреннихъ добродѣтелей, патріотизмовъ, піэтизмовъ. Соціальному перевороту ничего ненужно, кромѣ пониманья и силы, знанья и средствъ.

Но пониманье страшно обязываетъ. Оно имѣетъ свои неотступныя угрызенья разума и неумолимые упреки логики.

Пока соціальная мысль была неопредѣленная, ея проповѣдники, сами вѣрующіе и фанатики, обращались къ страстямъ и фантазіи столько-же, сколько къ уму; они грозили собственникамъ карой и раззорѣніемъ, позорили, стыдили ихъ богатствомъ, склоняли ихъ на добровольную бѣдность страшной картиной страданій. (Странная captatio benevolentiæ,—согласенъ). Изъ этихъ средствъ соціализмъ выросъ. Не то надобно доказать собственникамъ и капиталистамъ, что ихъ обладаніе грѣшно, безнравственно, беззаконно (понятія взятыя изъ совсѣмъ инаго міросозерцанія чѣмъ наше), а то, что нелѣпость его контрафорсовъ пришла къ сознанію неимущихъ, въ силу чего оно становится невозможнымъ. Имъ надобно показать, что борьба противъ неотвратимаго—безсмысленное истощеніе силъ и что, чѣмъ она упорнѣе и длиннѣе, тѣмъ къ большимъ потерямъ и гибелямъ она приведетъ. Твердыню собственности и капитала надобно потрясти разсчетомъ,

двойной бухгалтеріей, яснымъ балансомъ дебита и кредита. Самый отчаянный скряга не предпочтетъ утонуть со всѣми богатствами, если можетъ спасти часть ихъ и самаго себя, бросая другую за бортъ. Для этого необходимо только, чтобъ опасность была *также* очевидна для него, какъ *возможность спасенія*.

Новый водворяющійся порядокъ долженъ являться не только мечемъ рубящимъ, но и силой хранительной. Нанося ударъ старому міру, онъ нетолько долженъ спасти все, что въ немъ достойно спасенія, но оставить на свою судьбу все немѣшающее, разнообразное, своеобычное. Горе бѣдному духомъ и тощему художественнымъ смысломъ перевороту, который изъ всего былаго и нажитаго сдѣлаетъ скучную мастерскую, которой вся выгода будетъ состоять въ одномъ пропитаніи, и только въ пропитаньи. Но этого и не будетъ. Человѣчество во всѣ времена, самыя худшія, показывало, что у него potentialiter больше потребностей и больше силъ чѣмъ надобно на одно завоеваніе жизни, развитіе не можетъ ихъ заглушить. Есть для людей драгоцѣнности, которыми они не поступятся, и которыя у него изъ рукъ можетъ вырвать одно деспотическое насиліе, и то на минуты горячки и катаклизма. И кто не скажетъ, безъ вопіющей несправедливости, чтобъ и въ быломъ и въ отходящемъ не было много прекраснаго и что оно должно погибнуть вмѣстѣ съ старымъ кораблемъ.

Ницца, 15 Января 1869.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Международные работничьи съѣзды становятся ассизами, передъ которыми вызывается одинъ соціальный вопросъ за другимъ; они получаютъ больше и больше организующій складъ, ихъ члены эксперты и слѣдопроизводители. Они самую стачку и остановку работъ допускаютъ какъ тяжелую необходимость, какъ pis aller, какъ средство сосчитать свою силу, какъ боевую организацію. Серьезный характеръ ихъ поразилъ враговъ. Сильное ихъ покоя испугало фабрикантовъ и заводчиковъ. Было бы огромное несчастье, еслибъ они преждевременно вышли изъ этого строя.

Работники, соединяясь между собой, выдѣляясь въ особое "государство въ государствѣ", достигающее своего устройства и своихъ правъ помимо капиталистовъ и собственниковъ, помимо политическихъ границъ и границъ церковныхъ, составятъ первую сѣть и первый всходъ будущаго экономическаго устройства. Международный союзъ можетъ вырости въ Авентинскую гору à l'intérieur. Отступая на нее, міръ рабочій, сплоченный между собой, покинетъ міръ пользующійся безъ работы, за свою доходную непроизводительность, и онъ, отлученный, nolens volens, пойдетъ на сдѣлки. А не пойдетъ, тѣмъ хуже для него, онъ самъ себя поставитъ внѣ закона, и тогда гибель его отстранится только на столько, на сколько у новаго міра нѣтъ силъ. А пока ихъ нѣтъ, надо въ тиши собирать полки и не грозить. Угроза при безсиліи вредна. Подавленный взрывъ двинетъ назадъ. Досугъ нуженъ для двойной работы серьезнаго изученія и вербованья пониманьемъ; а настороженный врагъ, имѣющій силу въ рукахъ схватится за оружіе для своей обороны прежде чѣмъ противный станъ успѣетъ построиться. Уничтожать и топтать

всходы легче чѣмъ торопить ихъ ростъ. Тотъ кто не хочетъ ждать и работать, тотъ идетъ по старой колеѣ пророковъ и прорицателей, іересіарховъ, фанатиковъ и цѣховыхъ революціонеровъ. А всякое дѣло, совершающееся при пособіи элементовъ безумныхъ, мистическихъ, фантастическихъ, въ послѣднихъ выводахъ своихъ непремѣнно будетъ имѣть и безумные результаты рядомъ съ дѣльными. Сверхъ того, пути эти все больше и больше заростаютъ для насъ травой, пониманье и обсуживанье наше единственное оружіе. Теократическіе и политическіе догматы не требуютъ пониманья; они даже тверже и крѣпче покоятся на вѣрѣ безъ духа критики и анализа. Папу надобно считать непогрѣшимымъ, царя слушаться, отечество защищать, писанія и предписанія исполнять...

Все прошлое, изъ котораго мы хотимъ выйти, такъ и шло. Мѣнялись формы, образы, обряды. Сущность оставалась таже. Человѣкъ, склонявшій голову передъ капуциномъ, идущимъ съ крестомъ, дѣлалъ тоже, что человѣкъ склоняющій голову передъ рѣшеніемъ суда, какъ бы оно нелѣпо ни было.

Изъ этого-то міра нравственной неволи и подавторитетности, повторяю, мы и бьемся выйти въ ширь пониманья, въ міръ свободы въ разумѣ. Всякія попытки обойти, перескочить сразу отъ нетерпѣнія, увлечь авторитетомъ или страстью, приведутъ къ страшнѣйшимъ столкновеніямъ и, что хуже, къ почти неминуемымъ пораженіямъ. Обойти процесъ пониманья также невозможно, какъ обойти вопросъ о силѣ. Навязываемое предрѣшеніе всего, что составляетъ вопросъ, поступаетъ очень безцеремонно съ освобожденнымъ веществомъ. Взять вдругъ человѣка умственно дремавшаго и огорошить его въ первую минуту, съ просонья, рядомъ мыслей, сбивающихъ всѣ его нравственныя понятія и къ которымъ ему не поставлено лѣстницы, врядъ-ли много послужитъ развитію; а скорѣе смутитъ, собьетъ съ толку оглашеннаго, или обратнымъ дѣйствіемъ оттолкнетъ его въ свирѣпый консерватизмъ.

Я нисколько не боюсь слова "постепенность", опошленнаго шаткостью и невѣрнымъ шагомъ разныхъ реформирующихъ властей. Постепенность, такъ какъ непрерывность, неотъемлемы всякому процессу разумѣнья. Математика передается постепенно, отчего-же конечные выводы, мысли о соціологіи могутъ прививаться какъ оспа, или вливаться въ мозги такъ, какъ вливаютъ лошадямъ съ разу лекарство въ ротъ. Между конечными выводами и современнымъ состояніемъ есть практическія облегченія, пути, компромисы, діагонали. Понять, которыя изъ нихъ короче, удобнѣе и возможнѣе, дѣло практическаго такта, дѣло революціонной стратегіи. Идя безъ оглядки впередъ, можно затесаться какъ Наполеонъ въ Москву, и погибнуть отступая отъ нея, недоходя даже до Березины. Международное соединеніе работниковъ, всевозможныя соединенія ихъ, ихъ органы и представители, должны всѣми силами достигать того невмѣшательства власти въ работу, котораго оно не дѣлаетъ въ управленіи собственностію. Формы, сдерживающія людей въ полунасильственныхъ ковахъ, à la longue не вынесутъ напора логики и развитія общественнаго пониманья. Однѣ изъ нихъ до того внутри сгнили, что имъ дать толчекъ ногой; другія, какъ ракъ, держатся корнями въ дурной крови. Ломая одинакимъ образомъ тѣ и другія, можно убить организмъ и навѣрное заставить огромное большинство отпрянуть. Всего яростнѣе возстанутъ за "ракъ" наиболѣе страдающіе отъ него.

— Это очень глупо, но пора съ глупостью считаться какъ съ громадной силой.

Во всей Европѣ подымется за старые порядки сплошь все крестьянское населеніе. А развѣ мы не знаемъ, что такое сельское населеніе, какова его упорная сила и упорная колкость? Отобравъ изъ рукъ революціи земли эмигрантовъ, оно-то и подсидѣло республику и революцію. Конечно оно отпрянетъ и накинется по неразумью и невѣжеству, но въ этомъ-то вся важность.

На неразумьѣ и невѣжествѣ зиждется вся прочность существующаго порядка; на нихъ покоятся устарѣлыя воспитательныя формы, въ которыхъ люди выростали изъ несовершеннолѣтія, и которыя жмутъ теперь меньшинство, но которыхъ вредной ненужности не понимаетъ большинство. Мы знаемъ что значитъ ошибаться въ возрастѣ и въ степени пониманья. Всеобщая подача голосовъ, навязанная неприготовленному народу, послужила для него бритвой, которой онъ чуть не зарѣзался.

Но если понятія государства, суда, сильны и крѣпки, то еще крѣпче укоренены понятія о семьѣ, о собственности, о наслѣдствѣ. Отрицаніе собственности само по себѣ безсмыслица; "собственность не погибнетъ", скажу парафразируя извѣстную фразу Людовика Филиппа. Видоизмѣненіе ея, вродѣ перехода изъ личной въ коллективную, неясно и неопредѣленно. Крестьянину на Западѣ также необходимо привилась его любовь къ своей землѣ, какъ въ Россіи легко понимается крестьянствомъ общинное владѣніе. Нелѣпаго тутъ ничего нѣтъ. Собственность, и особенно поземельная, для западнаго человѣка представлялась освобожденіемъ, его самобытностью, его достоинствомъ и величайшимъ гражданскимъ значеніемъ. Можетъ быть онъ убѣдится въ невыгодѣ безпрерывно крошащихся и дробимыхъ участковъ и въ выгодѣ свободнаго хозяйства, общинныхъ запашекъ полей; но какъ-же его "безъ пристрастія" уломать, чтобъ онъ сперваначала отказался отъ вѣками взлѣлѣянной мечты, которою онъ жилъ и тѣшился и которая дѣйствительно поставила его на ноги, прикрѣпила къ нему землю, къ которой онъ былъ прежде крѣпокъ.

Вопросъ, прямо идущій за тѣмъ,—вопросъ о наслѣдствѣ, еще труднѣе. Кромѣ холостыхъ фанатиковъ въ родѣ монаховъ раскольниковъ, икаріанъ и пр.. никакая масса не согласится на безусловное отреченіе отъ права завѣщать какую нибудь часть своего достоянія своимъ наслѣдникамъ. Я не

знаю довода, по которому было бы можно противудѣйствовать этой формѣ любви избирательной или кровной, передачѣ вмѣстѣ съ жизнію, съ чертами, даже съ болѣзнями, вещей, служившихъ мнѣ орудіемъ. Развѣ во имя обязательнаго братства и любви ко всѣмъ?—Въ худшемъ человѣческомъ положеніи, у дворовыхъ крѣпостныхъ людей, были кой-какія тряпки, которыя они оставляли своимъ и которыя почти никогда не отбирались помѣщиками. Отнимите у самаго бѣднаго мужика право завѣщать—и онъ возьметъ колъ въ руки и пойдетъ защищать своихъ, свою семью и свою волю; т. е. непремѣнно станетъ за попа, квартальнаго и помѣщика, т. е. за трехъ своихъ злѣйшихъ опекуновъ, обирающихъ его, предупреждающихъ, чтобъ онъ ничего не оставилъ своимъ, но не оскорбляющихъ его человѣческое чувство къ семьѣ, какъ онъ ее понимаетъ.

— Что-же тогда?... Или свернуть свое знамя и отступить, потому что сила очевидно будетъ съ ихъ стороны, или ринутся въ бой и, въ случаѣ мѣстной, временной побѣды, начать водвореніе новаго порядка, новаго освобожденія—избіеніемъ!

Аракчееву было сполгоря вводить свои военно-экономическія утопіи, имѣя за себя сѣкущее войско, сѣкущую полицію, императора, сенатъ и синодъ; да и то ничего не сдѣлалъ. А за упраздненіемъ государства, откуда брать "экзекуцію", палачей, и пуще всего фискаловъ? А въ нихъ будетъ огромная потребность. Не начать-ли новую жизнь съ сохраненіемъ соціальнаго корпуса жандармовъ? Неужели цивилизація кнутомъ, освобожденіе гильотиной, составляютъ вѣчную необходимость всякаго шага впередъ?

Дальше я не пойду теперь, а скажу въ заключеніе вотъ что. Стоя возлѣ труповъ, возлѣ ядрами разрушенныхъ домовъ, слушая въ лихорадкѣ какъ разстрѣливали плѣнныхъ—я всѣмъ сердцемъ и всѣми помышленіями звалъ дикія силы на месть, на разрушеніе старой преступной веси; — звалъ, даже не очень думая, чѣмъ она замѣнится.

Съ тѣхъ поръ прошло двадцать лѣтъ. Месть пришла съ другой стороны, месть пришла сверху.—Народы все вынесли потому, что ничего не понимали ни тогда, ни послѣ. Середина вся растоптана и втоптана въ грязь... Длинное, тяжелое время дало досугъ страстямъ успокоиться и мыслямъ отстояться, дало досугъ на обдуманіе и наблюденіе.

Ни ты, ни я—мы не измѣнили нашихъ убѣжденій, но розно стали къ вопросу. Ты рвешься впередъ по прежнему со страстью разрушенья, которую принимаешь за творческую страсть... ломая препятствія и уважая исторію только въ будущемъ. Я не вѣрю въ прежніе революціонные пути и стараюсь понять шагъ людской въ быломъ и настоящемъ, для того —чтобъ знать какъ идти съ нимъ въ ногу, не отставая и не забѣгая въ такую даль, въ которую люди не пойдутъ за мной, не могутъ идти.

И еще слово. Высказать это въ томъ кругу, въ которомъ мы живемъ,—требуетъ если не больше, то конечно не меньше мужества и самостоятельности, чѣмъ брать во всѣхъ вопросахъ самую крайнюю крайность.

Я думаю ты самъ согласишься въ этомъ.....

Ницца, 25 Января, 1869.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Нѣтъ, любезные друзья, мозгъ мой отказывается понимать многое изъ того, что вамъ кажется яснымъ; изъ того, что вы допускаете и противъ чего я имѣю тысячи возраженій.

Мозгъ старѣетъ можетъ быть, и я беру въ свою защиту то, что одинъ изъ нашихъ друзей писалъ обо мнѣ или противъ меня.

"Человѣку очень мудрено втолковать что нибудь, о чемъ этотъ человѣкъ думаетъ иначе. Тутъ дѣйствительно физіологическій процессъ, о которомъ столько говорятъ общими мѣстами и котораго никто не хочетъ принять въ расчетъ, какъ скоро дѣло доходитъ до дѣла. Мозгъ ничего не вырабатываетъ произвольно, а всегда вырабатываетъ результатъ соотношенія принятыхъ имъ впечатлѣній. Слѣдственно, если впечатлѣнія у одного рознятся отъ впечатлѣній у другаго на какой нибудь дифференціалъ, то дальнѣйшее развитіе соотношенія впечатлѣній и результата изъ нихъ выводимаго, т. е. постановка и дальнѣйшее развитіе уравненія (которое есть единственная форма мозговыхъ дѣйствій) можетъ разойтись у одного отъ другаго на разстояніе, невозможное къ совпаденію.

"Въ этомъ вся мудрость доказательствъ, доходящихъ почти до тщетныхъ усилій".

Эти строки, писанныя противъ меня, совершенно справедливы, печально справедливы.

Отрывокъ этотъ, приведенный изъ отвѣта Огарева на мое письмо къ Бакунину, оканчивается такъ:

"Каждый отдѣльный мозгъ, вслѣдствіе нарощенія въ себѣ своихъ впечатлѣній, встрѣчаетъ отъ нихъ уклоняющіяся новыя впечатлѣнія, или вовсе мимоходно, или не съ досто-

должной смкостью, или совсѣмъ отрицательно (т. е. враждебно). Отсюда каждый человѣкъ убѣжденъ или предубѣжденъ, что онъ правъ, что положительно не можетъ быть доказано даже въ такихъ абстрактныхъ спеціальностяхъ, какъ математическія построенія (Теорія Тихо де Браге также была построена на математическихъ построеніяхъ, какъ и теорія Галилея); и потому, дѣйствительное признаніе истины требуетъ новыхъ мозговъ, не увлеченныхъ предыдущими впечатлѣніями. На этомъ даже зиждется знаменитое историческое развитіе или прогрессъ".

Мои возраженія, такъ какъ и вообще возраженія, нетерпѣливымъ людямъ начинаютъ надоѣдать. "Время слова, говорятъ они, прошло;—время дѣла наступило". Какъ будто слово не есть дѣло? Какъ будто время слова можетъ пройдти? Враги наши никогда не отдѣляли слово и дѣло и казнили за слово, не только одинакимъ образомъ, но часто свирѣпѣе, чѣмъ за дѣло. Да и дѣйствительно, какое нибудь Allez dire à votre maître Мирабо не уступитъ по вліянію никакому coup de main.

Разчлененіе слова съ дѣломъ и ихъ натянутое противуположеніе не выноситъ критики, но имѣетъ печальный смыслъ какъ признаніе, что все уяснено и понято, что толковать не о чемъ, а нужно исполнять. Боевой порядокъ не терпитъ разсужденій и колебаній. Но кто-же кромѣ нашихъ враговъ готовъ на бой и силенъ на дѣло? Наша сила въ силѣ мысли, въ силѣ правды, въ силѣ слова, въ исторической попутности. Международные сходы только сильны проповѣдью; матеріально, дальше отрицательной силы гревы, они не могутъ идти.

Стало быть, остается по прежнему сидѣть сложа руки весь вѣкъ, довольствуясь прекрасными рѣчами?

Не знаю, весь-ли вѣкъ или часть его, но навѣрное до тѣхъ поръ не сходить въ рукопашную, пока нѣтъ ни единства убѣжденій, ни сосредоточенныхъ силъ. Быть правымъ

въ бою немного значитъ : правота давала побѣду только въ судѣ божіемъ; у насъ на небесное вмѣшательство надежды мало.

Чѣмъ кончилось польское возстаніе, правое въ требованіи, мужественное въ исполненіи, но невозможное по несоразмѣрности силъ?

Каково теперь на совѣсти тѣмъ, которые подталкивали Поляковъ?

На это говорятъ наши противники съ какимъ-то философскимъ фатализмомъ :

" Избраніе путей Исторіи не въ личной власти; не событія зависятъ отъ лицъ, а лица отъ событій. Мы только мнимо заправляемъ движеніемъ, но въ сущности плывемъ куда волна несетъ, не зная до чего доплывемъ".

Пути вовсе не неизмѣнимы. Напротивъ, они-то и измѣняются съ обстоятельствами, съ пониманьемъ, съ личной энергіей. Личность создается средой и событіями, но и событія осуществляются личностями и носятъ на себѣ ихъ печать : тутъ взаимодѣйствіе. Быть страдательнымъ орудіемъ какихъ-то независимыхъ отъ насъ силъ, какъ дѣва, богъ вѣсть съ чего зачавшая, намъ не по росту. Чтобъ стать слѣпымъ орудіемъ судебъ, бичемъ, палачемъ божіимъ, надобно наивную вѣру, простоту невѣдѣнія, дикій фанатизмъ и своего рода непочатое младенчество мысли. Честно мы не можемъ брать на себя ни роль Атиллы, ни даже роль Антона Петрова. Принимая ихъ, мы должны будемъ обманывать другихъ или самихъ себя. За эту ложь намъ придется отвѣчать передъ своей совѣстью и передъ судомъ близкихъ намъ по духу.

То, что мыслящіе люди прощали Атиллѣ, Комитету Общественнаго Спасенія и даже Петру, не простятъ намъ. Мы не слыхали голоса, призывавшаго насъ свыше къ исполненію судебъ и не слышали подземнаго голоса съ низу, который указывалъ бы путь. Для насъ существуетъ одинъ голосъ и

одна власть — власть разума и пониманья. Отвергая ихъ, мы становимся разстригами науки и ренегатами цивилизаціи. Самыя массы, на которыхъ лежитъ вся тяжесть быта, съ своей македонской фалангой работниковъ, ищутъ слова и пониманья, и съ недовѣріемъ смотрятъ на людей, проповѣдующихъ аристократію науки и призывающихъ къ оружію. И замѣтьте, проповѣдники не изъ народа, а изъ школы, изъ книгъ, изъ литературы, жившіе въ отвлеченностяхъ. Старые студенты—они ушли отъ народа дальше, чѣмъ его заклятые враги. Попъ и аристократъ, полицейскій и купецъ, хозяинъ и солдатъ — имѣютъ больше прямыхъ связей съ массами чѣмъ они. Отъ того-то они и полагаютъ возможнымъ начать экономическій переворотъ съ tabula rasa, съ выжиганья до тла всего историческаго поля, не догадываясь, что поле это съ своими полосами и плевелами, составляетъ всю непосредственную почву народа, всю его нравственную жизнь, всю его привычку и все его утѣшеніе. Съ консерватизмомъ народа труднѣе бороться чѣмъ съ консерватизмомъ трона и амвона. Правительство и церковь сами початы духомъ отрицанія, борьба мысли не даромъ шла подъ ихъ ударами: она заразила разящую руку; самозащищеніе правительства корыстно и гоненія церкви лицемѣрны.

Народъ консерваторъ по инстинкту и потому, что онъ не знаетъ ничего другаго; у него нѣтъ идеаловъ внѣ существующихъ условій; его идеалъ буржуазное довольство, такъ какъ идеалъ Атта-Троля у Гейне абсолютный бѣлый медвѣдь. Онъ держится за удручающій бытъ, за тѣсныя рамы, въ которыя онъ вколоченъ; онъ вѣритъ въ ихъ прочность и обезпеченье, не понимая, что эту прочность онъ-то имъ и даетъ. Чѣмъ народъ дальше отъ движенія исторіи, тѣмъ онъ упорнѣе держится за усвоенное, за знакомое. Онъ даже новое понимаетъ только въ старыхъ одеждахъ. Пророки, провозглашавшіе соціальный переворотъ анабаптизма, облачались въ архіерейскія ризы. Пугачевъ для низложенія

Петра, нѣмецкаго дѣла, самъ назвался Петромъ, да еще самымъ нѣмецкимъ, и окружилъ себя андреевскими кавалерами изъ козаковъ и разными псевдо Воронцовыми и Чернышевыми.

Государственныя формы, церковь и судъ, выполняютъ оврагъ между непониманіемъ массъ и односторонней цивилизаціей вершинъ. Ихъ сила и размѣръ въ прямомъ отношеніи съ неразвитіемъ ихъ. Взять неразвитіе силы невозможно. Ни республика Робеспьера, ни республика Анахарсиса Клотца, оставленныя на себя, не удержались; а Вандейство надобно было годы вырубать изъ жизни. Терроръ также мало уничтожаетъ предразсудки, какъ завоеваніе народности. Страхъ вообще вгоняетъ внутрь бытъ, формы; пріостанавливаетъ ихъ отправленіе и не касается содержанія. Іудеевъ гнали вѣка; одни гибли, другіе прятались, и послѣ грозы являлись и богаче, и сильнѣе, и тверже въ своей вѣрѣ.

Нельзя людей освобождать въ наружной жизни больше, чѣмъ они освобождены в н у т р и. Какъ ни странно, но опытъ показываетъ, что народамъ легче выносить насильственное бремя рабства, чѣмъ даръ излишней свободы. Въ сущности всѣ формы историческія, nolens volens, ведутъ отъ одного освобожденія къ другому. Гегель въ самомъ рабствѣ находитъ (и очень вѣрно) шагъ къ свободѣ; тоже явнымъ образомъ должно сказать о государствѣ: и оно, какъ рабство, идетъ къ самоуничтоженію; и его нельзя сбросить съ себя, какъ грязное рубище, до извѣстнаго возраста. Государство форма, черезъ которую проходитъ всякое человѣческое сожитіе, принимающее значительные размѣры. Оно постоянно измѣняется съ обстоятельствами и прилаживается къ потребностямъ. Государство вездѣ начинается съ полнаго порабощенія лица и вездѣ стремится, перейдя извѣстное развитіе, къ полному освобожденію его. Сословность—огромный шагъ впередъ, какъ разъясненіе и выходъ изъ животнаго однообразія, какъ раздѣлъ труда. Уничтоженіе сословности—

шагъ еще большій. Каждый восходящій или воплощающійся принципъ въ исторической жизни представляетъ высшую правду своего времени, и тогда онъ поглощаетъ лучшихъ людей; за него льется кровь и ведутся войны; потомъ онъ дѣлается ложью, и наконецъ воспоминаніемъ. Государство не имѣетъ собственнаго опредѣленнаго содержанія: оно служитъ одинаково реакціи и революціи, тому, съ чьей стороны сила; это сочетаніе колесъ около общей оси; ихъ удобно направлять туда или сюда; потому что единство движенія дано; потому что оно примкнуто къ одному центру. Комитетъ Общественнаго Спасенія представлялъ сильнѣйшую государственную власть, направленную на разрушеніе монархіи. Министръ юстиціи Дантонъ былъ министръ революціи. Иниціатива освобожденія крестьянъ принадлежитъ самодержавному царю. Этой государственной силой хотѣлъ воспользоваться Лассаль для введенія соціальнаго устройства. Чтоже—думалось ему—ломать мельницу, когда ея жернова могутъ молоть и нашу муку? На томъ-же самомъ основаніи и я не вижу разумной примѣнимости въ отреченіи.

Между мнѣніемъ Лассаля и проповѣдью о неминуемомъ распущеніи государства въ федерально-комунную жизнь, лежитъ вся разница обыкновеннаго рожденія и выкидыванія. Изъ того, что женщина беременна, никакъ не слѣдуетъ, что ей завтра слѣдуетъ родить. Изъ того, что государство форма проходящая, не слѣдуетъ, что эта форма уже прошедшая. Съ какого народа въ самомъ дѣлѣ можетъ быть снята государственная опека какъ лишняя перевязка, безъ раскрытія такихъ артерій и внутренностей, которыя теперь надѣлаютъ страшныхъ бѣдствій; а потомъ спадутъ сами.

Да и будто какой нибудь народъ можетъ безнаказанно начать такой опытъ, окруженный другими народами, страстно держащимися за государство, какъ Франція, Пруссія и пр. Можно-ли говорить о скорой неминуемости безгосударственнаго устройства, когда уничтоженіе постоянныхъ войскъ и

обезоруженіе составляютъ дальніе идеалы? И что значитъ отрицать государство, когда главное условіе выхода изъ него совершеннолѣтіе большинства. Посмотрѣли бы вы, что дѣтается теперь въ просыпающемся Парижѣ. Какъ тѣсны грани, о которыя бьется движеніе, и какъ онѣ никѣмъ не построены, и сами выросли какъ изъ земли. Маленькіе города, тѣсные круги, страшно портятъ глазомѣръ. Ежедневно повторяя со своими одно и тоже, естественно дойдешь до убѣжденія, что вездѣ говорятъ одно и тоже. Долгое время убѣждая въ своей силѣ другихъ, можно убѣдиться въ ней самому и остаться при этомъ убѣжденіи до перваго пораженія.

Bruxelles, Paris.
Августъ 1869 года.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Иконоборцы наши не останавливаются на обыденномъ отрицаніи государства и разрушеніи церкви : ихъ усердіе идетъ до гоненія науки. Тутъ умъ оставляетъ ихъ окончательно.

Робеспьеровской нелѣпости, что атеизмъ аристократиченъ, только и не доставало объявленія науки аристократіею.

Никто не спрашиваетъ, на сколько вообще подобныя опредѣленія идутъ или нѣтъ къ предмету. Вообще, весь споръ о "наукѣ для науки" и о наукѣ только какъ пользѣ, основанъ на чрезвычайно дурной постановкѣ вопросовъ.

Безъ науки научной не было-бы науки прикладной.

Наука—сила; она раскрываетъ отношенія вещей, ихъ законы и взаимодѣйствія, и ей до употребленія нѣтъ дѣла. Если наука въ рукахъ правительства и капитала, такъ какъ въ ихъ рукахъ войско, судъ, управленіе; то это не ея вина. Механика равно служитъ для постройки желѣзныхъ дорогъ и всякихъ пушекъ и Zündnadelgewähr'овъ. Такъ какъ въ рукахъ правительства и капитала все : богатство, машины, войско, судъ, то наше дѣло вырвать науку изъ вражьихъ рукъ, освободить ее отъ нихъ; а не въ томъ, чтобъ ее давить за услуги имъ. Нельзя остановить умъ и сказать ему : дальше не изслѣдуй, погоди пока мы освободимся.

Нельзя-же остановить умъ, основываясь на томъ, что большинство не понимаетъ, а меньшиство злоупотребляетъ пониманьемъ.

Дикіе призывы къ тому, чтобъ закрыть книги, оставить науку и идти на какой-то безсмысленный бой разрушенія, принадлежатъ къ самой неистовой демагогіи и къ самой